Владимир Глейзер

HOHMO SAPIENS

ЗАПИСКИ ПЬЮЩЕГО ПРОВИНЦИАЛА

SYMPOSIUM

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — рассказы о веселых перепитиях чисто конкретного провинциала в Стране Чудес — Союзе Советских Социалистических Республик. В книге жизнеутверждается главный авторский принцип: только законченный пессимист с оптимизмом смотрит в будущее.

- ОБ ОДНОМ НЕКОГДА БЕДНОМ ГУСАРЕ
-
- ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ
- СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
- ГОРЬКОГО, 28
- САШКА
- ПОЕХАЛИ!
- ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
- ЛЮБОВЬ И МОРКОВЬ
- РОССИЯ, КОТОРУЮ НАМ ПОТЕРЯЛИ
- ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
- КЛАССОВЫЙ НЮХ
- НАХОДКА В НАХОДКЕ
- ДЖЕМ-СЕШН
- ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК
- ДЕЛО — ТРУБА
- МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ (Эпопея)
- ДОМОСТРОЙ
- К МИНОТАВРУ
- СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО
- ИММАЕВО ПОБОИЩЕ
- МЕМУАР
- ЧА-ЧА-ЧА, ЧАЧА!
- КОМЭСК СОРОКИН
- БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ
- АРЕАЛ ИНДЕЙСКОГО ГОСТЯ
- НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК
- НЕ СЛЫШНО ШУМА ГОРОДСКОГО
- СМЕРТЬ ВИЗИТ-МУХТАРА
- ХУРЕН-МАХН-ГУЕРТЯГАН
- ШКОЛА МУЖЕСТВА
- ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ
- ЗНАМЕНИЕ
- ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
- И СНИТСЯ МНЕ ТРАВА АЭРОДРОМА

- НАСЛЕДНИКИ
- ГОРЕ ОТ УМА
- ЧУМА И ХОЛЕРА
- РУКА МОСКВЫ
- ЦИРК
- ХУК ПОСЕРЕДИНЕ
- УРОКИ ПОЛЬСКОГО
- ЧИСТО ЕВРЕЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
- КАНАЛ «В0ЛГА-Д0Н»
- РОЯЛ ДАЧ
- «АНДРЕНАЛИН»
- ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
- ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
- СКРИЖАЛЬ
- ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. ФАМИЛИЯ И ОТЧЕСТВО

ОБ ОДНОМ НЕКОГДА БЕДНОМ ГУСАРЕ

Как-то раз один доцент Политехнического института города Саратова ехал спозаранку в принадлежавшем лично ему автотранспорте по улице Ленина — из дома на работу. Место работы — филиал этого Политехнического института — находилось не в самом Саратове, городе одиннадцати вузов, а черт-те где, в городке Энгельсе, жалком пристанище трех филиалов, на другом берегу Волги через мост. А тут еще лето, жара, пардон, похмелье. В общем, и здоровье, и настроение настоятельно требовали поправки. Остановившись перед тем, как пересечь улицу Радищева, на красный свет, доцент в самый тот миг, когда красный сменился с желтого на зеленый, углядел по другую сторону перекрестка застрявшего на осевой задрипанного мужичка-пешехода с авоськой в руке. Авоська содержала бутылку или две беленькой и какую-то нехитрую закусь.

Решение пришло мгновенно. Неспешно минуя мужичка, доцент высунул из окна машины руку и опрятно изъял авоську из мужичковой длани.

Мужичок опешил — на секунду, которой доценту хватило, чтобы несколько от него отдалиться. Дальше они следовали по главной улице города эскортом — мимо площади Революции с памятником вождю частично победившего мирового пролетариата, почему-то стоящему спиной к прохожим на улице собственного имени, но зато лицом к деревянной трибунке, куда изваяние указывает неестественно вывихнутым пальцем работы скульптора-земляка Кибальникова и где в те времена маялись по большим праздникам представители властных структур и подвластного им народа.

Итак, впереди неторопливо двигалась машина доцента, из коей так и торчала перпендикуляром рука с авоськой, за ней поспешал человек, выкрикивая на ходу что-то маловразумительное, но явно непотребное. Почему неторопливо? В том-то вся и штука. К следующему перекрестку надлежало прибыть, когда светофор над ним пожелтеет, иначе мужичок нагонит доцента — с предсказуемыми последствиями. Но необходимый маневр был произведен с точностью, которая сделала бы честь и Наполеону: притормозив на угасающий желтый свет, доцент аккуратно поставил авоську на асфальт и через секунду уже катил дальше, сопровождаемый громовыми славословиями запыхавшегося мужичка. Настроение (доцента, не мужичка) заметно улучшилось.

Впрочем, мужичка, наверное, тоже — немножко.

Вот вам правдивая история из жизни бывшего доцента, бывшего заключенного самого жуткого из корпусов саратовской тюрьмы — «столыпинского третьяка», потом снова доцента, а ныне отовсюду видного саратовского предпринимателя и мецената — автора предлагаемых вашему вниманию рассказов, Владимира Вениаминовича Глейзера. Я такого рода историй знаю немало, но пересказывать их, дабы не отбивать хлеб у старшего собрата по перу, не буду. Благо он уже сочиняет новые рассказы.

Трудно написать о близком друге что-либо толковое. Что уж такого любопытного для широкой публики может рассказать человек о своей левой ноге или о правом глазе? А интересно было бы посмотреть, как он станет без них обходиться. Вот и с Володей то же. Кое-что я тут сообщу, но, боюсь, получится как всегда — больше о себе, чем о нем. Впрочем, короля, как известно, играет свита.

Я еще учился в школе, когда имя Владимира Глейзера в первый раз прогремело на весь Саратов. На дворе стояла застойная эпоха КВН в прямом эфире, и раскудрявый студент-физик Вова Глейзер был помощником по ближнему бою капитана команды Саратовского университета, к слову сказать, тоже Каца. Главных своих противников — политехников — команда делала как хотела (что имело потом продолжение в виде отдельной истории). Так я его впервые и увидел, по телевизору.

Впечатление было, я думаю, сильное — думаю так потому, что когда я стал студентом первого курса, то однажды, топая на лекцию и увидев на газончике у ворот университетского городка (нового, нового, я и сам помню, что перед старым никакого газона не было) двух молодых вальяжных поглотителей бутылочного жигулевского пива из горла, мгновенно узнал в одном из них Глейзера. Познакомились мы года уже через три, знакомство было случайное и продолжения не имело. Возобновилось оно еще лет пять спустя и с тех пор уже не прерывается.

Возобновилось же оно на необитаемом волжском острове, где проводила лето небольшая университетская шлеп-компания робинзонов и пятниц обоих полов. Помню, как Володя в очередной раз поразил нас всех, — мы, оставив его, самого ленивого, в лагере, уехали не то кататься на моторках по Волге, не то рыбу ловить, не то просто за водкой в самогонное село Пристанное, а когда вернулись, нас ожидал собранный Володей в цвет, совсем недавно появившийся и никому еще не поддавшийся, кубик Рубика. Уже только вечером, за рюмочкой, Володя признался, что отлепил, орудуя кухонным ножом, все нашлепки кубика подряд, а после аккуратно приклеил их все обратно — но уже цвет к цвету.

Потом было еще одно лето на острове, потом лето на Ахтубе, где Володя быстро стал закадычным другом местных крутых браконьеров, потом уж и не упомню — просто раз-два в год, приезжая в Саратов, я имел удовольствие бывать в его обществе. Что продолжается и поныне, жаль, что не так часто, как хотелось бы.

А вот в Москве мы встречались пару лет назад — Володя зачем-то приезжал на вручение «Букера» (не ему), а что вернее, на последующий банкет. Ни возраст, ни многочисленные хирурги и терапевты, ни следаки с вертухаями, ни ярко выраженное капиталистическое окружение и банковский счет ничего в нем решительно не изменили.

На «Букера» он приехал в обществе другого саратовца — члена жюри Сергея Боровикова (здравствуй, Сережа!) с сыном. Мы сидели в московской квартирке, выпивали и закусывали, и сын Сережи, только что окончивший филологический, вдруг завел с Володькой разговор, о Набокове, помнится. И Володька, забыв про початое «Золотое кольцо», с полчаса негромко беседовал с ним, жестикулируя огурцом на вилке, и говорил, судя по реакции молодого человека, очень дельные вещи — как, впрочем, и всегда. Жаль, разговор велся вполголоса, и я ничего путного из него не расслышал.

Если попробовать подобрать для него эпитет — заполнить отточие в определении «Владимир Глейзер — человек…» — подставляемое слово будет, несомненно, таким: «блестящий». Ум, шарм, чистой воды гусарство, образованность, умение мгновенно находить общий язык с любым человеком, способность в течение пяти минут отправить собеседника своим ходом под стол рыдать от смеха — ничего этого у него не отнимешь. Даже и пытаться не стоит. Были уже попытки, сажали его, всего лишь подследственного по высосанному из грязного пальца делу, в корпус смертников — пужали за отказ «сотрудничать» со следствием, сиречь намыливать благожелательно выданную ему веревку, — и где теперь те смельчаки? Судьба их сложилась, в конечном итоге, довольно тоскливо, а кое у кого и с летальным суицидным исходом.

В той, прежней нашей жизни ему было тесно, настроение все время требовало поправки. И Володя поправлял его самыми разными способами — то проиграет в карты чуть ли не всю свою квартиру (но непременно с тем, чтобы вскоре триумфально отыграть ее назад и с прибавлениями); то перепишет по-своему поэму лже-Баркова (легковерные израильские слависты напечатали его опус как неожиданно открытый в списках вариант; теперь он уже издан, со ссылкой все на тех же славистов, и в нашей стране); то сочинит пьесу в стихах для детского театра (идет в Киеве, а

может, и еще где, и не один сезон); то протырится вместе с другом на премьерный спектакль Большого театра и посмотрит его, никаких вообще билетов не имея, из того ряда партера, что отведен исключительно для дипломатов; то, остановившись на ночь в калмыцкой гостинице и обнаружив, что никакого спиртного в тамошнем ресторанчике, по причине безнадежной борьбы с алкоголизмом, не подают, отправится прямиком на кухню, налепив слюнями на лоб купюру в 10 р., и вернется с двумя бутылками подозрительно прозрачного ситро, — а то и вовсе в тюрьму сядет.

Или возьмет — это уж в новое время — да и напишет три-четыре десятка блестящих, опять-таки, рассказов.

Мне эти рассказы интересны еще и тем, что почти всех их персонажей я когда-то знал, а тех, кто жив и поныне, знаю тем более. Тут мне следовало бы вставить какое-нибудь этакое критическое замечание: де, автор грешит барочной отчасти метафоричностью или там витиеватостью стиля. Но стиль — это, как давно уже сказано, человек, а без метафоры, как тоже давно уже сказано, голо. Чем глупости говорить, я лучше еще раз все перечитаю, удовольствие получу.

Один персонаж Андрея Платонова сказал когда-то: «Без меня народ неполный». Как выясняется, он такой все-таки не один, и слава Богу. Что до меня, я предпочел бы покинуть сей мир немного раньше Володьки — все-таки будет на кого это веселое место оставить. Почитайте, уверитесь сами.

Сергей Ильин (Москва — Саратов)

Вы насмешники, лишь бы только
насмеяться над провинциальными.

Н. В. Гоголь. «Ревизор»

Многочисленным собутыльникам,
живым и мертвым,
плохим и хорошим,
одинаково любимым посвящается.

Министерство внутренней цензуры
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ,
что все события и имена в данном повествовании
оскорбительно подлинны и крайне опасны
для общественного здоровья

ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

Ничто так не стирает грань между правдой и вымыслом, как показания очевидцев.

С. В. Демьяненко. «Дело № 10-175»

Только на седьмом десятке я понял, что прожил необычайно легкую жизнь. Не то что трудностей не было, были. И руки-ноги ломал, и от многого другого больно было. Даже умирал пару раз, но это-то совсем не больно. Приходишь оттуда в сознание, перед глазами белый доктор фокусируется, спрашиваешь, языком еле ворочая: «Шо це за дило?», — а он глазки закатывает и мытым пальчиком спиральку в воздухе закручивает. Всего-то!

А жизнь легкая потому, что, по сути, была бесцельной. Прихотей — хоть отбавляй, а целей не было. Точнее, не было средств на эти цели, а на прихоти были. Поэтому генпланов для себя не чертил, а значит, и выполнять их не стремился. Ногти не кусал от досады, слюной не давился от зависти, слез с горя не лил. Веселился больше нормы социалистического общежития, а жизнь шла как бы сама по себе, а я по ней почти без остановок. И с удовольствием!

Но была у меня с малых лет одна мечта, несбыточная по определению.

Детство мое было безоблачным, но безденежным. И то и другое обеспечили мне родители. За чистое небо над головой я им до конца их жизни (да и моей тоже) безмерно благодарен. А по финансовой линии — испытываю сомнения. Оба родителя были инженерами: папаша — главным, а мама — рядовым. Так что и доход семьи был среднеинженерным. Да и состав семьи был среднестатистическим — четыре человека, двое детей. Да и дом, в котором мы жили, был из середины статистики: двадцать шесть квартир на пятьдесят два инженера и техника. Заводской дом ИТР: жилплощадь — служебная, за малым исключением директора завода и секретаря парткома, — коммуналка, мебель — кровати, столы, стулья — все с жестяными номерками, под роспись управдома в амбарной книге. Домоправителя Иван Иваныча в жёваном чесучовом френче и когда-то белой фуражке боялись: а вдруг стул покалечишь или стол поцарапаешь? Не беда, но позор на общем собрании, проходившем летом во дворе, зимой — в дворницкой.

Беда была, когда коллега управдома по непритязательному досугу, облезлый как в смысле головы, так и одежды фининспектор шастал без предупреждения по квартирам. Чаще всего мытарь шел на звук швейной машинки «Зингер». А не частным ли, гражданочка, предпринимательством занимаетесь, положенных налогов в казну не платя и закон тем нарушая? И замерял площадь найденных тряпок умножением на бумажке показаний портняжного сантиметра: влезает в норму семейного потребления на душу населения или нет? Мамаши наши жарким потом покрывались: а вдруг?

Не было в нашем доме ни снабженцев, ни буфетчиц, ни воров в законе — то есть советских миллионеров. Не было и рабочих и колхозников — гордых за свою страну советских нищих. А все остальное было. Кроме денег. На мороженое — два раза в неделю (палочка эскимо — одиннадцать копеек), на газировку — три копейки с сиропом, копейка — без, да на кино — двадцать копеек на дневной сеанс. И то не всем давали.

Но самая унизительная, по моим тогдашним представлениям, мальчишечья обида — это стиранная-перестиранная одежная бедность среднего класса. Ее отличие от мерзкого тряпья уличных побирушек лишь подчеркивало проблему — улицы, а еще больше базары и вокзалы, были в те послевоенные времена просто напичканы нищими. Как профессиональными, с насиженными местами, так и залетными. Но эти убогие люди в бутафорских лохмотьях жили своей в чем-то неповторимой жизнью: по амбициям, так сказать, амуниции. И в этой жизни, наверное, были и смех и слезы, а может, и любовь… Но сколько в ней, уж точно, было неповторимого артистизма!

Каждое воскресенье я ходил в кружок «Умелые руки» в расположенный поблизости Дворец пионеров и каждое воскресенье наискосок от места моего назначения останавливался посмотреть и послушать необычайный уличный кабаре-дуэт. Два насквозь пропитых инвалида в драных тельняшках под аккомпанемент трофейного аккордеона «Вельтмайстер» исполняли гнусавыми голосами весь по тому времени модный песенный репертуар. У одного нищего не было правой руки, у другого — левой. Работали они в паре, тесно прижавшись друг к другу обрубками. Через оба торса был натянут на тяжах упомянутый музыкальный инструмент, и инвалиды бойко играли на нем в две целые руки! На деревянном футляре перед вельтмастерами лежала просаленная бескозырка. Пустой она никогда не была. Зимы были суровыми, и на это время дядя Миша и дядя Коля (так гласили синие татуировки у них на пальцах) исчезали. Появлялись они где-то под Первое мая и на

мой вопрос радостного ожидания: «А где, дяденьки, вы пропадали?» — гордо отвечали старому знакомому: «Где-где, в сочах-кичах на гастролях!»

Так вот, ни голод, ни холод, ни теснота, которые в том или ином наборе присутствовали в жизни почти всех известных мне тогда жителей СССР, так не выворачивали наизнанку душу чисто вымытого, вполне накормленного, аккуратно постриженного мальчика с челкой, как сравнение своей лицованной-перелицованной одежды не с экзотической униформой нищих, а с теми «шмотками», что носили сверстники и однокашники по престижной школе другого соцпроисхождения. Не буду уточнять какого, но не инженерного. Имею в виду тех, чьи родители могли дополнить свое госбюджетное довольствие гвоздями, болтами, гайками, красками, керосином и спиртом с верстаков, из кладовок и с опечатанных складов их поистине бездонных народных предприятий. Из того, что — кто лицемерно, а кто и презрительно — называли «закрома Родины». В нашем доме из этого ряда предметов повседневного быта в неограниченном количестве имели место быть только огрызки конструкторских карандашей «Кохинор». Маленьким я строил из них игрушечные избы и колодцы.

С годами я понял принципиальное различие между бедными и нищими: первые — все разные, а вторые — все одинаковые, их единственная цель — нажива. Бедность, конечно, не порок, но и не профессия.

Тогда я не знал ученого слова «менталитет». В бурные девяностые, как и тысячи других первопроходимцев, я ушел «в бизнес», в котором познакомился со многими ранее не известными мне типажами; казалось бы, все родом из всеобщего бедного детства. Так вот, по своему «менталитету» наиболее преуспевающими дельцами стали те, кто по сути своей (не по материальному положению!) были цепкими и удачливыми нищими!

Но это я умничаю, прикрывая бездумную ностальгию. А дума, она же несбыточная мечта, тогда у меня была. В формулировке — «открытый счет в банке». То есть не абстрактно много денег, а возможность тратить их в любое время и в любом количестве. В голожопом инженерном окружении, жившем от зарплаты до зарплаты, бытовали невероятные легенды об образе жизни «почти как они интеллигентных» деятелей отечественной культуры. Более того, некоторые из этих небожителей были не такими уж и дальними родственниками наших «заводчан».

Например, папин заместитель и собутыльник дядя Изя Вайсбейн был чуть ли не родным племянником знаменитого

Леонида Утесова. Бывал у него в доме, о чем (должен заметить, с большой иронией) любил рассказывать.

— А почему у вас с Утесовым фамилии разные? — спрашивал я.

— Фамилии-то у нас одинаковые, малыш, а разные — псевдонимы. У нас в Одессе под своим именем только дюк Ришелье живет.

Так вот, в отличие от нашего дяди Изи, его «дядя Ледя» жил вообще без материальных забот, потому что у него был «открытый счет в банке»! Теперь я уже догадываюсь, что это такое, а тогда и представить себе не мог! А по рациональному родительскому воспитанию никогда не стремился познать непознаваемое, или, по песенному, «сказку сделать былью и преодолеть пространство и простор». И от отсутствия в моем идеологическом репертуаре этой песни веселой было мне легко на сердце всю жизнь! Смеялся над собой, ерничал над другими, гардероб не часто менял, но одежку никогда не штопал и не перелицовывал, недоедал дома, а не в гостях, но не нищенствовал, научился выпивать как истинно английский джентльмен — без закуски и много! И ни разу — до упаду.

Сижу как-то уже совсем взрослым на дачке своей, на пологом волжском бережке со вчерашним собутыльником, с которым все алкогольные запасы, как обычно, к утру уничтожил. Чаи безалкогольные гоняем с кофеями. Мне-то хорошо, я, слава генетике, продажной служанке буржуазии, бессиндромный. А товарищ (между прочим, не бомж, а доктор наук с хорошей биографией) с похмелья башку ладонями сжимает. И говорит в отчаянии:

— Вовка, а в чем смысл жизни, кроме опохмела? Я серьезно.

Ничего я ему не ответил, чифирек глоточками попиваю, босой ножкой камушками в речке шебуршу. Потому что ответ-то доктор сам дал — в опохмеле, конечно, в опохмеле! Только понимать его надо в расширительном, а не базарном смысле. Именно этот весьма болезненный синдром и позволяет умному понять, что он, как дурак, вчера спьяну натворил. Чтоб разобраться в последствиях и сделать какие-никакие выводы.

Пример — беспохмельные коммунисты изменили мир, а он, в отместку, изменил им. А потом случайно из газет и телепередач выяснилось, что все первоначальные капиталы в нашей стране нажиты преступным путем к коммунизму. А уж потом — большой дорогой в капитализм.

Вообще-то, измена — это вовсе не предательство. И вообще, все наши страдания не от измен, а от подмен. Подмените ум хитростью, три четверти клиентов не заметят! Подмените свободу

осознанной необходимостью, получите генералиссимуса с нечеловеческим лицом. И себя в сухом остатке типа лагерная пыль.

История — это не борьба классов за окончание школы. Это просто один из гимназических предметов. Более эмоциональный, чем химия, но менее поэтичный, чем математика. Ее учат, но она ничему не учит. История — если и правда, то не вся правда. А не вся правда — уже подмена, вид изощренной лжи.

«Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра.

Я и пошел. В том самом детстве. Зря ходил. Не понравились мне навсегда эти огромные цветные иллюстрации к неизвестным мне произведениям. Лак сверкал в золоте рам. Это потом я узнал, что такое «лакировка действительности», и уразумел, что и недействительность тоже давным-давно залачена. Нам, юным атеистам-пионерам, сюжеты были не только непонятны, но и чужды по существу, так что и картинки к ним производили впечатление всем известной полукилометровой статуи тов. Сталина на канале Волга — Дон: большое, дорогое, но ненужное.

А нужное — это другое: легкая жизнь. И она прекрасна, как неангажированное искусство. И не надо ее лакировать и выставлять напоказ в подробностях — потяжелеет до неузнаваемости.

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

Наш сосед по второму подъезду дядя Юра Томас был мрачноватым аккуратно одетым одиноким джентльменом лет двадцати пяти. Служил дядя Юра инженером на секретном заводе «Комбайн», который выпускал военные самолеты, с понедельника до субботы, а в выходной был самим собой — будущим миллионером. Дядя Юра то ли со школы, то ли благодаря эстонскому происхождению свободно владел немецким и чуть-чуть английским языками и выписывал по почте соцлагерный журнал «Молодежь мира» в его гэдээровском варианте «Junge Welt».

Шел послесталинский 1955 год, и железный занавес покрывался разрушительной ржавчиной. В немецкоязычном журнале уже печатались частные объявления: «Хочу обмениваться значками, марками, пластинками и просто переписываться». В русском варианте издания ничего подобного, слава Богу, еще не было. Именно в этих, не известных соотечественникам, объявлениях будущий миллионер дядя Юра и нашел свое поле чудес. Он придумал, как без особых вложений собрать полную коллекцию русских марок досоветской поры. Вот так.

Операция была многоходовой. Дядя Юра на первоначальный капитал в размере двух-трех месячных зарплат (такие накопления у него имелись) скупает в филателистических отделах магазинов школьно-письменных товаров оптом весь запас рядовых советских марок. По адресам юнгевельтовских филателистов он меняет все еще недоступную им почтовую социалистическую муру на обезьян и бабочек на дешевых марках экзотических стран. Или, как называл их Томас, «гонделуп», исходя из названия популярной советской детской книжки. После получения потусторонних (в смысле железного занавеса) писем, зная, что марки можно было тогда пересылать в любых количествах в простых конвертах, в действие приводилась «пионерская живая пирамида».

Многочисленные агенты дяди Юры, в основном дворовые мальчишки моего возраста, получая мохнатых бурундийских обезьян полными блоками, в очередь меняли их (не продавали!) где попало на советские и русские марки, которые шли на вес. Простодушное население нашей страны было богато оставшимся, доставшимся, награбленным и трофейным филателистическим барахлом, не имевшим никакого применения и легко поддававшимся обмену на зарубежные картинки необычайной красоты. В полутьме дядиюриной комнатушки по каталогу

«Lipsia» зерна на полу отделялись от плевел, и начиналась серьезная работа с солидными адресатами. Лишенный как секретный инженер права на международную переписку дядя Юра в этой схеме не мог обойтись без легального пособника. Им стал я, непорочный одиннадцатилетний пионер, который тоже хотел стать миллионером. Письма писал дядя Юра, а ответы шли на мой адрес.

По поводу своей непорочности я несколько лицемерю. Кроме миллионера я хотел стать еще и артистом и посещал кружок «Театр теней» под руководством большого и толстого пионервожатого Виталия Семеновича Г. К трем членам труппы — Сане Курене, Севе Соловьеву и мне — пионервожатый питал еще не известные юным теневикам чувства. На дополнительные занятия по передвижению плоских картонных кукол-марионеток он по одному приглашал нас к себе домой. Почему-то предлагал снять в связи с натопленностью помещения лыжные штаны и, нежно поглаживая белую детскую ляжку между чулками на резинках и попой, норовил засунуть в район последней тыльным концом авторучку. По этой щекотливой причине я из кружка вышел, но на суд попал. Свидетелем. Как и Сева. А Саня — «потерпевшим», причем я по молодости лет считал, что он не так уж и сильно потерпел, когда Виталий Семенович эту авторучку смог все-таки ему засунуть по месту назначения. Кроме отключения от пионеров получил пионервожатый год общего режима условно за «попытку вступления в гомосексуализм» (из приговора). Так что, читая через несколько лет только что переизданный роман «Двенадцать стульев», я гордился тем, что не одна лишь подружка людоедки Эллочки Фима Собак знает это редкое слово.

Сдал любознательного вожатого терпеливый Саня Куреня. Он поведал о теневой стороне театра теней маме, мама — папе, а папа, капитан КГБ, за вмешательство в органы ему родных и близких отправил вожатого под суд. Я учился в самой лучшей городской школе № 19, и достойных детей доблестных чекистов среди однокашек было пруд пруди. Второй дружок мой — Сережа Капульник — был сыном майора этого рода войск и исключительно изобретательным хулиганом. Например, разоблачая вместе с папашей фаллические ритуалы православной Пасхи, он с помощью очевидного иудея, то есть меня, выкрасил нежные яички младшего по званию христианского младенца Курени синими чернилами из пипеточной авторучки прямо на глазах свято верующих в дело родной Коммунистической партии пятиклассников. Нам с добрым католиком Капульником ничего за это не было, так как с интересом наблюдавший обряд третий друг

Витя Соколов был единственным отпрыском самого главного начальника саратовской Конторы Глубокого Бурения — генерал-майора.

Потому межконфессиональный конфликт решался не в кабинете директора школы Полкана, а в тиши кагэбэшной планерки. И хотя о подробностях службы отцов-бойцов невидимого фронта ни мне, ни более близким родственникам ничего не было известно, особого страха перед органами я не испытывал с детства.

Итак, тайный союз пионера и инженера был заключен, и совместный бизнес в течение полутора лет набрал бешеные обороты. Уголовный кодекс зажмурился: в описанных действах не пахло деньгами, а значит, отсутствовали умысел и корысть — два источника и две составные части любого преступления. Дядя Юра любил свободу и уважал закон.

Спал теперь дядя Юра только на работе, но военные самолеты как ни в чем не бывало безаварийно бороздили мирное небо, не страдая от полуночных махинаций разведгруппы филателистов. Прибегая из школы зачастую задолго до окончания уроков, я доставал из своего почтового ящика кучу толстых писем-пакетов, раскидывал товар предварительно на полу и ждал прихода с секретной работы компаньона. И так каждый день. Не зная еще цены приобретенного, я уже сам почти стал миллионером — марок у меня самого скопились тысячи. За одну советскую присылали до пятидесяти штук. Хранились они в пяти фанерных посылочных ящиках, на четырех из которых была наклеена самодельная этикетка «МАРКИ СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ».

К засекреченным сослуживцам родителей моих школьных друзей меня вместе с отцом вызвали повесткой в самый разгар оголтелого филателизма. С любопытством готовясь к свиданию, я дефицитной мазью асидол начистил до золотого сияния латунную пряжку почти солдатского ремня суконной школьной гимнастерки, повязал красный пионерский галстук в чернильных пятнах, напялил фуражку с обрезанным по блатной моде козырьком, получил на всякий случай подзатыльник от психа-папаши и появился в его сопровождении в знаменитом Сером доме в указанном кабинете перед светлыми очами следователя-особиста.

Допрос начался с несложных формальных вопросов, на которые я отвечал, как на уроке, спокойно и четко, а псих-папаша — с большим волнением. Перешли к сути.

— Марки собираешь?

— Да.

— Откуда берешь?

— Меняюсь.
— С кем?
— С ребятами и по почте.
— Кто такой Лотар Пук?
— Филателист из Дрездена.
— Как познакомились?
— В журнале «Молодежь мира» адрес есть.
— Кто такой М. Дж. К. Аннаран?
— Филателист с Цейлона.
— Как познакомились?
— Так же.
— Ну, теперь скажи, пацан, а кто такой Тапан Кумар Рой?
— Филателист из Калькутты, познакомились так же.
— Ты ему деньги советские в конверте посылал?
— Ага, одну, две, три и пять копеек.
— Зачем?
— Он просил, я послал.
— А ты знаешь, что это запрещено и твой Рой — шпион?
— Нет, не знаю.

— Гражданин Глейзер, — это к папаше, — ваш недоросль попал в грязную историю. На него вышел в целях дальнейшей вербовки давно известный органам резидент английской разведки в недавно освободившейся от гнета британского империализма Индии. Всякое общение с ним преследуется по закону. Требую принять соответствующие меры к вашему балбесу. На первый раз — в виде ремня. Процесс исправления нами будет тщательно контролироваться. Все пока свободны. Подпишитесь здесь и здесь о неразглашении.

Мокрый от холодного пота папаня еле дотерпел до дома, чтобы предпринять предписанные меры. Лупил не больно, а больше для отдохновения своей полумертвой от страха души. Переписку с врагами Родины настрого запретил, уверив, что процесс будет контролироваться и им лично тоже.

К вечеру, потирая инквизированную задницу (пригодилась пряжка золотая!), я пришел к подельнику и, впервые нарушив подписку о неразглашении, все подробно ему рассказал. Юридическое лицо засекреченного комбайнера-самолетостроителя помрачнело до неузнаваемости.

— Обо мне не спрашивали? — нарочито равнодушно поинтересовался гражданин Томас.

— Нет, чекист не спрашивал, я не говорил, а отец не в курсе, — с обидой сказал я, чувствуя, что теряю друга.

— Ну, ладно. Заканчиваем. Это тебя почтальонша кособокая сдала, видать, надоело каждый день письма мешками таскать. А

может, и вправду — дурацкие монетки в конверте? На тебе тридцать рублей, купи кляссеры и систематизируй марки по темам. Гонделупские отдай бедным детям. Это говно. «Советы» старые и «белогвардейщину» береги, это деньги и сейчас, а тем более потом. Сосредоточься, к примеру, на «Политических деятелях мира» — тебе в ящиках хватит. Жди, я позову, когда надо. Спасибо тебе, Вовка, за компанию. Ты — молодец!

Больше я дядю Юру не видел — ни дома, ни во дворе, ни по тюрьмам, ни по каторгам. Нигде. А вот с «политическими деятелями» и «резидентом Роем» вовсе наоборот.

В 1958 году меня, крутого четырнадцатилетнего парня, родители вывезли отдыхать на море, в модный город-курорт Геленджик, где мы жили «дикарями», на постое. На городском пляже я целыми днями бесконтактно, но не без взаимности, разбивал сердца трем девушкам-красавицам одновременно — Вите из Ростова, Лиане из Тбилиси и Софе из Саратова, рационально отдавая предпочтение последней. Как вдруг мой взгляд остановился на новичке — маленьком, толстом и лысом, как шар, еврее, скромно возлежавшем на тусклой подстилке с моложавой красивой дамой монголо-бурятского происхождения. Говорил он с ней на ломаном русском языке. Приглядевшись, я понял, что на моих глазах скрывается от правосудия своего распятого народа «политический деятель» из моей коллекции — пропавший без вести после бурных событий пятьдесят шестого года экс-вождь венгерских трудящихся Матьяш Ракоши!

Я подошел, скромно потупив загоревшийся взор:

— Товарищ Ракоши, это ведь вы? Меня зовут Володя Глейзер, мне четырнадцать лет, я школьник из Саратова. В моей коллекции марок «Выдающиеся политические деятели» вы — в полном наборе. Я узнал вас оттуда.

Венгерский Сталин не выдержал опознания и с улыбчивого одобрения юной жены раскрыл для меня свое инкогнито. До самого отъезда я почти ежедневно полдничал в строго охраняемой секретной резиденции опального вождя — невзрачной госдаче с облупившимися колоннами — холодным кумысом по-бурятски с мадьярскими плюшками. В свободное от репрессий время тиран дядя Мотя увлеченно собирал марки.

Ох, как быстро прошла последняя половина еще эпистолярного двадцатого века с его письмами и открытками! Сижу в Интернете, пью невиртуальное пиво, интересуюсь, между прочим, от безделья кое-какими раритетными почтовыми марками из прошлого. На наших, отечественных сайтах нужной информации не нахожу. Залезаю в международный портал коллекционеров, раздел «Филателия». И, Боже ты мой, на первом

месте — мистер Рой!

Тапан Кумар!!

Индия!!!

Незабвенный шпион моего детства.

ГОРЬКОГО, 28

Мое детство прошло по адресу г. Саратов, ул. М. Горького, дом 28. Это был послевоенный новострой подшипникового завода на двадцать шесть трехкомнатных квартир в пяти этажах, из которых штук семь были отдельными (директор, секретарь парткома, главный инженер, гэбэшник — начальник отдела кадров и кто-то чуть пониже), а остальные — коммуналки. Мой папаша, хоть и был не последним ИТР (кто не знает — инженерно-технический работник) и начальником сборочного цеха и производства всего завода, в великолепную семерку не входил, и занимали мы впятером сначала одну, а потом целых две комнаты с соседями.

Очень важная деталь: по указанному адресу числился не только наш «жиддом» (итээрами были процентов на пятьдесят эвакуированные в войну евреи, мобилизованные на строительство и эксплуатацию оборонного ГПЗ № 3 — Государственного подшипникового завода — со всего запада страны, в том числе, как и мой отец, из Москвы). Внутренний довольно большой двор числился по тому же адресу.

Во дворе стояли с незапамятных времен два здания из красного кирпича — очень большой двухэтажник с огромными комнатами и лестницами с литыми металлическими ступенями, бывший доходный и весь коммунальный, и небольшой частный, тоже о двух этажах. В нем жили «собственники». Из жителей большого «красного дома» я хорошо запомнил двоих. Первый — это сильно пьющий Володька Талон, плотник — золотые руки. Он в нашем же дворе делал на заказ лодки-гулянки, и мы, молокососы, часами смотрели на чудо перевоплощения доски в шпангоут. Володька был родным племянником знаменитого попа Гапона из «Кровавого воскресенья», а его отец, доцент пединститута, — младшим братом знаменитого провокатора. Вторая — чуть старше нас крупная красавица-хохлушка с двумя русыми косами в руку до колен, умница и отличница, звалась Ирка-Пердыня. Не подумайте плохого, просто фамилия у нее была необычная — Прапро.

В «жиддоме» обитали юные «антилигенты», во дворе — шпана. Нас было очень много, и все были почти ровесники и без «почти» — друзья. Деление по возрасту было резким: довоенные и послевоенные. Из последних я был самым старшим — 1944 года рождения. Объединяла нас разновеликая бедность, а богатства «великолепной семерки» мы не замечали: партийная и хозяйственная номенклатура жила с виду скромно, ничем не

кичилась, наружу не высовывалась. Тем не менее она была самой текучей в доме — их все время меняли, сажали, переводили, в общем, выселяли и заменяли на точно таких же. А дворовая жизнь текла своим чередом.

Мы «стражались» на деревянных шпагах с консервными эфесами, играли в лапту-вышибалу, чижик, зоску, штандер, пристеночек и биту и гоняли в футбол штопанными-перештопанными волейбольными мячами. Темными вечерами, разбившись на лавочках на кучки по интересам, мы слушали и обсуждали «романы» (с ударением на первый слог). «Антилигенты» вольно излагали прочитанных жюль-вернов и фениморов-куперов. Шпана пересказывала цветастые сюжеты из уголовной жизни своих родителей, старших братьев и их блатных друзей. Кучки по интересам мешались между собой непрерывно, так что информационное поле было плюралистическим.

Мы не боялись уличных, так как жили «под крышей» дома своего. Блатные дворовые парни не работали, целыми днями сидели на дровянике (а у нас в квартире газ, а у них его еще не было), лузгали семечки, пили разливное пиво с астраханской воблой-черноспинкой, бились в секу и буру, играли на гитаре и не очень шумно горланили свой фольклор. Но только прибегал шкет, то есть кто-то из нас, младших, и вопил как большой: «Пацаны! Наших бьют!» — кодла снималась с места и, поплевывая через губу, в кепках-восьмиклинках набекрень, фиксы наголо, не торопясь шла качать права. Я не помню ни единого случая, чтобы права не были откачаны, и не помню ни единого случая, когда они откачивались бы силой (хотя и финки, и кастеты в карманах у кодлы были).

«Горького, 28» в нашем жилом районе была в авторитете. Шурка Рыжий, Юрка Мазан, Генка Никифоров! Я всех вас помню. Спасибо вам, а не товарищу Сталину, за наше счастливое детство!

Не все судьбы моих ровесников и чуть более старших мне известны, но по именам помню всех! К примеру, наш подъезд снизу доверху: Витька Крепе с братом Юркой, Валя Рамм и ее брат Гришка, мы с братом Юркой, братья Женька и Сашка Яровинские и их старшая сестра Лида, Тата Кармишина, соблазнительные сестры Ива и Таня Комлевы, Стаська Алексеев, Борька Рольбин с сестрой Наташкой, Олег и Сашка Ратинеры, Римка Белкина, Валерка Янчуков и Таня-француженка, фамилия ее Шилова, а француженка потому, что ее отец, парижский и саратовский друг художника Гущина, реэмигрировал в СССР сразу после войны. Большая (не по возрасту, а по габаритам) Таня с детства знала языки и водила нас в кинотеатр «Летний» по многу раз, синхронно и без устали переводя восторженной кучке

ребят, не успевавших прочесть субтитры, трофейные фильмы. Я до сих пор ей за это благодарен.

Кстати о реэмигрантах. Во втором подъезде, по соседству с будущим знаменитым художником Сенькой Белым, жил бывший румынский подданный рыжий инженер Левинтон. Он до оккупации Бессарабии окончил университеты в Италии и Франции по редкой специальности «архитектура и строительство мест общественного пользования» и работал на подшипниковом заводе именно «по специальности» — главным сантехником. Его дочь Генька вышла впоследствии замуж за талантливейшего саратовского математика, юного профессора, друга и соперника моего брата Борьку Шайна, которого выжили из университета конкуренты, и он с горя одним из первых отвалил с Волги на Потомак по чудом сохранившемуся румынскому аусвайсу суперактивной тещи с дворовой кличкой «здьясте».

От эмигрантов — к репрессированным. На пятом этаже третьего подъезда жила семья Ломтевых. Ломтев был «важняк» и входил в «семерку», но был нерепрессированным немцем. И очень интересно, почему. Его жена — тетя Эрика — была не только немкой, но и женой красного командира Лапшина (их сын Федька всегда входил в ватагу, как бы сейчас сказали, креативщиком, что не помешало ему стать известным профессором архитектуры). Красного командира убили еще до войны в бою с белофиннами, и тетя Эрика очень быстро вышла замуж за перспективного инженера Ломтева, который тогда еще носил какую-то нестандартную немецкую фамилию.

По указу Сталина всех советских немцев депортировали. Не всех, не всех! Кроме семей красных командиров. А Ломтев был к этому моменту уже членом семьи. Так вот, где-то году в 1958-м депортированных реабилитировали, и к тете Эрике в одночасье из Казахстана приехали двенадцать племянников — одиннадцать братьев Райт и Огородников. Вот это была бригада! Все белокурые бестии, дружные и физически сильные. Все приехали поступать в вузы, и все поступили! А в трехкомнатной «сталинской» квартире Федьки Лапшина возвели двухэтажные деревянные нары, где и проживали привычно по-барачному одиннадцать братьев Райт и Огородников.

От репрессированных — к иностранцам. Стройная красавица Ивка Комлева выскочила замуж за стройного красавца-югослава, который учился в Академии Генштаба, — то ли Йовича, то ли Джиджича, но точно не Дундича, как его называли во дворе. Свадьбу играли в Белграде, и Ивка вернулась домой вся в крепдешине и капроновых чулках. После ее прохода по подъезду соседки открывали двери, чтобы вдохнуть стойкие запахи духов

чужого аромата. Потом Йович (или Джиджич) преподавал тактику на военной кафедре нашего Политехнического института и перестал быть иностранцем на долгие годы. В тактике он, может, и разбирался, а в стратегии — нет. Когда Тито поссорился с Советским Союзом и отозвал всех военных, обучавшихся в нем по неравноценному обмену на советников и боеприпасы, возвращаться на балканскую родину перепропагандированный Йович, как и многие другие, обзаведшиеся в СССР семьями, отказался. И был скопом с другими отказниками приговорен заочно к смертной казни. Суровое наказание он без потери для здоровья пережил и спустя много-много лет все же уехал с Ивкой в Югославию.

В 1963 году во исполнение решения Фрунзенского районного народного суда (как впоследствии оказалось, самого справедливого суда в мире — он оправдал меня по уголовному делу в 1986 году) я был из дома выселен на все четыре стороны без прописки. Никто из старших соседей за меня не вступился, более того, на всякий случай написали донос в духе своей эпохи в партком университета, а младшие были бессильны. Я обиделся на свою по-настоящему историческую родину и с тех пор ни разу на нее не возвращался.

Однажды, несколько лет назад, будучи в гостях на пятом этаже сопредельного дома, я вышел на балкон покурить и с высоты воробьиного полета увидел панораму двора моего счастливого детства. И — о, ужас! — вместо необозримых когда-то просторов передо мной предстал узкий безлюдный колодец с заасфальтированным дном без глубоких ям-окопов наших игр в войну, без полуразвалившихся деревянных сараев-катакомб наших пряток, без волейбольной площадки нашего футбола!

Хоть и тускнеет с годами наше зрение, обращенное в прошлое, дело не в этом. Просто старая истина гласит: в одну реку нельзя войти дважды. Особенно если это — река времени.

САШКА

Когда мой гениальный брат Юра наконец-то сделал окончательный матримониальный выбор, его избранницей оказалась юная учительница музыки Беба Гренадер.

Гренадер — это не прозвище (Беба по меркам пятидесятых годов могла бы числиться в миниатюрных), а далеко не случайная фамилия ее двухметрового папаши Самуила Менахемовича, начальника отдела труда и зарплаты станкостроительного завода и, по совместительству, старосты саратовской синагоги. Папаша Гренадер не курил, не пил и вел талмудово-показательный образ жизни.

Большим позором этого большого человека была старшая дочь — восточная красавица Лия, в юности сбежавшая из дома с цыганским табором и вернувшаяся в семью с русским мужем Сашкой Маштаковым — бабником, художником и пьяницей, что для ортодоксального Гренадера было во сто крат хуже табора.

Сашке было лет тридцать пять. Он прошел огни и воды Отечественной войны и после всего этого с воодушевлением откликался на зов всех труб мирного времени. Прохожим, шедшим по улице навстречу улыбчивому Сашке, он казался неуловимо знакомым. Это было неудивительно: если его густые русые волосы не стричь месяца два, это был бы вылитый киноактер Жан Маре из трофейного фильма «Рюи Блаз» (ну, может быть, на голову пониже). В саратовской богеме, из которой Сашка не вылезал как с женой, так и без нее, так его и звали: Сашка-Маре, уменьшительно — Самара.

Я уже пару лет как выполнял у старшего брата обязанности «разводящего» не в том блатном смысле, которое имеет это слово сейчас, а в прямом — бракоразводящем. Мой гениальный брат всем девушкам, с которыми у него были «отношения», предлагал жениться. И когда наша мама в отчаянии заламывала руки и говорила со слезами: «Вова, твой брат опять сошел с ума, ты же видишь, что Лида (Оля, Стелла и т. д.) — шлюха!» — я не без половозрелого интереса шел разводить брата с очередной невестой при молчаливом непротивлении жениха. Поэтому с девушками Юры я традиционно и ненадолго знакомился почти одновременно с женихом.

Аналогичный случай и свел меня последовательно с Бебой, Лией и Самарой еще до неожиданного подписания брато-бебского брачного контракта.

Сашке, старше меня на целое (и непростое!) поколение, я, веселый и смазливый, уже потихонечку пьющий и совершенно не

пьянеющий (до поры до времени, а казалось — навсегда!), страшно понравился. Что касается взаимного чувства, то разве могло быть иначе? На вид мне было значительно больше, чем шестнадцать, а Сашке значительно меньше своих лет, так что в компании мы легко выдавали себя почти за ровесников, а молотить языком, веселя публику, я научился давно — от гениальных приятелей гениального брата.

До дружбы с Самарой я никогда не ходил в рестораны — и по возрасту, и, конечно, по отсутствию денег. Сашка, профессиональный художник-халтурщик, денег никогда не считал, даже когда их у него вовсе не было. В питейно-развлекательных заведениях его знали, любили, верили в долг, и это отношение вскоре распространилось и на меня. Кроме того, Сашка привлекал меня оплачиваемым подмалевщиком на все мыслимые халтуры, и я прилично наштыркался оформлять при помощи эпидиаскопа Новые годы, Первые мая и Седьмые ноября. Вы понимаете, когда у школьника девятого-десятого класса в кармане честно заработанные деньги, которые он может потратить на ресторан или на все, что угодно, какие песни поет его не по годам окрепшая душа?

Итак, шла стремительная подготовка к свадьбе, которую решено было играть на поле невесты. У Гренадеров был свой собственный дом, маленький, но явно больше двух наших комнат в коммуналке. О снятии ресторана или столовой перед кошерноедом Гренадером никто и не заикался. Мне было поручено достать два ящика нарзана.

Где родина нарзана? Конечно же, в одноименном магазине, расположенном на саратовском Бродвее — Кировском проспекте. Туда я и отправился перед закрытием, чтобы заговорить продавщицу, неограниченные возможности которой я предварительно оценил через витрину с улицы. Соблазнение прошло на редкость удачно, через пять минут мы были на «ты», и моложавая хохотушка Катя отвела меня в бендежку, где я и переложил в свои авоськи прямо из пыльных ящиков сорок бутылок нарзана по двадцать две копейки за штуку без переплаты под туманные обещания интимной встречи под сенью ночи.

Свадьба, как и положено, началась первым тостом не пьющего даже по этому случаю папаши Гренадера. Сашка на его глазах откупорил бутылку моего нарзана, налил полный бокал и передал тестю. Гренадер произнес подобающую речь и залпом осушил водичку.

Что было дальше? Дальше Самуил так запророчил по-еврейски, что у русскоговорящей публики не возникло никаких сомнений: свято верующий грязно матерится. Затем он двумя

руками взял Самару за ворот и по-богатырски выкинул его из-за стола.

— Самуил Менахемович! Папа! За что?! — возопил впервые ни в чем не повинный Сашка.

— Ты подло подлил мне водку, мерзавец! Вон из моего дома, паршивый гой!

В мгновение я схватил початую бутылку, плеснул в свой стакан и глотнул. Нарзан оказался чистой водкой!

Я вылез из-за стола, прибежал на кухню к униженному и оскорбленному Самаре, вытащил из ведра со снегом еще один нарзан и, уже понимая, что в Катиной бендежке произошло чье-то случайное вмешательство в чужое воровство, разлил бутылку в два стакана.

— Выпей подарочного нарзанчика, Самара, и успокойся.

Сашка отпил и остекленел.

— Вова! Это же «Московская особая»! Черт побери, и сколько же ты ее притащил?

— Два ящика, Сашенька, по двадцать две копейки за поллитра, — потупив счастливый взор удачливого охотника, сказал я.

— Ну, и хрен с ним, расистом, — намекая на тестево антирусское оскорбление, сказал Самара, — с таким запасом у нас с тобой вся жизнь впереди!

Это было правдой. Как я уже говорил, почувствовать себя настоящим мужчиной давали не только деньги в кармане, но и статус завсегдатая в местах, которые моя добропорядочная мама иначе как злачными не называла. Мама с утра до ночи работала в конструкторском бюро оборонного завода и даже брала работу на дом. Дома у стены всегда стояла большая чертежная доска с кульманом, зачастую имевшая и другое применение: когда приезжали с ночевкой иногородние родственники, чертежную доску клали на ванну в огромной коммунальной ванной комнате, на нее стелили матрас, и получалось замечательное спальное место для меня, только там и имевшего возможность спать отдельно. И у добропорядочной мамы было свое мнение о Сашке. Она страшно боялась, что этот разгильдяй и наверняка бывший дезертир, находящийся в розыске под чужой фамилией, когда-нибудь затащит меня в кабак и научит пить, курить и воровать!

Ах, мама-мама, как ты была близка к истине: я уже тогда не хотел стать ни инженером-конструктором, ни физиком-ядерщиком, ни даже простым советским человеком!

Балкон нашей квартиры, расположенной на втором этаже большого дома, выходил в огромный темный двор, где до позднего вечера на лавках лузгали семечки и распивали всякую

дрянь и взрослые, и подростки, и блатные парни нашего двора. Блатные жили своей жизнью, «с фраерами не канали», но обеспечивали одним своим присутствием полную безопасность всей мишпохе.

В духе времени мама выходила после наступления темноты на этот балкон и производила контрольный выкрик:

— Вова, ты здесь?

— Здесь, мама, — откликался я.

— Уже поздно, пора домой! И так до победного конца.

Прямо на этот балкон выходило боковое окно бывшей бильярдной ресторана второй категории «Европа», через пятиметровый дворовый проход, и именно у этого окна был МОЙ столик. Мы с Сашкой облюбовали его сразу, а после первого представления, которое я дал, столик освобождался для нас незамедлительно после прихода в «Европу» в любое время.

Представьте себе душный темный летний вечер, все окна кабака открыты, слепой аккордеонист Валька задушевно поет «Танго дер нахт, о синьорина», и вдруг слышится громкое:

— Вова, ты здесь? Я кричу в окно:

— Здесь, мама!

— Уже поздно, пора домой!

И тишина, взрываемая диким хохотом полупьяной бильярдной. Я чопорно раскланиваюсь. Валька играет туш.

Если ты хочешь избавиться от порока, испей его полной чашей до отвращения.

Я уже учился в университете, шла летняя сессия, и со своим закадычным дружком Дядей-Вадей мы готовились к экзамену с ночи до утра у меня дома. В девять пришел Сашка с балеткой (так назывался маленький спортивный чемоданчик, преобразованный временем в кейс), полностью забитой дешевым румынским шампанским «Царея» (три рубля за литр), а именно тремя баллонами.

Под плитку шоколада мы честно «позавтракали», и Самара равноправно сбегал в магазин за ленчем. Второй завтрак перешел в третий, четвертый, пятый, шестой. Утилизировав шесть балеток, три товарища пошли подышать свежим воздухом. Жаркое солнышко так подогрело содержимое наших желудков, что нас начало пучить, как воду от карбида кальция. Сначала мы дружно расстегнули ремни, потом ширинки — и все равно нас продолжало раздувать, как стратостат Усыскина. Веселье сменилось ужасом от аналогии с гибелью героя-комсомольца: если мы не взлетим за облака, то наверняка лопнем!

И мы кинулись в первую попавшуюся поликлинику. Медперсонал, наблюдавший столь необычное физическое

явление, покатился со смеху. Но скорую бесплатную помощь оказал: каждый получил по горсти таблеток активированного угля. С рыганьем пучина отступила!

Не знаю, какие выводы из этого порока сделал ныне всемирно известный ученый Дядя-Вадя, но вот уже пятьдесят лет я в рот не беру шампанского. С водки такого не бывает!

В день когда сняли Хрущева, я вылетал в Москву по студенческому билету — восемь рублей в один конец и двадцать пять — на расходы. На подходе к кассе я увидел, как из внутренних помещений вытаскивают пять портретов бывшего дорогого Никиты Сергеевича.

Портреты в золоченых рамах, писанные маслом.

— Куда тащим, ребята? — поинтересовался я.

— А на склад, куда он уже на хер нужен! — сказали пьяные ребята. И тут я понял, что могу отплатить Самаре равноценным добром.

— Ребята, продайте мне Хруща! — предложил я как бы нехотя.

— Вождь, даже бывший, хорошей копейки стоит! — вступили в торг ребята.

— Пузырь за физию, — твердо заявил я цену.

За двадцать рублей я через минуту приобрел всю коллекцию. И, позабыв про Москву, на такси привез пыльные опальные парсуны в мастерскую к Сашке.

— Самара, мы — миллионщики! Ты просто об этом не знаешь, — сказал я и залился радостным смехом.

Сашка посмотрел на меня как на идиота. Я продолжил свой высокопарный спич:

— Маэстро, рад представиться, ваш импресарио и благодетель!

Сашка смотрел на меня уже как на клинического идиота.

— Александр, вы гений эпохи возрождения эпидиаскопа! Но только мать родная — советская власть — самим своим бессмысленным существованием духовно и материально обогащает талант. Все лики вождей проходят цензуру — посмотри, пожалуйста, на жирные гербовые печати на задниках шедевров, изваянных суперхалтурщиками со спецразрешениями. Нет с нами глупого Никиты, но есть чудесные болванки под образы вечно не снимаемых вождей пролетариата — Ленина, Маркса, Энгельса. Ты замазываешь позорную звезду Героя на пиджаке героя реабилитации и кукурузы. В творческом порыве подрисовываешь маслом усы и бороды соответствующего фасона. И через час работы получаешь уже утвержденные цензурой портреты усопших вождей революции, свежие лики которых

скроют на линялых обоях пятна, оставшиеся от портретов Хруща. Дай мне рублей двести, и я завалю тебя творчеством. А потом поделим приваловские миллионы пополам. Я тоже хочу стать миллионером!

И мы ими стали! Конечно, ненадолго — Самарина школа не позволяла копить богатства.

Постоянным напарником Сашки по «малярии» в подсобке кинотеатра «Победа» был седой и лохматый первородный диссидент-романтик Борис Яковлевич Ямпольский. Гордец принципиально не брал денег от строя, упекшего его в тридцать восьмом на восемнадцать лет лагерей ни за что ни про что с первого курса филфака, и жил только на приработки, не вносимые в платежную ведомость. Этакий «политвор в законе». Привлечение за тунеядство ему не грозило: Ямпольский был полностью реабилитирован, и отбытого срока ему хватило бы на совершение и более тяжких преступлений.

По зэковской закалке он ничего не заносил на бумагу, но помнил наизусть ВСЕ! Когда Борис Яковлевич стал хорошим русским антисоветским писателем, я всерьез подозревал, что свои тексты он кому-то надиктовал, но точно не записывал. Экс-зэк непрерывно курил вонючие папиросы «Беломор», водку с нами не пил. Но просиживал на общих застольях допоздна, участвуя в разговорах неисчислимыми лагерными историями про чекистов и троцкистов, которые по промежуточным итогам классовой борьбы голодали на одном лесоповале. Чем учил меня на сих примерах естественным основам антисоветизма. Потом я их увидел в напечатанной форме. У Варлама Шаламова: «Не верь, не бойся, не проси!»

Однако лично Борису Яковлевичу я верил — и не просил, и не боялся, согласно его завету, в последующей жизни.

Сашка никогда не рассказывал о войне. На все мои вопросы он отсмеивался:

— Мемуары пишут коменданты и интенданты, им было на что посмотреть. А что я — сплю и воюю, воюю и сплю, и так все мемуары — одно и то же. Скукота.

Мне было это странно и даже подозрительно. Сашка был хорошим рассказчиком всякого рода анекдотов и случаев из своей развеселой жизни. Неужто права мама-уберегательница? Ясность внес ряд последующих обстоятельств.

Сашкина жена, восточная красавица и шалава Лия, была концертмейстером в государственной консерватории, поэтому классическую музыку Самара ненавидел. Но знал наизусть тогда еще полуподпольного Булата Окуджаву и, напевая: «Девочка плачет — шарик улетел, ее утешают — а шарик летит», — даже

пускал слезу.

Когда в самом начале шестидесятых с выездной редколлегией журнала «Юность» в наш город приехал сам Булат молодой, я впервые увидел и услышал его на концерте в студенческом клубе культуры. Уже знаменитый бард понравился мне всем — поджарый, коротко стриженный брюнет. Залысины только подчеркивали его природную высоколобость.

Поздно ночью после концерта мне позвонил Сашка:

— Вовка, помоги мне из одного места выбраться, рядом с тобой, а то я забурел!

Через десять минут я был в прокуренном до тумана номере гостиницы «Волга», где обнаружил влюбленную парочку — Сашку и Булата. Помятые голубки не пели песен и не читали стихов. А, слюняво обнимаясь на диване перед журнальным столиком, заваленным порожней тарой, утирали по-детски сопли, называли друг друга Булатиком и Талисманчиком и, не чокаясь, пили водку.

Это были не какие-нибудь друзья-однополчане, а родные братья по оружию, которых развело на двадцать лет только тяжелое ранение Булата. Так что музыкальные пристрастия Самары имели еще и глубоко личные исторические корни.

Году в семидесятом, уже после того, как Сашка ушел из семьи и запил капитально, он ломает в автотранспортном происшествии правую руку, и ломает ее серьезно. Срастается она долго и неправильно, работать как художник левой он не может, сидит на страшной и непривычной для него мели и куда-то пропадает почти на полгода. Вдруг мне звонит наш общий знакомец и кричит отчаянно в трубку:

— Вовка, нашелся Самара, он в тюрьме за хищение, в понедельник — суд!

До понедельника меня к Сашке не пустили, и увидел я его только на скамье подсудимых. Он исхудал донельзя, лицо его как бы ссохлось, но зубы сверкали улыбкой — он все равно был Жаном Маре.

Криминальная фабула была простейшей. Друзья, видя, как всерьез бедствует Сашка, человек одной-единственной мирной профессии, устроили его на синекуру — вроде бы экспедитором на какой-то мясокомбинат. Обвинялся Самара в похищении то ли вагона бараньих полутушек, то ли полувагона бараньих тушек, которые, впрочем, найдены не были.

Показания Сашки на суде не отличались от данных на предварительном следствии: запил — может, украл, может, нет, не помню. Ни свидетелей, ни подельников на процессе не было. А был ворох каких-то бумаг, из которых будто и следовал факт

хищения в особо крупном размере, за что прокурор потребовал по минимуму — двенадцать лет строгого режима по расстрельной статье.

Но тут появился в какой-то гоголевской шинели адвокат, который по существу уголовного дела ничего не сказал, а вынул горсть медалей и орденских книжек. Он отобрал из этой кучи три, положил их в рядок на свой портфельчик и показал судьям. Это были солдатские ордена Славы. Самара, по-старорежимному, был полным георгиевским кавалером! Официально этот набор равнялся Герою Советского Союза.

Суд удалился на совещание, и Сашку, на всякий случай, амнистировали по случаю двадцатипятилетия Победы.

Из зала суда мы пошли в «Европу», сели за мой столик, заказали водку и закуску, и Сашка сказал «за войну»:

— Я воевал в батальонной разведке, ходил к немцам за «языками», не пил и не курил все эти годы, потому что я из семьи кержаков-староверов. Первый раз, не поверишь, выпил в день победы! Ни разу не был ранен, получил за это от ребят кличку «Талисман». И знаешь, чему я от «языков» научился? Держать язык за зубами! А то бы я, Вовка, до суда и не дожил.

Я все понял и заказал еще бутылку водки: плачет старуха — а шарик улетел!

ПОЕХАЛИ!

Никакого бунта не было. Просто вырвались на волю обильные прыщи на румяных юношеских лицах. Скоропалительный уход из «лучшей в городе» школы № 19 двух пятнадцатилетних мальчиков и их пассий-близнецов из параллельного класса в обыкновенную среднюю школу № 18 имел вескую даже для родителей причину: оттепельные реформаторы образования в порядке эксперимента перевели покинутый источник знаний на одиннадцатилетнее обучение. У нас одним махом крали целый год послешкольной свободы! Вслед за нами, каждый по своим причинам, в добровольную эмиграцию отправились еще семеро смелых, так что 9-й «Б» наполовину стал «девятнашкиным».

Состав принимающей половины, как и в политике, резко отличался от эмигрантской. Это были пролетарские троечники. А мы, почти все, — отличники или хорошисты интеллигентского происхождения. Мятущемуся рабочему классу был нужен «черный вождь из Трира» — и я, здоровый, наглый и полуобразованный, хоть и поднахватавшийся ветвистых верхушек, стал им через неделю при взаимном непротивлении сторон. Началась новая вольная жизнь, не похожая на старую и строгую гимназическую.

В десятилетках тоже не обошлось без оттепельного реформаторства, и для восстановления упадка сил законченных бездельников-школяров после третьего урока была введена супербольшая перемена в тридцать минут.

Странным образом ее начало совпало со временем открытия антиалкогольной новинки — расположенного в трех минутах бега трусцой «Кафе-автомата», чуда торговой техники. В кассе заведения продавались по двадцать копеек штука металлические жетоны без какой-либо защиты (пьяницы-умельцы через неделю штамповали их десятками со скидкой до пятидесяти процентов) на разные по цвету, но одинаковые по крепости суррогаты — «Портвейн», «Белое крепкое», «Красное десертное» и т. п. Жетон бросался в прорезь автомата, из которого выливалась в граненый стакан объявленная на приклеенной бумажке жидкость.

Оперуполномоченный нами меркурий за пятнадцать минут до звонка с третьего урока жалко морщил лицо, поднимал руку и, держась второй за причинное место, просился выйти в туалет. После чего бежал в «Автомат», занимал очередь перед его открытием, первым покупал жетоны и раздавал их подошедшим вразвалку товарищам. За двадцать минут из перемены, в зависимости от общественных средств, мы выпивали по стакану или больше головоломной бурды и шли продолжать среднее

образование. Хорошо, что школьникам не платили стипендию, а суммы, выдаваемые нам родителями на завтраки, были незначительными. А то за два года непрерывного виночерпия к выпускному балу спились бы не двое, а гораздо больше.

С Петей Колесниковым, предполагаемым моим свояком по сестрам-близняшкам, мы к тому же расслаблялись культурно. Петенька, высокий русый красавец в золотых очках, числился в секретарях комсомольской организации школы и одновременно был вице-губернатором Острова сокровищ. Несметные богатства размещались в двух огромных сундуках с добром, вывезенным его отцом, инженером с хорошим художественным вкусом, из полукапиталистического рыночного Шанхая, где он несколько лет командировочно что-то налаживал и возводил. Деревянные будды и японские рисунки на шелке дарились нами на дни рождения девушкам, а импортные пластинки с модными фокстротами иногда продавались Петей собирателям рентгеномузыки за небольшие деньги. Я же был материально обеспечен халтурой под руководством свойственника — художника-оформителя Самары. То есть независимо друг от друга оба были «при капусте».

Так вот, сидим мы однажды во внеурочное время на втором этаже ресторана второй категории «Европа» за дальним угловым столиком — я лицом к входной двери, а Петя лицом ко мне. Пьем пиво с раками, холодная бутылка водки ждет подачи поджарки, разговоры разговариваем. Вдруг вижу, как в зал резкими нетрезвыми шагами входит директор нашей школы Мосол и бухается, не замечая подведомственных, за соседний столик спиной к спине Петеньки.

— Атас, Петя, сзади Мосол! — не вполне предполагая последствия, прошептал я другу, пряча под стол водку.

— Где? — сказал Петя и расслабленным локтем, лежащим на спинке стула ровно на уровне Мо-солового уха, в резком повороте в это самое ухо и заехал.

— Ты что делаешь, блядь, тратата-тратата? — обернувшись, совершенно справедливо заорал директор, но тут же узнал нас с Петенькой и, как настоящий Ян Амос Каменский, педагогично покинул конфликтное место.

— Ну, и что теперь будет? — спросил я Петю, доставая из-под стола потеплевшую бутылку.

— Да ничего, — сказал мудрый комсомолец. — Нечего в рабочее время ему пьяным по кабакам ходить. А нам можно — мы-то после уроков!

12 апреля 1961 года не отличалось от других весенних дней. Разве что в этот день литераторшей Чижевской было назначено классное сочинение с темами, которые, по ее предположению,

наиболее вероятны на выпускных экзаменах. С Чижевской я весело боролся уже два года. Причиной тому было то, что Нина Михайловна представляла собой традиционный образец учителя литературы высокого советского качества, и это качество исключало любые вольности, выходящие за утвержденную министерскую программу. А я покушался в соответствии с бегущим временем не только на это. Поэтому уроки Чижевской я посещал, во-первых, чтобы ее не обидеть, а во-вторых, желая получить простое протестное удовольствие. Сочинение было назначено на второй и третий уроки слитно. Но к началу занятий в класс вбежало потное чекистское отродье Саня Куреня с экстренным сообщением для ближайшего круга:

— Ребята! Папашу срочно вызвали в одно место — за Волгу, километров за сорок, там приземлился космонавт! Всё КГБ туда уже мчится, а я, когда папаша, не завтракая, в сортир побежал, схему перерисовал. Давай, Гришка, чеши за машиной, и вчетвером поедем!

Вчетвером — это ближайшие Санины друзья еще с 19-й школы — я, Гарик Сандлер и Гришка Рейхельсон — юный владелец быстроходного транспортного средства — отцовой «Победы». Все, кроме меня, — отъявленные прогульщики. В «экстренное сообщение» я не поверил, хотя что-то подобное витало в воздухе, да и вездесущее радио молчало, что было несколько странно для такого случая. Я просто решил, что Санек изобрел хитрый способ уклонения от провального для этой части компании сочинения, и по великой лени своей пренебрег личным участием в беспрецедентном историческом событии.

Гараж был рядом. Гришка подкатил через пять минут. Он сказал:

— Поехали! — и махнул рукой.

В гордом одиночестве я выбрал сочинение на тему «Судьба маленького человека в повести Н. В. Гоголя «Шинель» и без грамматических ошибок написал остроумный эпиграф: ««Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Николай Островский, писатель-коммунист». Очередное возмущение прямолинейной Нины Михайловны выплескивалось через край — в школьном коридоре висел цветной плакат с изображением парализованного Гомера гражданской войны. На нем приведенная в сочинении цитата была выписана полностью: «… чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

— Глейзер, — сипло кричала она в коридоре, корежа

пальцами горящую папиросу. — Зачем все это? Гоголь — это Гоголь, «Как закалялась сталь» — из совсем другой оперы! Островский Гоголя не читал, а ты — не читал обоих! Твои аллюзии, сомневаюсь, что ты знаешь это слово, — безграмотное и неуместное хулиганство, и ничего более. И ты еще за это заплатишь!

Когда через три часа после приземления Гагарина все радиостанции Советского Союза голосом Левитана сначала объявили о запуске, а еще через час — о благополучном приземлении первого в мире космонавта, три товарища уже вернулись восвояси. Мне, дураку, променявшему на шутку об Акакии Акакиевиче эксклюзивное прикосновение к спускаемому аппарату, прикоснувшиеся к Вечности балбесы подарили рваный кусок обгоревшей обшивки гагаринской капсулы, который пропал при моем принудительном выселении из родимого гнезда два года спустя. В мое отсутствие безголовые судебные исполнители просто выкинули его на помойку.

Космический катаклизм курьезной жизни кроткого А. А. Башмачкина обернулся единственной четверкой в моем аттестате зрелости: пятерка за русский язык и четверка по литературе. «Значительное лицо» в виде простой советской учительницы не только угадало тему выпускного сочинения, но и реализовало на практике данное в коридоре обещание. Так что вместо ожидаемой золотой я получил серебряную медаль, от которой, впрочем, публично и пьяно открестился на выпускном вечере. Это было не фрондой и даже не местью запрограммированной Чижевской — в тот год медалисты, благодаря неугомонной деятельности все тех же оттепельных реформаторов, были лишены всех преимуществ при поступлении в вуз.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

В университет я начал поступать перед окончанием девятого класса, и вот как. На областной математической олимпиаде школьников я занял первое место. Не то чтобы я сильно увлекался математикой, но учился хорошо, так уж получилось без всяких с моей стороны усилий. Дней через десять после вручения почетного диплома меня пригласил молодой доцент мехмата Емельянов, который отвечал за эту олимпиаду по общественной линии, и рассказал о своих далеко идущих планах.

Он сообщил, что летом этого, 1960 года Московский университет в порядке эксперимента проводит свою олимпиаду в открытом режиме и приглашает для участия победителей провинциальных олимпиад. Эксперимент этот, скажу, забегая вперед, закончился успешно, и со следующего года олимпиада МГУ превратилась во всесоюзную. А план Емельянова был такой: он организует усиленную подготовку трех областных победителей в экстремальном режиме. Непочатым источником этих знаний был известный мне учебник А. М. и И. М. Ягломов «Неэлементарная математика в элементарном изложении», который я из любопытства перелистывал, но из-за лени и всяческих забот не изучал.

В группу интенсивной подготовки «кроликами» вошли я и занявшие второе и третье место Сева Соловьев (мой одноклассник) и Миша Рорер из другой школы. В личном алфавите Мишки было всего тридцать две буквы: он не картавил — буквы «р» в его речи просто не было. Свою фамилию он произносил как Ое, и я даже подумывал, что он родственник киноартиста Бруно Оя из знаменитого литовского боевика «Никто не хотел умирать».

Группу «удавов» составили сам Емельянов, ассистенты Чернявский и Терентьев и аспирант Шевченко. Четыре дня в неделю по отдельности и один совместно «удавы» безжалостно дрессировали «кроликов» в течение месяца. Двадцать пять невероятных для простого школьника задач в день и одна умопомрачительная контрольная в неделю. И это при полном консенсусе сторон! Так я никогда раньше и никогда позже не только не учился, но и не работал.

«Удавы» были молоды, умны, веселы и на редкость демократичны. Судьба их сложилась по-разному: Емельянов стал доктором, профессором, завкафедрой любимого матанализа и умер от инфаркта, не дожив до заслуженных седин; Шевченко в Донецке убили какие-то бандиты; Терентьев сильно пил и тоже

сошел в могилу раньше времени. Доцент Чернявский, слава Богу, жив и даже здоров, находясь в иронической доброй памяти.

В общем и целом, нас натаскали на всю оставшуюся жизнь и отправили душным летом в стольный град. Поселили несколько десятков провинциальных гениев в задрипанную гостиницу «Восток» на ВДНХ и стали автобусом возить в МГУ на Ленинских горах на олимпийские игры. МГУ мне в первый же час понравился туалетом в главном корпусе. На белоснежном кафеле черной краской каллиграфически было выведено: «Абитуриент! Не пей из унитаза!», а под призывом коряво: «Что же ты мне раньше не сказал».

Участники соревнований, вне зависимости от места жительства, отличались удивительным однообразием как фамилий, так и профилей. Подобный контингент уже в наше, другое по этой части время я встречал только на праздниках в еврейских воскресных школах. Причем в качестве зрителей.

Занять среди этих тыквоголовых вундеркиндов первое место было нереально, даже при нашей супер-пупер подготовке. Поэтому я спокойно попивал вечерами дорогое пиво «Двойное золотое» в витых бутылочках под самую дешевую чесночную колбасу на бородинском хлебе с соседом по этажу — прыщавым здоровяком Левой Темкиным из Самары (тогда — Куйбышев). Деньги у меня на это уже любимое дело были — сто родительских рублей тайно удвоил мой старший брат Юра, пятикурсник физфака СГУ, известный на родине решальщик школьных задачек повышенной трудности, заядлый преферансист и мой естественный болельщик.

Темкин был остроумцем; например, я запомнил его очень точную шутку по поводу нашего проживания: «Превратили гостиницу в какое-то общежидие!»

К моему удивлению, похмельный Темкин занял призовое второе место и впоследствии обнаружился профессором в Штатах. Я вошел в первую двадцатку (семнадцатым), решив из четырех две с половиной задачи и ничуть этим не расстроившись. А в качестве сюрприза, как и вся двадцатка, получил официальное индивидуальное приглашение деканата мехмата МГУ на льготное поступление через год в самый престижный вуз страны! Вот с таким щитом я и явился с поля боя в родные пенаты.

Десятый класс начался с фантастики: учительница Ольга Георгиевна освободила меня от посещения уроков математики! До этого освобождали худосочных и только от физкультуры. Обидно было за Севу Соловьева, моего попутчика-олимпийца, не получившего, в отличие от меня, справки о гениальности на

гербовой бумаге. Это не помешало Севе окончить саратовский мехмат, защитить диссертацию и всю жизнь преподавать эту самую математику.

Классный руководитель, учитель физики Давид Львович тоже мной гордился и позволял на свои уроки ходить, но физику не учить. На выпускном экзамене по этому предмету Давид Львович меня просто завалил в назидание, но поставил пятерку, чтобы я получил медаль. Медаль в тот год никому не была нужна, так как льготы медалистам, как я уже упоминал, отменили.

И на выпускном вечере я в веселом подпитии демонстративно выбросил ее в окно под столь же весело-пьяные визги влюбленных в меня одноклассниц. Но московскую справку-приглашение на всякий пожарный случай я сохранил, хотя ехать в МГУ не собирался. Я сознательно пренебрег престижностью столичного образования, руководствуясь соображениями приземленными.

Наша семья, уже двадцать лет проживавшая в Саратове, была эвакуирована в войну из Москвы, и мама, беззаветно любившая столицу за избыток в ней яиц, мяса, масла, колбасы и культурных учреждений, из года в год сидела на чемоданах. И вот папаню той весной наконец-то перевели главным конструктором в секретный подмосковный НИИ и дали квартиру, правда не в Москве, а за шестьдесят километров от нее, но езда на электричке маму не смущала. Лишний час по точному московскому расписанию — это все же лучше, чем по полтора неточных на саратовских перекладных на работу и с работы. Обо мне родители не думали: куда я денусь с подводной лодки!

А я думал, да как! Все уезжали, а я мог остаться! Один, с меблированной комнатой в центре города! Среди друзей и подруг, в семнадцать лет! Да хрен я поеду! И я подал документы на физический факультет Саратовского университета. Почему на физический? Да по целым трем причинам. Первая: математику я уже, как мне казалось, всю знал. Второе: это было время «физиков в почете, а лириков в загоне», и друзья старшего брата мне все уши прожужжали расшифровкой этого модного тезиса. И третье: мне было стыдно перед хорошим человеком, учителем Давидом Львовичем за то, что физику в школе я не выучил, а «пятерку» на экзамене получил по блату.

Сдавать надо было тогда пять экзаменов, и за четыре я нисколько не беспокоился. Но физика!

С ней-то что делать? Конечно, за месяц я бы ее выучил, но страх был. Опасения были рассеяны все теми же буйными друзьями брата, не только окончившими год назад университет, но и занявшими на физфаке довольно солидное и прочное положение. Они, стуча кулаками в грудь, орали мне на кухне:

— Да ты идиот, Вовка! Ты только приди на экзамен — там ни одной незнакомой тебе рожи не будет! Там будем — мы!

Так примерно и вышло на практике.

Я с удовольствием ходил на консультации, знакомился с ровесниками, пил пиво и ел в одном и том же кафе очень вкусные пельмени — три порции с маслом и сметаной. На целый день. Однажды именно в этом заведении я оказался рядом со своим прошлогодним суперрепетитором Юрием Ивановичем Терентьевым. Он был слегка, но заметно, пьян и с удовольствием вспоминал наши былые математические победы.

Когда он узнал, что я поступаю на физфак, он ничуть не удивился и даже обрадовался.

— Володя, хочешь меня выручить? — спросил он.

— Хочу. А чем?

— У меня через час консультация у физфаковской абитуры, а я, как видишь, под шофе. Тема занятий — комбинаторика, а лучше тебя, даю слово, эту дисциплину никто не знает. Расскажи ребятам о перестановках и сочетаниях, как я тебя учил, примеры там разные приведи, ответь на вопросы. Ладно?

— Ладно, — сказал я. И подумал: вот это хохма!

Консультацию я провел на ура. Дело это я действительно знал на шесть с плюсом. Потом провел еще одну и еще одну с тем же успехом. На них уже сидели Тереньтев с Шевченко и умиленно радовались вместе со мной.

Каково же было удивление моей клиентуры, когда я вместе с ней сдавал как ни в чем не бывало предметы, которым ее обучал, высоким членам приемной комиссии!

В университет я, конечно, поступил. Но еще года два, как и в школе, был освобожден моими старыми друзьями от занятий (не от экзаменов!) уже по высшей математике.

И сделал важный вывод: учиться рано никогда не поздно.

ЛЮБОВЬ И МОРКОВЬ

Типичный случай: им по восемнадцать, и они любят друг друга. Оба студенты одного вуза и одного факультета, но разных потоков. Так что даже как бы разных факультетов, что на учебное время укорачивало число встреч. Видеться во всех смыслах хотелось, а расставаться — нет. Первое долгое свидание — в колхозе на летней отработке. Но вокруг постоянно люди, свои, конечно, в доску, но нет ничего надоедливей, чем постоянство. Хотелось романтики и только вдвоем. Очень. Уехать куда-нибудь? Например, на море!

Морей, кроме Балтийского и Черного, тогда для жителей европейской части СССР не существовало. Первое, песчанопляжное, было для богачей, второе, галечное, — для бедняков. Первое — курортное, второе — тоже путевочно-санаторное, но в очень большом остатке — для «дикарей». С рюкзаками и палатками, сухарями и консервами на небыстрых поездах, на машинах-развалюхах, мотоциклах и велосипедах, как один человек, весь советский народ совершал летний хадж в солнечную Мекку — за сто рублей на берег самого синего в мире Черного моря его.

В любовном тандеме я крутил передние педали — и мое дело было рулить, а ее — в такт усиливать напор продвижения. Друзья-сокурсники — их звали Фан, Бессоныч, Хил и Тишка — заработали помощниками комбайнеров на подшефных колхозных полях по сто двадцать рублей. Отпускных. Мы с Любимой в другом колхозе токовали по вечерам, а на мехтоку в дневное время на двоих налопатили шиш да маленько. Но в поход на море собрались тоже. По-разному.

У Любимой уехали на отдых в те края родители и настойчиво звали утомленную сельхозтрудами праведными доченьку присоединиться. У меня была коллекция марок, один альбом из которой, «Политические деятели мира», для меня особой ценности (по сравнению с любовью) не представлял. А филателист Эдик Маслов, первый в моем поле зрения здоровый мужик с наманикюренными пальцами и поэтому непрерывно цитировавший Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» — давал мне за него ровно сто двадцать рублей. У Эдика не было «горя от ума», и посему водились лишние деньги. Так что я легко вписался в коллектив к-морю-плавателей вступительным взносом.

Пункт назначения легко был выбран по родительским координатам: город-курорт Геленджик. Куда мы и отправились

вшестером в прицепном плацкартном вагоне всей шлеп-компанией. С домашними пирожками и портвейном «777», к которому мы дружно переходили, исходя из ожидаемой скромности будущей жизни. На всякий случай тут же, в купе, мы накладыванием дланей поклялись не употреблять (не более чем на месяц!) крепких алкогольных напитков, ритуально изорвав специально отклеенную этикетку «Московской особой».

Постоялое место на окраине «Мекки» (нашим единственным условием была дешевизна) нам забронировали предки Любимой. Хозяйкой ангажированной комнаты оказалась жердеобразная некрасивая гречанка лет тридцати Марула Ставроди, которую в соответствии с ее прейскурантом мы звали Марула Полставроде. При всей напускной строгости она была крайне добра и смешлива, мы ей нравились, и она любила с нами поболтать о том о сем, осторожно потчуя северных красавцев терпким домашним, крепленным табаком вином, сильно подкрепляя этим действом наш скудный бюджет. Из курса греческого языка, который она нам, любя, преподавала, я запомнил только счет до десяти — эна, диа, триа, те-сера, пеенди, экс, офто, эхто, энея, дека, или что-то в этом роде. Комната была большой с окном в палисадник — две полуторные кровати и диванчик. Мы бросили жалкий жребий свой, и спальные места распределились так: на кроватях валетом я с Тишкой, Хил с Фаном, на диванчике — везучий Бессоныч, держатель общей кассы, человек непреклонной воли и сосредоточенного самосознания.

Целую неделю мы плескались в невысоких волнах Черного моря, ели дешевые овощи и фрукты, обедали в еще более дешевой забегаловке самообслуживания и, не успев устать от однообразия свободной жизни, потянулись к перемене мест. Сначала это были места не столь отдаленные.

На седьмой день под руководством Тишки мы мужским составом (Любимой хватило ума!) пошли в пробный пионерский поход на Толстый мыс. Геленджикский залив природой огорожен двумя мысами: западным — Тонким и восточным — Толстым. Тонкий мыс был окультурен, на нем росли реликтовые сосны, и среди них был разбит городской парк. Толстый мыс был дик и неухожен, находился вдали от городских построек, и нормальные люди туда не ходили. Ненормальные тоже. Мы пошли. Пошли налегке — в плавках и сандалиях, без еды и питья, так как с нашим атаманом не приходилось тужить как в населенной местности, так и в самой что ни на есть пустыне. Сердобольные (и не очень) граждане снимали с себя последнюю рубаху, чтобы удовлетворить скромные потребности в пище и воде белокурой бестии с грустными серыми глазами, который нес такую ахинею,

что незнакомые люди поголовно впадали в благотворительную кому. Мы привыкли к этому первобытному коммунизму, и если, как пелось в песне, «шеф давал нам приказ — мы шли в Кейптаун».

Толстый мыс был необитаем оттого, что к морю подходил крутым обрывом довольно большой высоты, а прибрежная каменистая полоска метровой ширины не позволяла даже найти места для загорания. Вот по ней-то мы и прошагали часа два, не встретив ни единой души. Когда нам по молодости и душевной простоте захотелось пить и есть, внимательный к чаяниям членов отряда командир остановился и, указав на тонкий ручеек, где-то наверху пробивавшийся из практически отвесной стены, сказал: «Здесь мы и проведем восхождение к резервации белых людей, мирно пасущих свои тучные стада. Там мы будем есть мясо и пить молоко. И то, и другое — парное!»

И мы цепочкой полезли вверх по осыпавшемуся обрыву. Первым до источника влаги дополз Тишка. Он подставил ладошку, набрал в нее несколько капель, слизнул их сухими губами и возопил: «Чище этого боржоми нарзана я не пил!» Я подполз вторым, повторил ритуал командора и чуть не помутился разумом — по всем признакам запаха и вкуса мы впервые в жизни попробовали мочу!

Поддерживая хохму, я сделал лицо и сказал «вах-вах!» следующему жаждавшему. Третий, а за ним и четвертый вступили в розыгрыш. Пятым был измочаленный солнцепеком Бессоныч, который набрал полную пригоршню и выпил ее залпом. После чего заорал нечеловеческим голосом и начал забрасывать нас камнями. С одной стороны, он поступил правильно, а с другой — нет: нельзя рубить сук, на котором сидишь, нельзя кидаться камнями, на которых лежишь! Бессоныч с визгом скатился прямо в морскую пучину. Там, матерясь, он промыл рот и расцарапанное пузо, и еще полчаса мы ждали его на вершине, прямо у лошадиного стойла — оно-то и являлось источником живительной влаги.

Слава Богу, плато представляло собой совершенно безлюдную виноградную плантацию. Сориентировавшись по солнцу, мы вышли на большую дорогу, набив по пути животы бесхозным недоспелым виноградом. На дороге стоял огромный фанерный щит, на котором толстенными буквами красовалась надпись: «ОСТОРОЖНО — ФИЛОКСЕРА! САД ОБРАБОТАН ЯДОМ».

Мы мужественно, без скупых слез попрощались друг с другом перед неминуемой смертью, но на всякий случай вставили себе по два пальца в рот. И что бы вы думали? Черный ангел, не

задевая, только помахал нам своим крылом!

Перемену на места более отдаленные придумал все тот же вездесущий Тишка. «Ребята, а так же девчата! — вскричал он. — Есть уникальная возможность практически на халяву морским путем добраться до Сочи и обратно! Я уже обо всем договорился».

Тотчас за какие-то копейки были куплены палубные билеты на супердизель-электроход «Россия» (и он, и его аналог, круизный лайнер «Адмирал Нахимов», были перекрашенными трофейными теплоходами, и один из них, не помню, который, скромно назывался прежде «Адольф Гитлер»). Палубные билеты — это без койки: можешь спать стоя, сидя, лежа — где попало. С этим аусвайсом ты свободно перемещаешься по всем палубам и надстройкам, с правом захода в бары, рестораны, купания в огромном бассейне на верхнем этаже, а также — в игорный зал на двадцать ломберных столиков, всего, что осталось от роскошного когда-то казино. Но нам и их хватило. Заблудившийся и, как выяснилось позже, заблудший друг Хил вернулся из злачного места со слезами на глазах: за полчаса он умудрился проиграть в дамский преферанс двум лысым мужикам солидную часть нашего неприкосновенного запаса, отдав злоумышленникам тридцать рублей и оставшись два рубля им должным.

— Они шулеры, Вова! — сваливал на объективные обстоятельства свое крайне субъективное поведение растратчик социализированной собственности.

— Хил, если это шулеры, то тебе повезло, но если это порядочные люди, то наши финансы спели реквием, — сказал я твердо, и я знал, что говорю. Дело в том, что, играя на досуге в карты «на интерес», то есть на деньги, и имея от этого некий навар к повышенной стипендии, я являлся одним из немногих читателей затертой до дыр дореволюционной книги «Игрокъ на все руки» с подзаголовком «Пособіе противъ карточныхъ шулеровъ».

Про джентльменский преферанс было написано примерно следующее (реликтовые стиль и орфографию опускаю): «Кроме коцания карточек и парной игры, которые легко разоблачаются нашим добрым читателем, используются только две сменки — мизер на десять взяток и десятерная без шести. Как играть этот подвох — далее. Но скажем сразу, что уже при получении на руки этих сдач, вы безо всяких последствий можете бить сдающего подсвечником по голове!»

С учетом этих кабалистических познаний я незамедлительно отправился в обитель разврата в сопровождении Хила и трех рвущихся в бой за правое дело дочерна загорелых еще с колхоза помощников комбайнеров. Отстраненную от крепких мужских

забав Любимую мы в ждущем режиме оставили в баковом баре пить коктейль через натуральную соломинку — на пластмассовые в корабельной кассе, видимо, не хватило валюты.

В бывшем казино лысые мужики очень преклонных лет с рифмующимися именами Лёня и Моня ждали возврата долга, попивая давно прописанные им врачами «Ессентуки № 17». Отдав два рубля, Хил потребовал незамедлительного матча-реванша в исполнении своего младшего брата — меня. Мы с жертвой были ровесниками, но после нагрянувших переживаний Хил действительно выглядел перестарком. Жадные до легких денег плешаки тотчас согласились, на свои лысые головы. Когда я сказал «пас» на «мизер на десять взяток», шарообразные удивились, но профессиональная алчность взяла верх, и следом мне сдали «десять без шести».

Я в полном согласии с первоисточником сыграл на этих картах восьмерик на трех козырях, чем поверг понтеров в изумление, переходящее в уныние. Последнее наступило после заготовленной мной тирады:

— А теперь, падлы, верните брату проигрыш и заплатите мне столько же за науку. Возражения не принимаются: три янычара с ятаганами ополовинят ваш коллектив по простому взмаху моей руки. Бекицер, шлимазлы (что означало «быстро, кретины» на родном языке шулеров)! — И показал на томящихся в дверях трех русских богатырей во главе с Бессонычем с художественно исполосованной свежими шрамами грудью.

Не произнеся ни единого слова, Леня и Моня выдали на гора шестьдесят четыре рубля. Не дожидаясь вечера, мы начали праздновать.

Со сходом в Сочах на берег мы провели в путешествии ровно неделю и вернулись к заскучавшей без симпатичных троянцев ахейке. Особенно скучала гречанка о Тишке. И это не удивительно.

Белозубастого и стройного тогда блондина Тишку любили все, а особенно девушки. Для них на редкость словоохотливым красавцем был выработан и всегда к месту применялся особый язык — язык мелких и, казалось бы, непроизвольных ошибок. Тишка называл массандровский портвейн «мансардовским», колоратурное сопрано — «клавиатурным» и зазывал, трагически завывая, опешивших девиц мрачными стихами «Приходи ко мне в могилу — погнием вдвоем!». И радостные девицы шли в очередь на заклание.

На седьмой день нашего паломничества он вошел в келью нашего мужского монастыря, потирая руки:

— Вечером я поведу не всех в музей. Местный, неизвестно

какого хрена ведческий. Почему не всех? Потому что владельцы походных самоваров в Тулу не ездят, а в музее после окончания рабочего дня состоится оргия. По формуле «четыре на четыре». Четверо нас, странников перехожих, на четырех совершеннолетних экскурсоводш молочно-половой спелости. И «оргиянизатором» буду я! А вы, парисы-кипарисы, купите или стырьте, что лучше, у вахканки Марулы пару бидончиков огнедышащего древнегреческого зелья. Не приходить же одиссеям к любви покорным илиадам с пустыми руками! Конкретное место для ебивуака я уже выбрал.

Впоследствии я созерцал весь этот «ебивуак» на блеклых черно-белых фотографиях, отснятых нашим походным ФЭДом без экспонометра и проявленных уже на родине. Оргия проходила на стоянке древнего человека! Человеческий рост папье-машевых неандертальцев только подчеркивал естественность происходившего: полуголые до трусов женихи и Пенелопы у тлеющего костра изображали прожорливое обгладывание «костей мамонта», временно позаимствованных у ополоумевших муляжей, и пили под них огненную воду. Ритуальные танцы со всей очевидностью демонстрировали гениальность режиссера-постановщика. На сексуальные сцены внутренней цензурой было наложено табу. И были они, или нет, не имело никакого художественного значения. Тишка заслуженно получил почетное звание «народный артист Неандертальской АССР»! Мы все до сих пор гордимся тем, что он — из нас.

Не могу не указать и на политическую дальнозоркость нашего полководца. В программе вышеописанного морского круиза на бывшем «Адольфе Гитлере» было обязательное посещение сильно засранных рабочими, крестьянами и трудовой интеллигенцией духанов всесоюзного значения — озера Рица с шашлыком на саблях и Голубого озера с купатами на рапирах. Переезжая где-то перед Гантиади из Краснодарского края в солнечную Абхазию Грузинской ССР, автобусная гидша пошутила:

— Пересекаем границу двух братских республик, товарищи!

— А почему не проходим таможню? — строго спросил Тишка.

Так ровно на полвека вперед настоящий в будущем государственный муж и полковник КГБ в отставке, Тишка предсказал никем не ожидаемый, кроме разве что диссидента Амальрика, распад СССР.

Вынужден, как честный бытописатель, коснуться не самой ароматной части исторического завоевания стоянки древних охотников на мамонтов. Как известно, в любом походе уцелевшему воину не обойтись без возвращения. Возвращаться бойцам сексуального фронта было тяжело, мягкое воздействие

Марулиной огненной воды переходило в жесткое, пропорционально возлиянию. В частности, нарушались естественная функция мозжечка и координация во времени и пространстве. Если бы не хитроумный проводник Тишка, пути назад экскурсанты бы не нашли. Но… По длинной улице греческого гетто — нашего чудесного обиталища — проходила арычная канализация всей верхней части достопамятного города героев Геленджика. Представляла она забетонированную по бокам траншею без верха, по которой бурным потоком сливалась в сторону ничейного моря вся бытовая грязь. Арык почему-то не вонял. Но это только казалось. Великий «оргиянизатор» не искал в жизни прямых дорог, он шел по ней как ему было удобно. Чтобы не сильно плутать по неосвещенному ночному городу, дойдя до пересекавшего их путь арыка, Тишка продемонстрировал на личном примере находчивость, достойную ходока за три моря. Шерп закатал до колен штаны, взял в руки ботинки, спустился в арык и здраво предложил хмельной братии: «Теперь, никуда не сворачивая, мы попадем через тернии прямо в рай к Маруле!» Что и случилось без каких-либо отклонений от линии партии. Небольшая конфузия случилась только с Фаном: он поскользнулся на говне и в него же пластом упал.

Я проснулся от необычного амбре, когда блудодеи под утро проскользнули в комнату. Но это еще было полбеды. Усталые путешественники привычно разделись, и каждый лег на свое место. Тишка — в мою кроватку. Валетом! И захрапел непробудным сном. Я никогда не спал в сортире и убежал в Марулин палисад. И только терпкий запах инжирового дерева привел меня в чувство.

Преображение в питекантропов и два последующих дня, проведенные с гетерами-неандерталками, сильно подкосили финансовое положение охотников до мамонтятины. Бессоныч, как наиболее чувствительный к перекличке поколений и лорд-хранитель банкнот, уговорил Хила и Фана поскорее исчезнуть с места возможных материально-сексуальных излишеств. И они вяло пошли у него на поводу, тайно купив билеты в общий вагон поезда Новороссийск — Саратов.

Я, Любимая и Тишка остались паломничать в Мекке без друзей, что обидно, и без денег, что нас практически не волновало. Более того, мы решили оттянуться на всю катушку в малом составе. Очевидная бедность нас нисколько не смущала. Вещизмом мы не страдали, а еды вокруг было намного больше ее поглощающих.

«Всё! Поезд ушел, дружно переходим на подножный корм. Рекомендую морковь. Мне она поможет каротином в

эмоциональном, а вам, любовникам из Вороны, — в чисто физическом смысле! Если надо, я ради вашей любви пойду на паперть».

Папертей, к счастью для боговерующих, в Геленджике не было, не то Тишка с его зашкаленной коммуникабельностью на добровольных началах обобрал бы всех до нитки.

Сдав в пункт приема стеклотары скопившиеся на нашем лабазе бутылки из-под кефира, мы отправились в дешевую чебуречную добрать недостающие калории. Как вдруг, заре навстречу, с товарищем в борьбе по геленджикскому теренкуру павой проплывает дородная красавица лет пятидесяти под ручку со сморщенным старичком. «Ба! — прошептал я внутреннему Добчинскому. — Да это моя родная тетка Елена Борисовна с мужем, старым большевиком Минчуком!»

— Все свободны, а я занят потребительской кооперацией! — сказал я Тишке, а Любимой добавил стихами: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди!» — и отправился на опознание.

— Здрасьте, тетя Лена и дядя Гриша, как я рад вас увидеть! — совершенно искренне сказал я курортной паре, которую я узнал и которая меня не узнала по одной и той же причине: последний раз мы виделись лет десять назад. И они за это время, в отличие от меня, не сильно изменились.

— Кто ты, мальчик? — по-учительски вежливо и строго спросила меня тетя, школьный завуч. — И откуда ты знаешь, как нас зовут?

Подробности, устанавливающие мою личность и степень нашего родства, я высыпал в количестве трех коробов, и старый большевик Минчук, как опытный политкаторжанин, первым понял, что он попал на бабки.

Четыре дня я за обе щеки вкушал уже подзабытые горячие яства с семейного стола, сильно сокращая общие с товарищем и Любимой расходы на питание. То, что было возможно, со скатерти-самобранки я довольно нахально тырил и ловко затаривал в небездонные, к несчастью, карманы. Перед отъездом тетка дала мне двадцать пять рублей и написала на листочке адрес своего сына Вальки, летчика-истребителя женщин в городе Ростове-на-Дону и моего дорогого двоюродного брата. Обе бумажки очень нам пригодились. Одна сразу, другая потом.

Узнав о месторасположении Валькиной воинской части и будучи уверенным, что яблочко от плодоносящей яблони далеко не падает, Тишка сразу же предложил добраться автобусом до близлежащего Ростова, позаимствовать у капитана ВВС часть его баснословного денежного довольствия и поехать в Саратов на пароходе через Волго-Донской канал.

— Одно дело — курить в заплеванном вагоне, а другое — на маленьком, может быть, даже двухколесном пароходике типа «Адик Гитлерюгенд» водной артерией пересечь необъятные просторы нашей социалистической Родины! — пять минут уговаривал нас наш Мефистофель.

К вечеру следующего дня мы были на ростовском вокзале. Но тут случилась закавыка: у Любимой неожиданно подскочила температура выше градусника, и она по состоянию здоровья не могла передвигаться даже ползком. Временное пристанище Тишка организовал незамедлительно — мы устроили Любимую на ночлег в свободную короткую кроватку в привокзальной комнате матери и ребенка, а сами взяли такси и поехали в воинскую часть к предполагаемому богатому гусару.

Череда невезений продолжалась. Мало того, что военный городок располагался у черта на куличках, и шофер (видимо, глухонемой) не поддался на уговоры и содрал с нас непомерную плату, — главный конфуз ждал нас на месте своего назначения. Военный летчик радостно встретил нас в два часа ночи в семейных трусах без погон и без копейки денег! «Понимаешь, Вовка, прямо вчера Люська съехала, типа в развод, и кроме форменной одежки ничего в доме не оставила. Хотя вру, пузырек в заначке у меня завалялся!»

Ничего лишнего и насущного не говоря, мы распили бутылку водки, привычно поспали часок валетом на диване без простыней и одеяла, приехали в комнату матери и ребенка, забрали оттуда пришедшую, к счастью, в сознание Любимую, без билетов сели в проходивший поезд и бесславно уехали на историческую родину.

Дома у Хила, непонятно почему встретившего нас на привокзальной площади, всех ждал праздничный ужин с фаршированной щукой, которую чудесно готовила его мама.

РОССИЯ, КОТОРУЮ НАМ ПОТЕРЯЛИ

Як, он же Володька Яковлев, с третьего захода, но все же поступивший на физфак университета, был родом из глухой деревни и учился в десятилетке почти в одиночку в другой глухой деревне в пятнадцати верстах от первой. Ходил он туда пешком, как Филиппок, и зимой, и летом, и то ли от рождения, то ли от хождения весь высох до костей при росте типа «дылда». Мясо его превратилось в жилы страшного внутреннего напряжения, что и на сгиб, и на разгиб было чревато чужим увечьем: силы внутри сухого Володьки были невероятные. И горнобычья кличка «Як» их отражала.

Вообще, прозвища, которыми мы награждали друг друга в юности, не были абстрактными, хотя исходили чаще всего из фамилий.

Популярный боевик конца пятидесятых «ЧП», где художественно изолгались подлинные события захвата в тайваньских территориальных водах нашего танкера, не сходил с экранов. А главный отрицательный персонаж — толстый полковник их ГБ Фан был известен больше самого генералиссимуса Чан Кайши.

Поэтому мой сокурсник и ближайший наперсник Яка по портвейну упитанный Дима Фаненков-Пупков, от роду стеснявшийся своей вдвойне дурацкой фамилии, был так несказанно рад безболезненному обрезанию в Фана, что даже после смены, по смерти отца, паспортных данных на материну дворянскую фамилию Воронцов остался для всех именно Фаном.

Длинный Як пил с младенчества — в традициях нищей советской деревни. Короткий Фан, начитавшийся в городе Рема и Хема, — с ранней юности. Когда выпивохи сошлись, первопричины не имели уже никакого значения. Ко всему прочему оба были круглосуточными копеечными преферансистами класса «Б».

Однажды, фланируя в подпитии по саратовскому Бродвею приятным майским вечером, разновысокая парочка налетела на неприятность в виде бравых блюстителей общественного порядка — добровольных народных дружинников во главе с сопливым юношей поганого комсомольского вида.

Усмотрев в наших Пате и Паташоне легких клиентов для отчетности, поганый юноша с криком «Стоять!» схватил Володьку за рукав. Пружина яковых сухожилий мгновенно распрямилась, лишив начальника отряда двух передних зубов. И, расстроенный своей неадекватностью, Як при полном непротивлении насилию

был препровожден в милицию.

Правонарушитель помнил, что у него есть серьезные обязательства на завтра, и был этим весьма огорчен. Этими обязательствами было выступление на суде свидетелем по делу о краже моего портфеля.

А дело было так. Я уже два года вел жизнь свободного художника, так как квартиры был лишен решением другого суда, а в общежитии меня законно не прописывали как местного жителя. Поэтому я носил большой польский кожаный портфель за двадцать рублей, в котором у меня было все: плащ «болонья» на случай дождя, свитер вигоневый на случай холода, домашние тапочки на случай ночевки у интеллигентных людей, а также всякая мелочь — сигареты, пара нераспечатанных колод карт, писчая бумага под пульку, заточенные карандаши и ваковские презервативы по четыре копейки упаковка. В день происшествия ко всему прочему добавилось три отпечатанных на машинке «Ундервуд» экземпляра моего диплома, к защите которого я был всегда готов.

Встретив на улице безденежного Яка, я зашел с ним в заплеванное кафе «Огонек», бывшее «Автомат» разливанного вина, попить пивка и покушать. Тяжелый портфель я сдал гардеробщику без номерка по причине отсутствия в заведении других клиентов. Каково же было мое удивление, когда по выходе наглый стражник заявил, что никто и никакого портфеля ему не сдавал, а если сдавал, то где номерок?

Я обратился к заведующему — толстому еврею с троцкистской фамилией Бронштейн, указав ему на неправильность кадровой политики — брать в гардеробщики клептомана.

— Ты брал номерок? — уточнил троцкист.

— Нет, — ответил я, объясняя смягчающие обстоятельства.

— Ну и иди на хуй! — попытался в доходчивой форме завершить инцидент трактирщик.

— Тогда я подам иск на ваше кафе в народный суд!

— Слушай, пацан, ты мне нравишься, — восхитился корчмарь. — Если ты суд выиграешь, накрою стол на троих: на тебя, твоего дружка костлявого и на меня. Отпразднуем победу юных пионеров над общепитом. Валите отсюда подобру, я слово держу!

Моя заинтересованность удвоилась, и я составил гражданский иск, в котором убавил содержание портфеля на карты и презервативы, добавив кое-что из носильного белья и кошелька с повышенной стипендией. Всего на сумму двести рублей с копейками. Независимая торговая экспертиза убавила

сумму иска на двадцать пять процентов за счет износа, походя определив износ моей стипендии в десять рублей. Я не стал спорить, боясь более существенных разоблачений.

Без единственного свидетеля обвинения процесс я проигрывал. Потому, купив авоську жигулевского пива, отправился в КПЗ. Там за ее содержимое и под честное комсомольское слово я забрал расконвоированного Яка до конца вертухайской смены.

На суде я произнес пламенную речь в защиту бездомных студентов от зажравшихся на усушке и утруске торгашей, указывая пальцем на надбрючную часть солидного Бронштейна. Общественный защитник, староста нашей группы, подтвердил, что я отличник учебы и активный участник художественной самодеятельности. Як начал свое процессуальное выступление со слов:

— Граждане судьи! По закону и совести я уже опаздываю в одно присутственное место, поэтому позвольте мне быть кратким. Я родом из деревни, и у нас таких толстых жидов батогами бьют. Сволочь, отдай деньги!

— Что вы, товарищ Яковлев, подразумеваете под словом «жиды»? — уточнил судья.

— Вот таких как Бронштейн, а не по национальности, — исправил ксенофобскую двусмысленность торопливый свидетель обвинения.

После чего Як удалился под стражу, а суд — на совещание. В результате соломонова решения народного суда треть вины была возложена на меня за халатность, а две трети — на кафе за распиздяйство. Что с учетом завышенного иска полностью компенсировало мои физические и моральные потери. Честный трактирщик сам подошел ко мне и проворчал:

— Ну, пацан, ты и даешь! По закону двух третей накрываю стол на двоих, а третий пусть мне под руку лучше не попадается — на дух не переношу деревенских антисемитов!

Як вернулся ровно через два года, полученных им за злостное хулиганство. Злостность заключалась в том, что шепелявый терпила оказался практикантом-стажером областной прокуратуры, а уже при такой слабовыраженной государственной должности по двести шестой статье, часть вторая, давали год за зуб. Выбил бы он челюсть облпрокурору, запломбировали бы его наши судодеры годков на пятнадцать!

Сидел Як тяжело, проведя в силу взрывного характера весь срок, от звонка до звонка, в карцере и БУРе. Вернулся злым с неизбывной ненавистью к ментам, которыми считал всех, кто состоял на госслужбе. В чем намного опередил мои наивные

представления о родном общественном строе.

Работать на этот антисоциальный уклад он не хотел и через пару лет был в очередной раз посажен, теперь всего на пятнадцать суток за принципиальное тунеядство, и отправлен на Саратовскую картонажную фабрику разбирать макулатуру. Вместе с ним тянул срок и закадычный подельник Фан. Работа была ночной и несложной. Первый эпитет обеспечивал сокамерников с одиннадцати утра и до семи вечера свободой наслаждаться разрешенной партией и правительством продажей спиртного. А второй — возможностью выполнить облегченную тунеядскую норму к наступлению темноты, в которой при свете карбидного вахтенного фонаря приятно было «срубить гусарика» (преферанс с болваном) под пиво с воблой.

Но однажды меня разбудил телефон в пять утра.

— Манолис! Мы с Фаном едем к тебе за интенсивной терапией. У тебя есть? Открывай!

Моя картежная кличка «Манолис» не была взята с потолка. Как один человек, весь советский народ встал на защиту Манолиса Глезоса, греческого коммуниста, посаженного на родине за шпионаж в пользу СССР. Борьбу за освобождение однофамильца в конце концов мы выиграли по очкам, грозя из-за железного занавеса всем империалистам, включая греческих, водородной бомбой. Но помню я весь этот никчемный политпросвет только из-за своего красивого прозвища в честь далекого, но близкого грека.

Свежепьяненькие макулатурщики ввалились ко мне со слезами на опухших глазах.

— Манолис, — прорыдал Як, — смотри, что мы нашли в куче дерьма!

И протягивает мне полную подшивку ленинской газеты «Искра». О чудо, раритет был подлинным! Я стал судорожно перелистывать реликтовую партийную литературу о партийной жизни на предмет поедания мышами. И уже придумал три варианта ее сбыта за вознаграждение, как рыдающий Як вырвал из самой середины заложенную бубновым валетом страницу:

— Вот, читай! Здесь, заметки с мест, «Случай в Воронежском централе». Нет! Я сам прочитаю! «Узники тюрьмы, эсеры и эсдеки, возмущенные бестактным поведением ее начальника ротмистра Н., не снимавшего фуражку при входе в камеру, объявили бессрочную голодовку протеста. Через три дня последовало распоряжение начальника Департамента наказаний: так как тюремная камера является для уголовных и политических жилым помещением, каждый входящий в него обязан снимать головной убор и калоши».

Темные очи алконавтов пролились несвежими ручьями.

— Манолис, кореш! Какую Россию нам потеряли!

Мы разлили по стаканам бутылку перцовки и выпили на троих не чокаясь.

Як умер на свободе от не залеченного алкоголем туберкулеза, подхваченного в тюрьме.

Фан женился на буфетчице с двумя детьми и никаких проблем в жизни сорок пять лет не имеет.

Подшивку «Искры» с подклеенной страницей я обменял без квитанции у директора букинистического магазина горбатого шестидесятника Ю. Л. Болдырева на полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина в двадцати томах (М., 1933–1941).

С умилением окунувшись в ту Россию, которую нам *не потеряли.*

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль да зной, не комары да мухи, да летние трудовые семестры, воспетые в радостных комсомольских песнях типа «Яростный строй гитар, яростный стройотряд».

И хотя в ярости подступающей старости нет ничего ярче возвышающего обмана ушедшей молодости, миф о Карфагене должен быть разрушен!

Комсомольско-молодежный отряд непринудительного труда в честь трудолюбивого инсекта назывался «Муравей», и самодеятельная песня о нем несколько приземляла высокий штиль:

Роет землю муравей,

Жарит жопу суховей,

Командир в штабной тиши

С начфином делит барыши.

Бум с БАМом и блядство братских ГЭС были для нас далекой романтикой, и на первом курсе университета мы еще не знали подробностей. Нам хотелось дружить и быть вместе: мы уже поделились на разнополые пары и любили друг друга! Трех времен года на это явно не хватало. Ждали лета, веря в сказочные заработки бойцов стройотрядов. Самых крепких ребят нашей группы записали на курсы комбайнеров. И через две недели занятий мы получили удостоверения в соответствии с проявленным интеллектом. Мне вручили красный диплом «Помощник комбайнера».

К месту своего назначения мы ехали вместе с другими романтиками целым поездом с цветами, гитарами, маминими пирожками и солидным запасом запрещенного спиртного. За сутки путешествия я коренным образом переосмыслил цель. И, выбросив в придорожную канаву сертификат помкомбайнерского качества, сошел с поезда тайным бойцом отряда «Муравей», в списках которого не значился. Но в них была любимая девушка, не расставаться с которой на всю оставшуюся жизнь я окончательно решил в эту душную железнодорожную ночь.

Нас разместили в детских яслях. Поясняю — в *детских* яслях!

То есть кроваток больше метра в длину в спальных покоях и не предполагалось. Да что кроватки! Покушай — покакай. Но приспособление для второй части круговорота еды в природе в младенческом учреждении являло собой широкую доску с двухдюймовыми отверстиями в соответствии с техникой безопасности подрастающего поколения. Попасть в них без промаха могла только жопа имени Вильгельма Телля. Таких волшебных стрелков в стройотряде не было, и сортирные дыры вскоре наглухо покрылись несмываемым позором. К счастью, первая часть кругооборота и не предполагала второй — еда нам изначально просто не выдавалась, что привело к дилемме — как выработать вторичный продукт при отсутствии первичного?

Рыба, на ловлю которой в местной речке мы наивно рассчитывали, там не водилась по причине ее полного удушения коровьим навозом с находившейся вверх по течению говна животноводческой фермы. Яровые еще не поспели, и с голодухи даже поднимался вопрос о поедании «подкопеночков» — пойманных в стогах прошлогодней соломы жирных полевых мышей, запеченных без хвостов на углях в собственном соку, известных старшим товарищам как рядовое блюдо послевоенной деревни. Однако юные девицы начали так визжать от одного этого предложения, что и нам, мужикам, оно не понравилось. Решили писать письмо на деревню дедушке-командиру, мол, Христом Богом тебя молим, возьми ты нас отседа!

Однако дедушку — командира отряда мы не только до письма, но и после, и никогда вообще в лицо не видели и Ф. И. О. не ведали. Работы, за которую полагались басенные деньги, — тоже. Единственно, с кем нас можно было сравнить, так это с американским спецназовцем, заброшенным в пустыню с тремя спичками и универсальной отмычкой в жилетном кармане.

И что у вас, ребята, в рюкзаках? И что же за отмычечка в заначке? Водочка — эдакая фомочка для загадочной русской души.

Этим ключиком местный алкаш по кличке Буратино открыл для нас чудесный вид на неохраняемое стойбище пекинских уток, которые у аборигенов в пищу не шли по причине устойчивого несварения желудка от однообразия пайка. Коллаборационист сдал и сорок способов безоружной охоты на этих крякуш. Самым эффективным было внезапное падение в стадо и умыкание нерасторопных птичек, придавленных телом охотника. Так в нашем меню появились первые и вторые блюда. Жизнь постепенно стала налаживаться.

Но деньги? Те самые, которые в мечтах юных придурков уже были предназначены на покупку джинсов, плащей «болонья»,

магнитофонов «Днепр-9» с двумя дорожками и платочка маме — где их взять? Другим умом, кроме криминального, решить проблему было невозможно.

Утилизация! Вот было наше решение. И оно было принято на общем собрании единогласно. Так как я пребывал в отряде на таких же птичьих правах, как пекинские утки, мне было поручено ответственное задание — готовить последних к вареву и жареву. А именно, ощипывать на чердаке студенческих ясель невинно убиенных, складируя их пушистый покров в выданные нам для спанья наматрасники, которые в детские кроватки все равно не лезли и высокой стопкой ждали достойного применения в сенях.

Во саду ли, в огороде

Поймали пекинца.

Ощипали пух да перья —

Будет на перинцу!

По предварительной калькуляции, исходя из базарной (ныне рыночной) стоимости, подушка из утиного пуха тянула на о-го-го, а перина — аж на о-го-го в квадрате! Утиная охота, таким образом, выводила нас на светлый путь сытой жизни. И я стал жить и работать в подполье, то есть на чердаке, делая свой первый бизнес на крови. Сначала приванивало, потом привык — деньги не пахнут! Но сказку убивают былью.

Пока я без респиратора выполнял ответственное и секретное от руководства колхоза задание, объевшиеся утятиной коллеги стали обращать свои сытые взоры на гусиное стадо повышенной калорийности управляющего отделением — местного латифундиста по этнообразующему имени — Иван Иваныч Иванов! Он был невероятно толст и свежепьян, мы были худы и чаще трезвы, поэтому такой Иван-царевич, конечно же, был нашим классовым врагом!

Гусей его никто не пас. Во-первых, туземцы были в курсе их презумпции. А во-вторых, вожак стада, осознавший свою номенклатурную принадлежность, шипел, а потом больно щипал даже бездомных собак, гармонично дополнявших облезлое местное население.

Мясистого вожака повязали наши отчаянные герои. Взяли тихо, скрутив его гордую башку в обеденное время, когда колхозники в едином порыве были пьяны вусмерть. Праздник освобождения от труда имени Веры Засулич был назначен на

следующую вальпургиеву ночь после покушения. Для этого в близпьющий город, названный в честь первого справедливо казненного эсера Пугачева, был отправлен десант во главе с коллегой разбойного вида Бобом Избалыковым, который производил впечатление вооруженного холодным оружием даже в бане. Свое природное злодейство Избалыков доказал в первые голодные дни.

В поисках пищи они с коллегой Скибиным подрядились в качестве «дипломированных ветеринаров» делать на колхозной ферме прививки телятям от моровой сибирской язвы. Первопричиной этой гуманитарной миссии было молоко отчужденных от деток коров, которое в виде обрата два бойца получали по бартеру. Огромный шприц дрожал в руке медбрата, когда баран Скибин не удержал теленка. С тех пор до самой смерти талантливый инженер и всеобщий любимец Сережа Скибин никогда не болел этой страшной болезнью.

К вечеру ходоки в обмен на пух и перья обеспечили тылы неподъемным фанерным чемоданом перцовки — крепкого алкогольного напитка, дешевле которого райпотребсоюз не продавал.

На маевку выезжали затемно, арендовав, не спросясь, припаркованную к яслям облезлую полуторку, которая заводилась железным крючком вне системы зажигания. Протарахтели в ночи по бездорожью к первому водоему, встали на заслуженный отдых и разожгли пионерский костер как для освещения, так и для приготовления ритуального блюда.

Покойного расчленили на мелкие части, бросили их в зачерпнутое из болотца, коим оказался водоем, ведро водицы и приступили к трапезе. Выпив полчемодана перцовки, начали закусывать содержимым ведерка. Варево оказалось с сюрпризом: каждый третий окорочок был не гусячьим, а лягушачьим, не сразу опознанным неискушенными во французской кухне гурманами. Не в меру брезгливым, до тошноты, девицам в качестве антидота была предложена все та же перцовка, известная в народе как универсальное средство от кашля, сглаза и поноса.

С песнями про яростный стройотряд мы под утро вернулись на место дислокации. Там нас уже ждал страдающий и жаждущий мести хозяин обезвожденного гусиного стада — латифундист Иванов в компании с участковым милиционером, в нетрезвом, как всегда, виде вершившим сельское правосудие. Сначала для протокола нас пересчитали по бумажке.

Оказалось, что не только двойной, но и тройной пересчет давал в результате одного лишнего! А им был внесписочный я! Принимать решение во вражеском окружении было под силу

лишь опытным бойцам. Отслужившие в армии ветераны-сокурсники загородили амбразуру своими телами и выпустили меня огородами в чисто поле, из которого открывался безальтернативный путь — на вокзал.

Стою, оплеванный, в заплеванном вагоне и вдруг вижу: загружают в поезд синего комбайнера Ципоруху, моего коллегу по одноименным курсам! В одной руке бутылка, в другой свежевыстроганный самопальный костыль. Что такое?

Интервью было кратким. Местный шофер, на автопилоте доставлявший героев-комбайнеров на ежедневные деревенские посиделки, в пыли и сумерках залетел в такую колдобину, что еле стоявший в кузове боец стройотряда вылетел из кабриолета на двадцать метров вбок; при этом он умственно не пострадал, но на глазах уцелевших коллег посинел до неузнаваемости. Пьяный местный фельдшер мог диагностировать только радужный переход спектра носа и выписал сизому чуду-юду направление в областную больницу на рентген кожи для научного объяснения феномена. Куда и следовал с неразлучной бутылкой мой попутчик.

Вот как чудно и счастливо для двух уродов, духовного и физического, закончилась их бескорыстная комсомольская трудоэпопея:

И мы едем, и мы едем

из дурмана

от обмана,

что он с запахом тайги!

КЛАССОВЫЙ НЮХ

Мои представления об итогах Великой Отечественной войны уже в юности несколько отличались от официальных. Связано это было и с началом разоблачительных шестидесятых, и с прочтением новой военной прозы, но главное, с хулиганской вольницей студентов одного из старейших российских университетов, на военной кафедре которого они, то есть мы, проводили лучшие дни нашей жизни.

Эта кафедра, якобы с отрывом от действительной службы, «готовила» офицеров, военная специальность которых на бумаге совпадала с гражданской на факультете. Занятия на военной кафедре шли раз в неделю полный учебный день, и этот «день победы» мы ожидали как могли!

Если официальные дни смеха проходили на первое апреля, то у нас, как вы уже догадались, они бывали по расписанию через каждые семь дней, за исключением каникул. Комичность ситуации определялась, в частности, составом участников. Обучающая сторона целиком состояла из старших офицеров, прошедших двадцать лет назад войну и дослуживавших на синекуре свой срок до пенсии. Это были далеко не старые, здоровые мужики лет по сорок пять, получающие ни за что ни про что большие по тем временам полковничьи деньги и дорожившие своим местом под солнцем. Потому-то и шедшие, при всей своей внешней суровости (боевые офицеры, черт возьми!) на серьезные (и курьезные) компромиссы с нами, прыщавыми поганцами, вкусившими не только ароматы студенческих попоек, но и миазмы отходящей хрущевской оттепели. Но были среди гарнизона и типы.

Например, вальяжный штабист полковник Топтыгин, который при своей барской внешности не попал в генералы только по причине всеобщей начальной грамотности гражданского и военного населения. Бессмертное произведение проходимого в начальной школе великого русского поэта Некрасова так и называлось — «Генерал Топтыгин». И при всенародной любви к Красной Армии подобной насмешки нельзя было допустить! От посторонних штатских позорящую анкетную данную он тщательно скрывал и называл себя намного благозвучней — Толпыгин.

Видимо, из-за этого комплекса фамильной неполноценности карьеры полковник Топтыгин любую фамилию, кроме Иванов-Петров-Сидоров, коверкал с садистским сладострастием.

Я был для него «Бляйзером».

— Не Бляйзер, а Гляйзер! — поправлял его я, а мой верный товарищ по антивоенной партии и борьбе за мир Ёся Ставский упорно поправлял меня.

— Не Гляйзер, а Глейзер!

— Учиться надо, Ёся, по уставу, шаг за шагом, от звездочки до звезды. Тогда каждый полковник сможет с годами выучиться на генерала! — в свою очередь поправлял я Ёсю под тихий восторг коллег-охламонов и без какой-либо видимой реакции со стороны самовлюбленного полковника Топтыгина.

Но однажды в коридоре я спросил полковника без свидетелей:

— Товарищ полковник, а зачем, собственно говоря, вы это делаете?

— У меня на вашего брата, Бляйзер, классовый нюх!

Ах, даже не чутье, а нюх! Разозлился я за себя и за брата — русоголового, голубоглазого и горбоносого умника, несколькими годами раньше исключенного из университета за ничтожную провинность. Судите сами. Подделав экзаменационный лист, братишка бескорыстно сдавал вступительный экзамен в Политехнический институт за слабо подготовленного друга, ответил на все вопросы отлично, но по двум причинам был заподозрен в подлоге и разоблачен. Первую причину я уже назвал: отличные знания. Вторая носила этнический характер: несмотря на русоголовость, брат был ярко выраженным евреем. А хозяина экзаменационного листа звали Срым-батыр Джумангалиев, и был он казахом из старшего жуса!

Я был уже не сталинистом, но еще ленинцем и за старшего брата готов был идти другим путем. Потому и приступил к разработке достойного плана коварной кровной мести.

Надо сказать, что питались мы в столовке там же, на военной кафедре, дешево и обильно малыми порциями супа и второго с большим количеством жигулевского пива (двадцать пять копеек без стоимости бутылки). На столах стояли полные миски бесплатного черного макухового хлеба. Щербатые куски макухи заносили в голодное студенческое пузо невероятное количество ядовитых газов, избавление от которых приносило стыдливую радость.

Перед занятием по тактике Топтыгин вызвал дежурного, и тот принес целый мешок противогазов, видимо, для дальнейшего изучения.

Я понял: настал мой час! И побежал в столовку. Там я на скорую руку зарядил живот вышеупомянутым химическим боеприпасом (пиво + макуха) и еле успел встать в строй до прихода противника.

После получасовой стратегической лекции обзорного характера полковник Топтыгин перешел к тактическому использованию средств химзащиты.

— Газы! Одеть противогазы! — зычно скомандовал он.

Не знаю, как остальные, но я был уже в полуобморочном состоянии от тактики сдерживания и пошел в газовую атаку, как немцы на Ипре — безжалостно и безбожно. Все наши спаслись штатным противо-оружием. Но беспечный классовый враг, грубо нарушивший устав строевой и гарнизонной службы и не надевший по барскому высокомерию спасительную маску, был повержен первым же залпом.

— Кто это сделал, сволочи?! — возопил он.

Примененное БОВ (боевое отравляющее вещество) было образцом воздушно-дыхательного поражения, но рота не шелохнулась. Недаром наш противогаз — лучший в мире!

— Кто это сделал, сволочи? — заорал Топтыгин под второй залп. И начал бессмысленный бег перед строем, заглядывая через стеклышки масок в молодые веселые глаза будущих разведчиков наземной артиллерии. Эти глаза напротив были бесстыжими по определению и не сдали военному дознавателю местонахождение идейно близкого диверсанта. От позорной смерти путем удушения избавил жертву звонок с урока.

— Он же спасал Европу от фашизма! — укорил меня сентиментальный Ёся.

— Европу, может, он и спас, но не родину, — назидательно и нудно перешел я к морали басни. — А по их вечно живому пророку Лукичу, антисемитизм есть разновидность фашизма! Ни в родине, ни в себе он этот фашизм не победил. Тебе, монгольскому поляку (Ёсю угораздило родиться в Улан-Баторе), этого не понять: еще Польска не сгинела, хоть и умер Чойбалсан! А Топтыгин уже хуйвоюет вместе с Героем Советского Союза нацистом Насером против англо-франко-израильских агрессоров. То есть против двух своих бывших союзников и меня лично. Вот почему я, не жалея живота своего, и вступил в неравный бой Давидовича с Голиафычем, и выиграл его у перебежчика! А воспользуйся он внеклассовым природным дозиметром — собственным красным носом, — да не поленился бы пройти строй сзади, а не спереди, обязательно разоблачил бы солдатскую жопу, из которой и веяли вихри враждебные. Кстати, Ёся, а ты знаешь принципиальную разницу между полковником и студентом? Нет? Запоминай: у полковника на плечах погоны, а у студента — голова!

НАХОДКА В НАХОДКЕ

Слава Логинов вовсе не страдал систематическими запоями. Он весело в них входил, творчески в них находился и радостно из них выходил.

Слава славно работал художественным руководителем студенческого клуба культуры на вольных хлебах, подрабатывая по родной специальности журналистикой, и профессионально комиковал на самодеятельной сцене, будучи от природы одаренным и в этом жанре всеми атрибутами: голосом, пластикой и удивительно живым некрасивым лицом. Слава шикарно одевался и в трезвом виде с блеском разыгрывал из себя джентльмена, производя на провинциальных клубных девушек-студенток неизгладимое впечатление с далеко идущими последствиями.

Обещав девушке Геле пойти с ней в загс, Слава по пути зашел в запой, вернувшись из него через непродолжительное время. Взяв меня свидетелем отложенного бракосочетания, он явился к невесте. Там Слава с крокодиловыми слезами на небеспричинно опухшей роже попросил извинения за столь неожиданную для обоих задержку гражданского акта, что, конечно, не должно помешать врачующимся остаться, как минимум, товарищами. На что Геля, за это время променявшая девичью честь на девичью гордость, сказала:

— Гусь свинье не товарищ!

Слава ради красного словца легко жертвовал не только родителями, но и невестами, и в мгновение разрушил не первую любовь окончательно и бесповоротно.

— Вот я, Вова, и в гуси попал, — сказал он, радуясь только что случившейся шутке.

Все систематическое переходит в стереотип. Так было и со Славиными запоями: он уходил в них джентльменом, а возвращался всегда в униформе низшего сословия, состоявшей из синей майки, солдатских галифе и домашних тапочек. В любое время года!

Запои происходили раз в квартал, длились по две недели, и Славу никто не искал. Кроме новых жен, которые по влюбленной наивности думали, что пил Слава из-за дурного характера жен предыдущих.

Сам процесс запоя Слава не помнил, но конечная стадия без денег, документов и одежды всегда была неповторима.

Например, Слава никогда не запивал в других городах — начало обязательно проходило в родном Саратове. А конечная

станция — любая.

Однажды Слава начал выходить из запоя на Павелецком вокзале Москвы, вздремнул от томления духа и тела и был разбужен милицейским нарядом прямо на платформе. Покорясь судьбе, Слава в униформе прошагал в привокзальный участок и начал давать чистосердечные показания дознавателю. После ответов на вопросы о фамилии, имени, отчестве, годе рождения и национальности наступила кульминация. На вопрос, где живешь, Слава честно ответил:

— В Саратове.

— Где в Саратове? — уточнил милиционер. «Зачем этому москвичу нужны подробности? Ну, Бог с ним», — подумал Слава и сказал:

— Да там, в Агафоновке!

— Адрес! — рявкнул дознаватель.

— Да зачем он тебе, без документов ведь не проверишь, — честно предупредил Слава.

— Еще как проверишь, — разозлился милиционер. — Сейчас сам покажешь!

И потащил Славу в патрульную машину «Что же я натворил, Боже ты мой! — ужаснулся Слава. — Действительно, на машине из Москвы — в Агафоновку, уж не убийство ли, мама родная!»

Ехали долго. В теплом уазике Слава заснул и проснулся только тогда, когда растолкавший его милиционер спросил, показывая в окно на родной агафоновский ландшафт:

— Где твой дом-то, алкаш?

— Вот этот. Квартира номер семь, — упавшим голосом промямлил Слава.

— Ну, жди, проверю, — сказал конвоир и через пять минут вышел из дому со Славиной мамой. Опытная мама, видимо, все объяснила милиционеру, оплатила ему транспортные услуги и как ни в чем не бывало отвела сыночка под белы рученьки домой.

— Мама, — давясь горячими щами, спросил вольноотпущенник, — сколько же ты им заплатила?

— Десять рублей, балбес! — зло сказала мама.

— Из Москвы — за червонец?!

— От нашего вокзала, сволочь!

— Да я же пил последний раз на Павелецком!

— А потом лег в тамбур саратовского поезда, откуда тебя на конечной остановке и сняли! Хорошо, что жив остался, мерзавец.

Да, но я что-то отвлекся. Сидим мы в клубе. Зима. Вечеряем под пузырек. Слава уже дней десять как пропал. Вдруг приносят телеграмму:

«ПОДТВЕРДИТЕ ЛИЧНОСТЬ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОНИКШЕГО

ПОГРАНЗОНУ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ТЧК ОДЕТ СИНЮЮ МАЙКУ ГАЛИФЕ ТАПОЧКИ ВЫДАЕТ ЗА РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ ЛОГИНОВА СТАНИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА ТЧК НАЧАЛЬНК ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ ПОРТА НАХОДКА МАЙОР ТУРЛУПОВ».

ДЖЕМ-СЕШН

В легендах о великих и ужасных шестидесятниках фигурантами являются ночь, кухня, сухое вино, дешевые сигареты, бородатые дворники, начитанные собственными рукописями, и влюбленные в них субтильные инженерши. Масштаб явления несколько преувеличен. В наших компаниях день не отличался от ночи, пили только водку и курили дорогие болгарские сигареты «Родопи» с фильтром. Мы были молодыми учеными, и у нас, кроме кухонь, был свой ночной клуб! Его организовал (и до сих пор вот уже пятьдесят лет им руководит) однорукий студент-историк Марк Пинхасик. Днем это был клуб студенческой самодеятельности, а ночью — настоящий «club». С деленьем на полы и с выпивкой из-под полы. Организаторские таланты Марка в оковах руководящей и направляющей роли коммунистической партии были столь невероятны, что по молодости беспощадные шутники говорили: «Да у него рука в обкоме!»

Пинхасик олицетворял собой жесткий авторитарный стиль руководства и пил кровь из трудового народа, продавая левые билеты на официальные мероприятия студенческой художественной самодеятельности. В качестве гонораров артистам он с зачетками хвостатых самородков ходил к их преподавателям, вымогая экзамены и зачеты по линии альма-матерного патриотизма. Я боролся с ним как мог. Но чаще не мог, чем мог. Договорившись с работодателем о написании сценария новогоднего капустника за двести целковых, обещанных денег я не получил. Но имея двухкратный перевес в живой силе, я, как джентльмен, не вызвал жмота на кулачный бой, а поразил его словом, распространив десяток машинописных копий подметного стишка следующего содержания:

Клуб превратился в змеиный клубок,

Спрятавший лик под монаший клобук,

В чудище с четным количеством ног

И нечетным количеством рук.

Однажды, выпивая в полуночное время в компании наиболее устойчивых единомышленников, я был отвлечен от

бессмысленной и беспощадной критики убогих членов политбюро телефонным звонком.

— Через полчаса — в клубе! Джем-сешн, — неожиданно перешел на английский Пинхасик и положил трубку.

Реноме абонента было непререкаемо, и, второпях выпив на посошок с не приглашенными собутыльниками под модный тогда прощальный тост «Если не вернусь, считайте меня коммунистом, а если нет — так нет!», я, слегка покачиваясь, шагнул в неизвестное.

Наиболее неизвестным для меня был сам джем-сешн, а временно неизвестным оказался лошадино-профильный гражданин, сладко посапывавший по соседству.

Тем, кто хорошо помнит покраску забора Томом Сойером, не нужно объяснять суть джем-сешн: один музыкант начинает играть, а остальные в очередь перехватывают у него инструмент, делая то же самое, но как бы по-своему. Так как мне, как музыкально малосведущему, показалось, что «того же самого» было больше, чем «по-своему», я взгрустнул о безвременно покинутых товарищах и оглянулся в поисках нового друга. И он нашелся!

Вышеописанный сосед, не просыпаясь, так смачно икнул перегаром, что без тени сомнения в будущем я растолкал его и спросил:

— Мужик, ты вмазать не хочешь?

— Нихт ферштейн, — промычал потенциальный собутыльник, не открывая глаз.

— Не валяй дурака, — пожурил его я.

— Нихт ферштейн, — повторила разбуженная лошадиная голова столь естественно, что я своим стремительным умом, так же как и вы сейчас, понял, что передо мной настоящий немецкоязычный немец, ну, в крайнем случае, австриец, и ни на градус восточнее! Но это уже стремительные додумки моим задним умом, а тогда…

А тогда мне стало страшно: на карнавале, то есть на джем-сешн, под сенью ночи мне прошептали: чего ты хочешь? Чего-чего? Да как мне найти общий язык с немецкоязычным собутыльником, когда мой общий язык — русский и английский со словарем? Нет большего греха, чем отчаяние! Впрочем, за мной, кроме застольного пьянства, грехов не числилось, а нечаянно обнаружилась благородная и интернациональная в духе времени цель: сделать что-то очень хорошее похмельному сыну бывшего непримиримого врага! Кроме того, я получил воспитание не хуже миллионов своих сверстников, просмотрев не менее ста раз бессмертное кинопроизведение Фаддея Герасимова

«Молодая гвардия». Для поколения NEXT даю краткое содержание двух полуторачасовых серий.

Немецко-фашистские оккупанты захватили райцентр Краснодон Ворошиловградской области, переименовали ее впервые до 1991 года в Луганскую и стали бесчинствовать. Подростки и комсомольцы стали им мстить: повесили соседа-полицая, подожгли биржу труда и украли у оккупантов новогодние подарки. По последнему эпизоду они были пойманы, подвергнуты жестоким пыткам и выборочно казнены. Эту трагедию переиначили в героический эпос, близкий и понятный простому советскому человеку. Для этого, в частности, наши говорили по-русски, а немцы по-немецки так, что любой непросвещенный зритель понимал обе стороны одинаково хорошо.

Как не понять с пятого просмотра, что «матка, курка, яйки» означает «бабка, гони курицу и яйца», да и все остальное ясно из контекста!

Но перейдем от догмы к руководству действием.

— Аусвайс! — голосом луганского полицая заорал я в ухо иностранцу и незамедлительно получил в руки огромный по сравнению с отечественным аналогом документ, из которого следовало, что передо мной гражданин Дойче бундес республик Клаус Литке. Вот так поворот! Глубокой ночью в засекреченном даже от болгар Саратове сладко спит на джем-сешн дойче-фээргешн? Такого сергей-фадеев соцреализм не предполагал, но наметки к общению в нем были.

— Тринкен шнапс, майн либен Клаус? — вкрадчиво спросил я.

— Яволь, — поддержал беседу дойче камерад.

Основание для ее продолжения лежало у меня в кармане пиджака — русиш аусвайс! — початая на посошок бутылка водки, взятая мною отнюдь не случайно, а по заведенной в клубе традиции.

— Прозит! — торжественно произнес я и ополовинил остаток.

— Прозит! — с чувством ответил Клаус и сделал джем-сешн, то есть по примеру саксофонистов засосал мундштук, не протирая.

Нам стало тепло, но еще не весело, и я разрядил напряжение доступной шуткой на политическую тему. Надо сказать, что разделенными частями Германии руководили тогда два тезки: западной — Вилли Брандт, а нашей — Вилли Штоф. Из вышеупомянутого самоучителя «брандт» означал «огонь» (эпизод поджога биржи), а «штоф» — бутылку спиртного (эпизоды совместных пьянок фашистов и полицаев). Я посмотрел загадочно

на бундес-патриота и спросил:

— Брандт — гут или Штоф — гут?

— Брандт! — попался в ловушку Клаус.

— Нихт, штоф! — вскричал я, тыча в друга опорожненной отгадкой.

Ах, как славно мы провели джем-сешн, отоварившись взаймы у Пинхасика какой-то недопитой бурдой! А какие тосты приходили мне на память из бессмертного кино:

— Ди дойче зольдатен дес фюрере нихт цап-царап! Партизанен пу-пу!

Или:

— Ахтунг, ахтунг, нихт шиссен, русиш водка убер аллес!

Камрад был в исступлении. Уходили мы в обнимку, вопя на ночных улицах песню из бессмертного источника:

Вольга, Вольга, муттер Вольга,

Вольга, Вольга, дойчланд флюс!

И только в пункте охраны общественного порядка я узнал, кто такой Клаус, который моментально был сдан милиционерами упустившему объект хвосту из КГБ, под недремлющим оком которого герр Литке руководил строительством супермаркета «Океан». А попал он на джем-сешн, затерявшись в толпе латышских джазменов, пьянствовавших в ресторане за соседним столом с Клаусом и так лошадино похожих на него внешне, что замаскированные под алкашей чекисты и не заметили их совместного ухода.

Утром, в половине первого дня, Клаус позвонил мне по заранее намеченной программе.

— Гутен морген, Володя… — только и произнес он. И мой телефон замолчал на неделю. Думаю, что это — нелепая случайность.

ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК

Мы победили в КВН! В прямом эфире университет положил на обе лопатки соперников из политеха и мединститута. Гром победы раздавался, а вместе с ним директор клуба Пинхасик проливал золотые дожди. Себе и социально близким — материальные, а социально недалеким — моральные. В частности, в плановую поездку самодеятельности в г. Томск неожиданно были отправлены за счет университета члены этой самой команды КВН — веселые, находчивые и бедные больше, чем студенты, молодые преподаватели и аспиранты, целиком составлявшие команду-победительницу.

Набор в нее был специфическим.

Когда меня, беспартийного инженера, вызвали в партком, я был удивлен: с самой массовой и руководящей организацией страны я успешно старался не иметь ничего общего.

— Глейзер! — весело сказал мне секретарь Юрий Петрович. — Настало время, когда твои дурацкие шуточки могут и должны послужить альме-матери. Объективно, конечно, твое остроумие в кавычках направлено не туда, поэтому о нем поступают сигналы туда. Партия в курсе, и я ставлю вопрос ребром: или ты записываешься в команду КВН автором и исполнителем, или мы тебя перед ними не защищаем. Ни как автора, ни как исполнителя!

Я тут же записался.

Перспектива попасть в Сибирь была и есть у каждого нашего соотечественника со времени возведения в ней первого острога. Съездить в Сибирь не по этапу, а почти за так, было научной фантастикой, и на приглашение Пинхасика расплатиться за мои труды неправедные на ниве шутовства бесплатной поездкой в далекий город Томск я согласился. Тем более компания подобралась неплохая: все нестуденты в той или иной мере были моими постоянными собутыльниками.

Первым этапом большого пути был поезд Саратов — Москва. По договоренности с блюстителями морального облика сорока студентов-делегатов, первый перегон мы прокиряли вместе с ними тайно и неинтенсивно, а по прибытии на пересылку в Москву разбились на тройки по интересам.

До посадки на поезд Москва — Новосибирск было три часа. И я, как знаток злачных мест столицы, с ближайшими друзьями — Витей Уманским, дородным еврейским красавцем, и Эдиком Стразде, безродным потомком латышских стрелков, отправился в огромный пивной бар на Зацепе. Там, бросив одежды на лишний

четвертый стул, мы заставили трапезное место разными пивами и начали их неуемно поглощать под собственную воблу, оставляя одного из нас смотрящим за шмотками, когда двое других отправлялись регулярно в сортир для подготовки к последующим возлияниям.

На минуту пропустив вперед себя Витю, я обнаружил в туалете возмутительную сцену. Какой-то неказистый мужичонка, уцепив интеллигентного Виктора Марковича за отвороты пиджака, шипел ему в лицо: «Еврей! Жидовская морда!» Я всегда был против расизма в любых, тем более, отвратительных формах. Поэтому я без лишних слов схватил мужичка за шиворот и засунул его мордой в писсуар, поддернув так, что физиономия застряла между бортиками. После чего с искренним возмущением пожурил Витю: мол, тебе говорят всякие гадости, а ты, здоровый боров, — ноль реакции!

На что невозмутимый красавец Витя сказал:

— Идиот, этот чекист — сам еврей и рассказывал мне, как его какие-то люди за это оскорбляли!

Ключевым словом в страшном признании моей излишней торопливости было «чекист», и я прошептал на ухо Уманскому:

— Вы меня не знаете, я убегаю, встретимся в поезде после отправления!

И, захватив пальто, ретировался из злополучной пивной.

После последнего гудка я вскочил в последний вагон, и был прав! Описсуаренный чекист не поверил в отсутствие преступной связи двоих выпивох с беглым третьим и сопровождал своих новых собутыльников Витю и Эдика до посадки, помахав им ручкой только после того, как убедился в отсутствии обидчика.

В Новосибирске наш вагон перецепили на ветку в Томск, и мы продолжили путешествие по долинам и по взгорьям. Стоял сорокаградусный мороз, и даже жарко натопленная вагонная печка не позволяла расслабиться в холодном туалете. Поезд был пассажирским и останавливался почти у каждого столба.

Кака Ильин (Кака — не оскорбление, а сокращение от Константина Кузьмича, тогдашнего аспиранта и будущего профессора химии), лучший артист клуба и КВН, пал первой жертвой незнаний и нарушений железнодорожных перевозок.

Я стоял возле сортира и курил в посталкогольном ознобе, когда состав в очередной раз остановился. Внезапно дверь туалета распахнулась, и с диким воплем на меня вывалился вышеупомянутый Кака. Его байковые штаны, фланелевые кальсоны и семейные трусы похабно топорщились ниже колен — Кака в некоем арзамасском ужасе явно скатился со стульчака, где сидел орлом. Я заглянул в место происшествия: укромный уголок

был весь в пару, а из очка мерными фаллическими движениями вверх и вниз двигался раскаленный докрасна железный лом!

Не охайте от изумления вы, привыкшие к насилию и сексу европейцы! Сибирская сантехника — самая гуманная в мире. Ведь пассажиров предупреждали: не ходите в туалет на остановке! Просто о способе прочистки заледеневшего унитаза не сообщили.

В чудном безветренном городе Томске стояли доусоновские морозы. У героев Джека Лондона их Фаренгейты уже, наверное бы, зашкалили: за окном было минус пятьдесят градусов по Цельсию! Местные жители производили впечатление эталонов трезвости: пьяных на улице не было вовсе, но туземцы, конечно же, были русскими людьми и просто отдавались национальному пороку в тепле, прецедентно зная, что мороз убьет их за считанные минуты.

Нас поместили в студенческое общежитие университета. Шла сессия, и каждый день кто-то из постояльцев сдавал очередной экзамен или зачет. Эксклюзивной традицией томского студенчества было отмечать это событие всем этажом, причем распивая исключительно местный напиток — казенный питьевой спирт, по градусам вдвое превышавший любой мороз. Нас гостеприимно приглашали, но лучше бы по усам текло, чем в рот попадало! Эффективность этого синего пойла была поразительной — этил побеждал метил, гражданская смерть наступала до ослепления!

Простой пример. Двухметровый бас шестидесятого размера Петя Иванов, не замеченный в незлоупотреблении спиртными напитками и хвативший по винно-водочной привычке целый стакан залпом, встал. Твердо прошел по коридору до венчающего его витража. Вышел сквозь двойной стеклопакет со второго этажа в промерзший до хрусталя сугроб. Как ни в чем не бывало поднялся по парадной лестнице к застолью. И с закрытыми глазами тяпнул без лишних слов второй стакан! Сказать о Пете, что он свалился под стол полумертвым, было бы полуправдой.

Кроме приезжих, пребывавших в шоке, этого сальто-мортале никто и не заметил.

А вот пример не простой, но музыкальный. Из кинофильма «Дело было в Пенькове». Солидный дядька — секретарь парткома Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева — после душевного исполнения комплиментарной для гостей песни

«Парней так много молодых

На улицах Саратова,

Парней так много холостых,

А я люблю женатого!» —

неожиданно замер, налил в бокал все того же спирта, молча выпил, еще больше задумался, заплакал и сказал обреченно:

— Пидарас я законченный! — И почему-то порвал сторублевую банкноту с изображением шушенского идола.

И опять ни его подчиненные по партии, ни находящиеся с ней в одном пищеблоке беспартийные не шелохнулись. В отличие от нас солнечная Колыма, близкая по расстоянию и духу для задубевших от стужи томичей, прямых потомков ссыльнопоселенцев не особенно пугала.

Мы отыграли все спектакли и концерты, провели ряд подотчетных встреч, включая прощальный банкет с мордобоем, отоварились через местком дружественного вуза по госцене пять рублей девяносто пять копеек за поллитра дефицитным питьевым спиртом и незаметно для себя вернулись домой. Почему незаметно? Спирт никто до дома не довез.

ДЕЛО — ТРУБА

Холодное лето 1968 года неумолимо наступило после солнечной «Пражской весны». Наша семья задешево, точнее, бесплатно снимала заброшенную дачу у соседей по коммунальной квартире Гали-Валеры Осокиных-Ломовцевых. Это не одна фамилия, а две, неразрывно связанные между собой культом личности: отца Гали, доцента пединститута Осокина, упек в лагеря на пятнадцать лет его сват, отец Валеры, опер НКВД — ОГПУ Ломовцев. Упек по идейным, а не меркантильным соображениям: оставшиеся Осокины шиковали, занимая с неупеченной родней весь второй этаж старинного купеческого особняка в центре города, принадлежавший и до, и после революции Галиному деду, знаменитому химику и единственному в Саратове члену-корреспонденту Академии наук, покойному профессору Челинцеву, Ломовцевы же как жили, так и продолжали жить в бывшей дворницкой. Так что палач до переезда по новому месту службы и жертва до посадки были классовыми врагами и старыми соседями. А дети, те, которые за отцов не ответчики, дружили. Так и жили.

По какому такому случаю бывшая библиотека ученого предка с двумя холодными подсобками в огромной полуразрушенной профессорской квартире достались чужаку — моему не шибко образованному тестю с дипломом заочной партийной школы, — я не знаю.

Обедали в тот раз мы всей семьей по-дачному поздно. За накрытым столом я, теща-венеролог, тещина мать-бабушка с гимназическим знанием французского языка, который в целях безопасности последние пятьдесят лет держала за зубами, жена с грудным ребенком и ее сводная сестра-девушка ждали папашу и отчима Михаила Ивановича. Я предвкушал обед, лежа с утра в гамаке меж антоновскими яблонями, так как на работу безболезненно для развития физической науки в СССР не ходил, а тесть ежедневно привозил свежее информационное чтиво — центральные и местные однояйцевые газеты-близнецы. Пунктуальный до неприличия почтмейстер слегка задержался, но его явление вышеперечисленному народу произвело неизгладимо сильное впечатление: уйдя на службу в легкой тенниске, отец семейства воротился в праздничном габардиновом костюме при тугом гавриле.

— Что, мумию товарища Сталина оживили прямо в могиле врачи-вредители? — ехидно спросил я. Тесть был заядлым коммунистом и, не отличая сроду ржи от кукурузы, долгое время

успешно работал инструктором обкома партии по сельскому хозяйству, вынужденно находясь со мной в серьезных идеологических противоречиях.

— Наши танки вошли в Прагу! — весомо оправдал парадную форму добросовестный участник Варшавского договора.

— Вот паскуды! — подвел я итог сводке Совинформбюро, совершенно не думая, что грудной младенец Илюша с молоком матери в этот момент навсегда впитает абсолютно точное определение советской власти.

— Владимир, они тебя посадят! — взмахнув полным половником с горячими щами, пророчески взвизгнула теща. Косившая под атеистку со дня своего кратковременного заточения в царицынской губчека бабушка Женя, мелко перекрестившись, покорно закивала в подтверждение версии о неминуемой уголовно наказуемой судьбе любимого отца любимого правнука.

— Вот паскуды! — мрачно удвоил я надвигавшийся срок.

Наодеколоненный тесть вынул из обшарпанного портфеля с газетами бутылку беленькой с красной головкой: повод был большим, а зарплата — маленькой. Налил на радостях всем по стопке. С обеими тещами и кормящей падчерицей звонко чокнулся, а ритуальным соударением со мной и несовершеннолетней дочерью в целях воспитания пренебрег.

— Наше дело правое, мы победим! — вместо тоста торжественно процитировал бессмертного отца народов папаша.

— Это наше дело — правое, а ваше — левое, — уточнил я ехидно правило политического буравчика и, принципиально не идя на попятный, выпил не за здравие нашей победы, а за ее упокой.

Жизнь мерно продолжалась в ненужном направлении.

В частности, поздней осенью того же переломного года на когда-то посадочную полосу нашей коммуналки неожиданно десантировался уличенный в сватотатстве и без вести пропавший с 1953-го холодного бериевского лета старший майор Ломовцев-старший. В коротком промежутке между непрерывными запоями он подъехал в местное УКГБ за гербовой справкой о честном несении довоенной службы. С целью получения по ее предъявлении заслуженных льгот по пенсии. До чешских событий старой сволочи в башку такое и не пришло бы. Яблочко по-сыновьи предупредило яблоньку, чтобы та молодому соседу-дровосеку кальвадос на троих сдуру не предлагала.

Бессистемно крепко пьющий Валера знал по себе, что дружок-новосел не по годам строг в отборе собутыльников и, бывало, что врать-то, поколачивал болтливого зятя реабилитированного зэка

уже только за то, что тот упоминал всуе о существовании во времени и пространстве героического сватоборца. Сталинская формула «сын за отца не ответчик» в наших застольях отвергалась, а поощрялось индивидуальное покаяние за неравноценно подлые грехи особо близких представителей предыдущего поколения. Об этом хорошо знали и члены моего семейства. Поэтому во время случившейся высадки столь яркой большевистской падали на частично антикоммунистическую территорию отнеслись ко мне с повышенной бдительностью, приняв все доступные меры к невстрече идейного дебошира с нежданным гостем.

Но чему быть, того не миновать. Подвыпивший каин на свою беду отловил в общей кухне мою красавицу-жену и сладострастно попытался ухватить ее со спины за непомерно увеличившиеся молочные железы. Вместо любовной серенады старпер поведал на ушко кормящей матери, варившей в две руки манную кашу и не могущей посему оказать достойного сопротивления, о своем славном прошлом. А именно об участии в допросах с пристрастием в родных саратовских застенках бывшего наркома земледелия троцкиста Яковлева и его жены. Враги народа даже после пыток устно и письменно клялись в своей безмерной любви к товарищу Сталину, чем вредительски затягивали плановые сроки следствия. Чистосердечное признание от них получил наш доблестный чекист после того, как на глазах отца и матери изнасиловал на письменном столе пятнадцатилетнюю дочь несгибаемых поклонников тирана и позвал для продолжения следственных действий ожидавших очереди подчиненных.

Моя несчастная женушка со слезами на глазах вырвалась из объятий скабрезного мемуариста, вбежала в дальнюю комнату, где в превентивной изоляции скучал я, и, проливая трясущимися руками горячее детское питание, подробно изложила услышанное.

Не остановить ревущего бизона!

Как вихрь я в кухню ворвался, прямым в лоб завалил худосочного Валерку, крестом вставшего на моем праведном пути, и занялся рассказчиком. Говорил я мало, да и не бил его вовсе. По стене кухни пузато вилась толстая то ли водопроводная, то ли канализационная труба, глубоко проржавевшая еще с доленинско-сталинских времен. Вот о нее-то я и стер трижды или четырежды до самого черепа физию онемевшего ветерана, дав десять минут ему и близлежащему сынуле на безоговорочную эвакуацию. С двуспальной чугунной сковородкой в мускулистой руке я терпеливо дожидался исполнения приговора.

В назначенный срок мимо меня молча проскользнули две

фигуры: долговязый сосед в распахнутом дождевике одной рукой тащил облезлый фибровый чемодан, а второй тянул за собой Нечто! С замотанной бинтами, как пулеметными лентами, физиономией, в черной облупившейся кожанке с поднятым воротником и надвинутой на лоб траченной молью велюровой шляпе скальпированное красногвардейскорожее чучело в черно-белом варианте было вылитым человеком-невидимкой из одноименного трофейного фильма по фантастическому роману лучшего друга кремлевского мечтателя Герберта Уэллса.

Кроме моей жены, ни тайно сочувствовавший карательным органам тесть, ни обе тещи, ни сестра-девушка, ни тем более младенец-антисоветчик даже не заметили столь скорого завершения планового визита. Больше старикана никто и никогда не видел. А может, и видели, да после пластической операции узнать не смогли.

А жизнь продолжалась в нужном направлении. Впереди были брежневский застой, горбачевский отстой и Ельцин на танке.

Новые русские чекисты плавно перерождались в демократов.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ (Эпопея)

Кафедра электронной техники, на которой я остался работать после окончания физфака сторублевым инженером с перспективой защиты диссертации в неизвестно каком году, представляла собой этнический зоопарк. Где набрал непьющий профессор Альт-шулер такое количество пьяниц разных национальностей, останется на века тайной великой. Но пили, и немало, все: и русские, и евреи, и украинцы, и немцы, и поляки, и казахи, и даже один финн — мастер по точной механике Слава Куломзен.

Алкоголиком он был треморным, но собирал вокруг себя зевак, не веривших в супервозможности Славы в починке зеркального гальванометра трясущимися руками. Дело в том, что в этом антикварном приборе зеркальце, ловящее лучик света, крепилось человеческим волоском на каплю клея в единственно нужном месте. Спектакль проходил так: Куломзен надевал толстые очки, накапывал на стеклышко клей, выдирал из головы волос и начинал шаманство. Руки колдуна ходили ходуном в убыстряющемся ритме — в одной был волосок, а в другой зеркальце. Чародей закатывал глаза и шептал заклинание:

— Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я иду искать: кто не спрятался, я не виноват.

В это мгновение Слава замирал как истукан, и зеркальце точно приклеивалось к волоску!

Изгнанный с позором с Балтфлота капитан-лейтенант Вова Шминке по протекции своей тетушки-профессора работал на кафедре лаборантом (капитан-лаборантом, как называл он сам себя). Шминке в соответствии с фамилией нагло носил усы а-ля Гитлер, но отличался от сексуально убогого фюрера невероятным размером детородного органа. По аналогии с физической мерой «фарада» — емкостью Земного шара, которая использовалась в реальности как ее тысячная доля — миллифарада или еще меньше — пикофарада, триллионная доля, на кафедре существовала единица измерения мужеского члена: «один шминк». В реальности же использовались только миллишминк или пикошминк.

Исход Шминке из капитанов торпедного катера в капитан-лаборанты весьма показателен для его служебной характеристики. На учениях в Финском заливе Вова потерял боевую торпеду и для того, чтобы отчитаться перед командованием, тайно навестил своего друга на Ленинградском секретном торпедном заводе, где ему за бутылку сделали новую с

тем же номером, что и пропавшая. Шминке отчет сдал, а пропавшая торпеда подло всплыла со дна моря. Так как даже на дыбе Шминке не сдал бы заводского подельника, его выкинули из армии на офицерском суде чести за наглую ложь — бравый капитан-лейтенант под честное благородное слово заявил, что левую торпеду вместе с тротиловым эквивалентом изготовил лично в портовом гараже.

С тех пор стремление к свободе переросло у Шминке в неосознанную необходимость. Он принимал очевидности, но всем нутром уклонялся от их исполнения. Тысячелетиями рабский труд на Руси был образом жизни, и двадцатый век не являлся исключением из правил. Отправка малооплачиваемых научных бездельников на хозработы местного значения была неотъемлемой составляющей их бытия и сознания.

— Сегодня шабашим на строительстве химпавильона. Скидываемся по рублю. Тюмин — в магазин. Остальные — на объект. Общее руководство беру на себя! — скомандовал капитан-лаборант.

К месту назначения мы прибыли одновременно с маркитант-лаборантом Тюминым и сразу расположились на бивуак. На газетки разложили селедку, лук и хлеб, расставили граненые стаканы. Капитан разлил по первой. Трапезу неожиданно прервал горбатый «запорожец», из которого вылез несоразмерный габаритам авто владелец.

— Что здесь происходит? — с места в карьер заорал он. — Я прораб объекта, а вы — мусороуборщики! Все убрать — и убираться!

— Ах, ты прораб, а может, прорабовладелец! — тихо сказал капитан-лаборант. — А мы для тебя — шваль галерная? Хочешь в роттердам? Вот и дрейфуй по курсу, простипома!

— Ответишь за грубость своему начальству! — завопил прораб. — Иду к вашему ректору!

И пошел. Думал — к ректору, а получилось по Шминке — в роттердам. Так как сила была за нами!

По приказу капитана матросы взяли «запорожец» на абордаж и в восемь рук затащили автоублюдка по ступеням — фундаментным бетонным плитам — на высоту трех метров. После чего вернулись в кают-компанию. Надо было видеть прораба по возвращении! Когда он понял, что ни один, ни с помощью ректора он не вернет на трассу свой землеход, он все нам простил, сбегал лично за свежим пузырем, проставил всей вахте трудодни и получил своего горбатого в целости и невредимости, чем подтвердил очевидное: был бы Шминке советским Крузенштерном или даже Беллинсгаузеном, если бы не

трагический казус с плавучестью фабричной торпеды!

В реестре профессора Альтшулера старший лаборант-маркитант, он же законспирированный мордвин, Саня Тюмин числился умельцем и самородком. Возможно, что на отхожем промысле в летнее время на профессорской даче Тюмин и проявлял себя умельцем, но на работе и дома он был истинным самородком.

На кафедре своими силами шел бесконечный ремонт научных и учебных аудиторий. Задействованы были все и вся. Шеф известными только ему путями доставал дефицитный (другого не было!) стройматериал, а мы весело и с огоньком его пилили, прибивали, проводили, красили и белили. До пяти вечера, когда пунктуальный Альтшулер сматывался с работы. Мы же не уходили, а стандартным способом каждый раз отмечали очередную трудовую победу. Если же Альтшулер уходил раньше пяти «на совещание», этот час победы сдвигался ровно к данному времени.

Но были работы и непрерывного цикла, например, алебастровую штукатурку надо было намазать, пока она не усохла. Тогда семеро бежали по лавкам за провизией, а кто-то втирал алебастр до его физического истощения в одиночку. В тот раз Тюмин заканчивал скрытую электропроводку. Стол был накрыт, бокалы наполнены, а Тюмин все не появлялся. Все были поражены небывалым энтузиазмом такого же, как мы, законченного бездельника. Наконец появился со свежепомытыми руками счастливый самородок.

— Все закончил. Любо-дорого взглянуть! — объявил он.

— Ладно, садись уже, завтра посмотрим, — добродушно сказали мы.

И наступило завтра.

— Тюмин! А где проводка? — заорал капитан-лаборант Шминке, несущий общую ответственность за стройку века.

Восьмидесятиметровая аудитория сверкала гладкими белыми стенами не только без розеток, выключателей или потолочных проводов, но и без каких-либо следов другого электричества.

— Как где? — удивился Тюмин. — Проводка же скрытая.

— Под чем скрытая?

— За стенами!

— А как ее найти, придурок?

— Как-как! Стенку расковырять.

— А в каком месте?

— А хрен ее знает! Я для красоты всю поверхность ровно залепил!

Зная о наказуемости неправомерных деяний на ниве частного

предпринимательства, самородок Тюмин принципиально не мог жить хуже, чем мог. Бизнес, в который он влез, не блистал новизной, но явно требовал усовершенствования. Речь идет о выращивании цветов на продажу. Тюмин жил в частном секторе отдаленного от райкома и милиции городского поселка Агафоновка, и клочок личной приусадебной землицы позволял эти цветочки выращивать. Но предложение всегда определялось спросом. А максимума спрос достигал в конце июня и в начале сентября: ведь цветы нашей жизни — дети. И они в них купаются за наличный счет родителей, когда идут в школу и когда из нее уходят!

Агронома и бизнесмена Тюмина двусторонне заинтересовал цветок пион. Большой, красивый, но не доживающий до продажного бума — к выпускным вечерам. Как сохранить его в удобоваримом виде в течение месяца? Как-как — да заморозить гада во льду!

Самородок провел эксперимент, добавил в воду каких-то знахарских лекарств, заморозил контейнер, высверлил в нем полость, заложил свежий пион, и — о чудо! — цветок сохранился. Саня тотчас перевел научно-исследовательскую работу в опытно-конструкторскую разработку и за зиму наморозил кучу фасованного льда с целью его целевого размещения в огромном родовом погребе. По весне он пришел на кафедру за помощью.

— Ребята, — обратился он к нам, — заготовил я кубики ледяные, а оторвать их от земли не могу — видать, примерзли. Помогите! Бутылка за мной.

Многие не задумываясь побежали одеваться. Кроме одного, премудрого жизневеда Стаса Боровикова.

— Тюмин, — спросил он с подозрением, — примерзли, говоришь? А каких размеров у тебя кубики?

— Да метр на метр на метр, чтобы в творило влезли.

— Идиот! — заорал Стае. — Ты же физиком работаешь: удельный вес воды — единица, и твои «кубики» — каждый тонна!

Так что месяц, не покладая рук, пилил самородок с отцом-инвалидом двуручной плотницкой пилой «кубики» на шестнадцать частей поровну, чтоб они к земле не примерзали.

— Пилите, Шура, с папашей золотые гири? — ехидно цитировал классику образованец Стас. — Ну, пилите, пилите.

А цветочки-то, между прочим, сохранились и были с большим наваром проданы богатым родителям выпускников средней школы!

Два еврея — доцент и замдекана Рувим Моисеевич Ревзин и профессор и партийный секретарь Лев Израилевич (после победы Израиля в шестидневной войне 1967 года — Лев Агрессорович)

Кац были моими заклятыми врагами со светлых абитуриентских времен.

Эти не по годам румяные комсомольские вожди с корыстной целью заслужить в партии вакантные места, забронированные для коренной национальности, руководили студенческим стройотрядом в «атомограде» Балаково. Там-то сразу же после поступления в университет я со товарищи «строил» ТЭЦ. Была холодная дождливая осень, мы жили в дырявых палатках в условиях страшной антисанитарии и дурного питания. Не удивительно, что не пьющие пока строители атомов коммунизма повально переболели дизентерией.

Тогда еще спортсмена и образца трезвой жизни, а после — доброго собутыльника, жившего со мной в одной палатке, Ёсю пропоносило так, что требовался поводырь с подтиркой для эвакуации ослабленного дристуна в саратовскую инфекционную больницу (местная была уже переполнена). По долгу дружбы я взял на себя всю ответственность, довез засранца почти сухим до специализированного медучреждения, встретил в городе не охваченных призывом приятелей и вернулся в Балаково через неделю.

Столь долгое отсутствие без уважительной причины было признано систематическим прогулом, и я был вызван в штаб стройотряда для принятия мер строгого и показательного воздействия. Будучи невероятно грязным от праведных трудов, я, перед тем как явиться в трибунал, намылился с ног до головы хозяйственным мылом и нырнул в холодную Волгу. О ужас, я вынырнул точно в пятно мазута! Сочувствующие доброхоты посоветовали мне смыть позор с головы керосином. Пятно отмылось, но волосы!

По моде длинные до плеч кудри распрямились и торчали (как куски проволоки) в разные стороны, карнавально потрескивая статическим электричеством.

Вот в таком рыжеклоунском виде я и вошел в командирскую палатку. Задев за низкую притолоку, я буквально засыпал искрами полутемное помещение, чем обеспечил себе высшую меру. Партийные фарисеи из этих искр возгорелись пламенем и изгнали меня из комсомола, поставив вопрос об исключении из университета.

Номер не прошел по не зависящей от синедриона причине — формально я не был членом ВЛКСМ: снимаясь с комсомольского учета в школе, я под честное слово забрал с собой учетную карточку — единственный документ моего пребывания в рядах передовой молодежи. И, не нарушив слова, больше никому ее не передавал. Меня просто не нашли адресаты докладной еврейских

людоедов. А вместо меня каннибалы съели кока — вольноопределяющегося Дим Димыча, вора и весельчака. Еды от этого не прибавилось, но стало заметно скучнее.

Сказочный русский богатырь Витя Язиков был вырублен Перуном из гнилой коряги щербатым топором. На голову изделия бог грома и молний водрузил пучок пожароопасной сухой соломы, не поддающейся воздействию даже победителей областных конкурсов парикмахеров. Внутрь создания отечественный громовержец равномерно поместил незаурядный инженерский талант и непобедимую склонность к алкоголизму. Рано женившийся инженер наук совершенно не боялся превратностей семейной жизни: супруга по делу нещадно его колотила, но на Витиной физиономии побои не были заметны — об этом, как сказано выше, позаботился еще Перун.

Наш шеф, профессор Альтшулер, был законченным гетеросексуалом, и некоторая необычность внешнего вида мужичка Язикова не колебала его веру в перспективную совместную деятельность с молодым талантом. Что же касается не совместной деятельности, шеф изображал из себя слепца Паниковского в лучших проявлениях характера Михаила Самуэлевича.

Для уравновешивания бытовой эстетики я познакомил Язикова со своей одноклассницей Галей Л. — пышнотелой красавицей, отличавшейся от Венеры Милосской разве что наличием обеих рук. В сексуальном плане Галя тоже была близка к греко-римскому стандарту — ей хотелось быть богиней любви и страсти. Поэтому умный и весело пьющий кентавр Язиков вполне удовлетворял ее жизненным принципам. К тому времени Галя окончила мехмат и временно была безработной. Язиков быстро устроил Венеру на работу инженершей в свою группу и зажил с ней круглосуточно. Для исполнения желаний на бюджетные средства кафедра приобрела раскладушку с матрасом, на которой любовники проводили, как минимум, обеденный перерыв. Именно в это личное время бродящий по кафедре сытый с утра профессор Альтшулер и застукал нарушителей моральной дисциплины. Увлеченные процессом сексапилы дали просмотреть неопытному в этих делах ученому весь порноролик, чем ничего, кроме уважения, в нем не вызвали. Дождавшись бурного совместного оргазма, пожилой шеф нарочито прокашлялся и сказал:

— Можете этим заниматься когда и где угодно, только не в обеденный перерыв!

Галина в некотором смущении убежала, а Язиков позвонил мне и, вкратце пояснив неординарность своих взаимоотношений

с шефом, предложил встретиться для распития в саду Липки одного литра водки со мной как соавтором удачного проекта. Липки располагались в двух кварталах от моего дома, день был солнечный, повод прекрасный, и через полчаса встреча состоялась. Я забыл сказать, что Язиков, как истинный сластолюб, закусывал водку пирожными и шоколадом, но сейчас в гастрономе они ему не попались, и он приобрел с указанной целью банку сгущенки. Я предусмотрительно захватил из дома бутерброд с колбасой. Без специального инструмента открыть запаянную банку не было видимой возможности. Но вы не знаете Язикова!

Чугунная ограда летнего сада представляла собой кованую решетку с острыми декоративными (а также противозалазными!) пиками. Язиков скакнул на первый выступ ограды и наотмашь ударил по острию банкой. Сгущенка вылетела наружу как шрапнель. Я и часть прохожих не пострадали, но Язиков с ног до головы оказался в липкой несмываемой оболочке!

О лето красное, любил бы я тебя, не первый раз повторяю я бессмертного поэта, когда б не зеленые мухи, в неимоверном количестве слетевшиеся со всей округи и облепившие Витю, как новогоднее конфетти! Галопом мы добежали до моего дома, не раздеваясь, Язиков нырнул в ванну, успевшие не утонуть мухи заполнили всю квартиру зелеными блестками. А водку мы выпили, и что главное, оба до упаду хохотали.

Вот с таким багажом я с неослабевающим интересом начал вписываться в этот сногсшибательный коллектив бывших врагов и будущих друзей. Жизнь сама подсказывала способы интеграции. На кафедру привезли новую мебель — лабораторные и письменные столы. Неуемный ажиотаж коллег мне понравился: они просто передрались за свои скудно оплачиваемые рабочие места. Козырного туза в рукаве я не упустил и смылся с дальним прицелом на два дня, а когда появился, с удовлетворением заметил, что мне рабочего места не досталось. С показным огорчением я пожаловался заведующему кафедрой. Профессор Альтшулер развел руками и поучающе сказал:

— В следующий раз, коллега, будьте порасторопней, а пока поработайте как теоретик в научной библиотеке!

С тех пор я появлялся на кафедре только на общих заседаниях, а чаще — на совместных пьянках-гулянках.

Шляхтич по привычкам и матери, Стае Боровиков был человеком на редкость многоопытным и многообразованным. Если бы тогда существовала книга советских рекордов Гиннесса, место Стасу в ней было бы обеспечено. Он учился в университете на очном, заочном и вечернем факультетах семнадцать лет без

перерыва и постиг не только суть физики, но и сущность физических лиц.

Его знания коммунально-совковой жизни были исчерпывающими.

Университетский водитель грузового мотороллера тощий казах Нурсултан, выпивая с нами в лаборантской после трудового дня, жаловался, утирая слезы, на беспросветность жизни. После смерти мамы он остался один в достаточно большой комнате двухкомнатной коммуналки. И алчные до жилплощади соседи — муж и жена — возжелали почти освободившуюся комнату. Они травили Нурика чисто морально, вызывая каждый вечер, когда к молодому казаху приходили его раскосые девушки, участкового милиционера, который за символическую жидкую мзду участвовал в процессе аннексии и контрибуции, составляя ежедневные протоколы об аморальном поведении азиатов.

Нетривиально образованный Стае сжалился над угнетенным пасынком Востока и сказал:

— Делай что я тебе скажу, и жизнь повернется к тебе своей солнечной стороной!

И вот что делал исполнительный рикша. Каждое утро, выходя из дому, он наливал под дверь соседской комнаты из полученной накануне у Стаса стеклянной поллитровки кафедральный сероводород, бесцветный газ тяжелее воздуха. Этот вид материи, по известным Стасу законам физики, устремлялся из холода в тепло, а именно, в комнату алчных соседей, создавая в жилище непередаваемый аромат общественного сортира ровно до прихода азиата на стойбище и не оставляя никаких следов в таре. Не имеющий столь фундаментального образования участковый пытался путем допросов первой и второй степени выяснить у Нурика происхождение вони. Затравленный казах писался от страха, но в остальном устоял. Через десять дней, точно по проекту, враг капитулировал. Пришедший с работы диверсант был накормлен соседкой неотравленными домашними пирожками, после чего получил лестное предложение вечного мира и бесплатного питания в обмен на свежий воздух.

Здоровый хохол, бывший завуч военной кафедры по кличке Дуб, слуга царю, отец солдатам, отставной полковник Федор Гаврилович Захарченко прирабатывал к пенсии старшим лаборантом мирной кафедры по хозчасти. Человек необычайно мягкий и отзывчивый, он все еще оставался военным со всеми вытекающими рудиментами. В частности, он вытягивался во фрунт перед профессорами и доцентами и в говно не ставил низший состав. Его язык был захламлен армеизмами. Например, слово-паразит «ибиеёмать» участвовало в процессе изложения

любой его мысли.

Инженерша Виолетта в сердцах наябедничала Альтшулеру на грубияна-полковника, и тот, пожурив исполнительного служаку, посоветовал ему извиниться перед дамой. Что и было публично проделано в следующем виде:

— Виолетта Петровна, — зардевшись как юноша, сказал джентльмен в отставке, — ты уж прости старика, ибиеёмать!

На двадцать пятом году жизни меня чуть было не настигло эхо прошедшей войны. Как известно, демографические вакуумные бомбы взрываются через четверть века после создания. К семидесятым годам в нашей набитой до опупения солдатней Красной Армии стало «катастрофически» не хватать офицеров! Объяснение было простым: малочисленные интеллигентные военно-послевоенные дети все как один не пошли учиться на офицеров в училища и академии, а уклонились от действительной службы в глубоком тылу, окопавшись на военных кафедрах! Вышел приказ министра обороны: взять их! Начали брать — я уклонялся всеми силами. Но однажды вечером предупрежденная, но рассеянная теща позвала все же меня к телефону.

— Глейзер? Владимир Вениаминович? С вами говорит замвоенкома капитан Альтшулер (!!!). Вы подлежите призыву согласно приказу двенадцать тысяч триста сорок пять дробь шесть тысяч семьсот восемьдесят девять. И вам надлежит срочно и лично прибыть в райвоенкомат.

Сам звонок меня не смутил, если бы не до боли знакомая фамилия, которой по пятой графе нечего было делать в неродном военкомате. Уверенно считая, что меня разыгрывают друзья-алкоголики, я так отчесал матом не ожидавшего столь решительного отпора абонента, что тот заорал явно не в безвоздушное пространство:

— Патруль, на выезд! — и бросил трубку.

Победить воинскую дисциплину невозможно! Через полчаса с автоматами наперевес патруль прибыл к «поцифисту» (буквальный перевод этого слова на русский с родного для замвоенкома языка — «похуист»), и я был с почетным караулом доставлен к реальному замрайвоенкому капитану Альтшулеру! Как ни странно, но мои неинтернациональные объяснения происшедшего вызвали здоровый смех моложавого капитана и были им сочувственно приняты. Однако он заметил, что помочь мне не может, но дает неделю для решающего вопрос выхода на самого военкома.

Выход у меня был единственный: исповедаться отцу Федору! Он тотчас согласился помочь, так как с полковником Жуком,

военкомом, оне в одним полке служили. Падре набрал номер и заорал в телефон:

— Жук, ибиеёмать, ты что же моих парней душишь, ибиеёмать, блядь!

— Здравия желаю, товарищ генерал! — подобострастно раздалось в трубке.

— Какой я тебе, ибиеёмать, генерал? Я Захарченко Федор!

— Федя, ибитвоюмать, как ты меня напугал, — смягчил голос военком, — а я-то подумал, что это меня облвоенком чешет!

Моя проблема была решена через минуту.

Известна формула, по которой ничто так не спаивает коллектив, как коллективный выезд на природу. На свое пятидесятипятилетие (каков старик, а?) отец Федор пригласил всю кафедру к себе на дачу. Поехали по разным причинам не все, хотя проблемы транспорта на кафедре не существовало — у еврейских каннибалов были собственные автомобили. У Ревзина «москвич-401» — эмка, а у Каца — горбатый «запорожец-ЗМ» — зямка. Набив эти колымаги питьем и сотрудниками кафедры, мы прибыли с ночевкой на полковничью дачу. С ночевкой потому, что предусмотрительным драйверам надо было проспаться после намеченных обильных возлияний. Что и было проделано в саду у дяди Феди.

Беззаборно напротив Захарченковой дачи расположилась дача его бывшего начальника по военной кафедре полковника Владимира Никитовича Запорожченко, который, в отличие от нашего полковника, хохлом не был, а как чистопородный казак их и вовсе не любил. Отношения у соседей были если не сложные, то неравноценные — и отец Федор фрунтовал даже перед бывшим начальством!

Так вот, выходим мы с хозяином из дачи рано поутру поссать (по-военному — оправиться) с похмелья, только начали, а Гаврилыч как заорет:

— Ибиеёмать! — и дрожащим пальцем мне указывает на крыльцо соседской дачи. А там то ли собака огромная, то ли кто-то из коллег насрал такую кучу, что крыльцо прогнулось!

— По машинам! — скомандовал огорченно бывший командир мотополка. — Засранцы, ибиеёмать, под трибунал меня подвести захотели!

И начал выкидывать за шкирку из дачи полупьяных гостей, которые ни сном, ни духом не могли понять такого трагического исхода из вполне рядовой попойки. Испуг бывшего военного завуча сошел почти на нет только назавтра.

— Понимаешь, Володька, ибиеёмать, не первый раз Никитычу на крыльцо срут, и он все разы, ибиеёмать, меня подозревает.

Надоело мне, старику, чужое говно чистить!

Включая столетнего кряжистого Дуба — дядю Федю, практически все кафедральные герои моего рассказа уже там, где из спиртного — только нектар, а на закуску — одна амброзия.

Но оставшиеся в живых обитатели этнического зверинца имени профессора Альтшулера ничем от безвременно ушедших не отличались.

ДОМОСТРОЙ

С младых лет лишившись отчего дома драконовым решением народного суда по гражданскому иску «Советская власть против студента Глейзера» и привыкнув за три года веселого бродяжничества к ночевкам у друзей, знакомых и незнакомых, я мог бы и не жениться в двадцать один год. Однако два обстоятельства подвигли меня на столь обдуманный поступок. Во-первых, моя невеста Светлана, ей-Богу, была красавицей, а во-вторых, оказалась перед окончанием физфака насильственно подвергнутой государственному распределению в какую-то дыру и плакала горькими слезами. Бороться с государством рабочих и крестьян в одиночку никогда не было смыслом моей интеллигентной жизни. А обвести его вокруг пальца было как раз высшим смыслом. Тем более что противник из соображений элементарной лени и классового простодушия легко клевал на любую вульгарную наживку.

В декабре мы отыграли свадьбу, а в новогодние праздники я уже строил планы на приобретение квартиры. Мой старший товарищ, экс-физик и музыкант Феликс Ароне, был самым богатым среди своих друзей не по наличию благоприобретательного коммерческого ума, а за счет врожденного абсолютного слуха. Он аранжировал хоть для цыганского хора, хоть для симфонического оркестра по пять копеек такт любое музыкальное произведение, услышанное не только с пластинки или по радио, но даже по телефону, только бы «такта» было больше.

И вот этот Сальери предложил молодому другу за взятку вступить в жилищно-строительный кооператив. Председатель ЖСК ветеранов труда «Север» комсомолец Изька Измайлов был его соседом и сбивал преступную группу денежных товарищей для получения полутора тысяч рублей, которые кому-то был давно и безнадежно должен. Феликс сколотил мерзкую шайку взяткодателей в количестве пяти человек по триста рублей в составе старшего брата-биолога, трех близких друзей-физиков и одного уже знаменитого хирурга, исключая таким образом себя из числа преступников. Вся компания — довольно ровного национального состава, даже один немец, Шульмейстер, в профессорско-преподавательском однообразии косил под еврея.

Обещание вселиться через год Изька не сдержал — новоселье затянулось на шесть лет, но все, что ни делается бесплатно, — к лучшему. Сразу скажу, что денег ни у меня с красавицей женой — сторублевых инженеров, ни у наших родителей, как сейчас

говорят — бюджетников, никогда не водилось. Хотя сам я в деньгах не нуждался, поигрывая в карты с гандикапом. Но строгих нравов жена этот доход презирала как явно криминальный, да и уходили эти копейки сквозь пальцы со скоростью прихода.

Не лишенный остатков совести маклер Ароне, ободравший на сумму личного вклада юных ветеранов труда, чувствовал себя неловко и подыскивал мне, официально стоящему на пороге нищеты, легальный калым, исходя из моих пока не видимых миру способностей.

— Вовка! Что ты тратишь себя на кавээны и капустники? Жаждешь славы? А бабки ждут тебя в Театре драмы имени основоположника всего Карла Маркса. Главреж, траченный завистливой столичной молью московский диссидент Аронов, ставит детскую сказку «Белоснежка и семь гномов». Я подписался на музыку, к ней нужен поэт-песенник. Тридцать-сорок рублей песенка, тридцать-сорок песен — вот и получится половина взноса за квартиру! Я Аронову уже сказал, что ты местный Ганс Христианович Андерсен и Василий Лейбедев-Хохмач.

Времени у меня было полно, на работу я практически никогда и не ходил, ответственность нулевая — я предварительно приношу мэтрам часть текстов на пробу моего пера и в случае бурных аплодисментов дописываю за деньги остальное. Через неделю я легко и непринужденно накатал тексты к тридцати пяти песням в тех местах сценария, где были сбоку проставлены скрипичные ключи, но расчетливо не сдал всю рукопись, а преподнес лишь малую толику, за которую тотчас и получил аванс. А через месяц его пропивания принес и «под расчет». Прошло на ура все! Даже такое:

На службу, как на праздник,

Приятно мне ходить:

Допросы, пытки, казни,

Не интересно разве

Замучить иль убить?

Я, может, жабы гаже

И не сильней, чем тля.

Но если мне прикажут,

Иль сверху кто подскажет,

Убью и короля!

Было б просто ненормально,

Если б не было врагов —

Не платили б премиальных,

Ни аккордных, ни квартальных,

Не давали б орденов.

Нет врагов? Пусть нет врагов —

Я их выдумать готов!

Вот такие замечательные куплеты пел со сцены на утренних спектаклях Главный Исполнитель Королевских Желаний! Дети прятались под лавки от страха, но столичный режиссер-шестидесятник был горд столь хитроумным продуванием «критикой режима» ушей оторопелых родителей, приведших своих невинных малолеток не на явочную квартиру, а на классическую волшебную сказку. Остроту гневных обличений смягчали добродушные мурзилки:

Пляшет котлета на сковороде,

Строит яичница глазки.

То, что увидишь порой на плите,

Вряд ли найдешь даже в сказке.

Слышали гномы, что девочки

Лучше готовят, чем мальчики.

Так вкусно готовят девочки,

Что просто оближешь пальчики!

Добили мы с Феликсом вступительный взнос в кооператив написанием сценария первого со времен НЭПа варьете с девочками в славном когда-то этим делом г. Саратове.

Информация о разврате двадцатых годов была получена нами напрямую от бодрого старца Григория Говорящего (папаши «саратовского Райкина» Левы Горелика). Дедушка несколько лет разбойничал в маске конферансье в кабаре Питаевского на углу Немецкой и Никольской. После интервью блудливого ветерана пришлось откачивать валерьянкой — слишком эмоциональны были мемуары разболтавшегося Говорящего.

В результате творческого контакта родился громкий тихий ужас:

И, мотив старинный напевая,

От угара НЭПа угораю:

Как в далекие года

Говорил себе тогда я —

Боба, выдержи фасон!

Не боюсь я «Черной кошки»,

Хоцу мацу, ем картошки.

Такси «форд» до «Третьей дачной»

Довезет меня без сдачи!

Я ж не фраер-фармазон!

И все это с притопом и прихлопом, с девками в колготках на босу жопу, дым коромыслом, Гражданская война на тачанках!

Мало того, что хорошо заплатили! Пригласили в ночь премьеры на банкет за счет заведения, накормили от пуза, напоили под завязку, бабам — цветы, мужикам — сидор в пуд на дорогу. В меню сидора входили: бутылка водки, две — пива, пачка индийского чая со слоном, консервы «Сайра в масле» и

«Лосось в собственном соку», а также сыр и колбаса в ассортименте.

Но неувязочка вышла! На вешалке моей жене вместо сданных финских новых сапог выдали по номерку старые отечественные боты «прощай, молодость». Еле ворочавший языком и, видимо, бездетный гардеробщик поклялся дочерьми, что так и было. Пригласивший всю нашу мишпоху на банкет представитель заказчика ресторатор Мамараев уже отбыл с места чужого преступления, и мы, пьяненькие, оказались беззащитными перед наглым катом. Жена-бюджетница билась в истерике не только от потери дефицитного импорта, но и предвидя позорящие последствия своего бессапогового появления на рабочем месте, где слухи о моем таланте и гонорарах были сильно преувеличены.

Зима была морозной, а сапоги — единственными. Надо было спасать честь и здоровье семьи. Легкоатлетически я перемахнул через барьер гардероба и с диким криком «Всем стоять, ограбление!» поволок за руку и ногу невменяемого уже и по этой причине вешателя в дальний угол.

Идея была простейшей. На чай больше рубля с копейками не дают: народ зело был прижимистым. Так что, если найду купюры посолидней, определю, почем сволочь сапоги загнала. Чаевых в сюртуке гардеробщика набралось рублей на пятнадцать рваными, и за подкладкой два мятых четвертака — очевидная цена сделки! Пригрозив слегка отошедшему от шока гаду неминуемым сажанием на кол, я вместо последнего слова предоставил ему десять минут на сбор двухсот рублей у падающих со смеху официанток, объявив себя мстительным кумом ресторатора Мамараева. На время отсутствия мытаря я открыл гардероб и культурно обслужил небольшую уже очередь одевающихся, заработав при этом за мягкость обращения еще одиннадцать рублей.

По известному принципу «наше дело правое», победа оказалась за нами. Назавтра, в воскресенье, супруга с подругой съездили на Сенной базар и купили не только новые югославские сапоги, но и итальянские перчатки в тон. Ботики «прощай, молодость» еще лет пять тянули свой срок на даче.

Вышеупомянутая подруга, свидетельница варьетевского конфуза, женщина интеллигентная, но в кроликовой шубе, долго еще переживала, что сперли Светкины сапоги, а не ее разлетайку.

— Везет же людям, — завидовала она обстоятельствам, а не талантам.

К МИНОТАВРУ

Профессор Шевчик был большим ученым-физиком и малорослым одноглазым алкоголиком. Происхождение из «кухаркиных детей» — его мать работала уборщицей, — неучастие, в отличие от сокурсников, в Отечественной войне, давшее ему четырехлетнюю образовательную фору, были первоосновой его комплекса неполноценной полноценности. Также из голодного детства и юности он перенес в свою сытую профессорскую жизнь нечеловеческое скупердяйство — выпивки на «халяву» (кроме регулярных запоев в компании с красавицей-женой), мелкие хищения стройматериалов из хозчасти университета — и даже жлобство по отношению к собственному увлечению. Шевчик любил, знал и коллекционировал записи музыкальной классики, но хорошую аппаратуру не покупал. Да и зачем, когда народные умельцы с возглавляемой им кафедры из всякого подручного дерьма весело и с огоньком соорудили ему эксклюзивный магнитофон с колонками, выкрашенными подтеками молотковой эмали, и такой же по изяществу проигрыватель.

Но, в общем знаменателе, человеком он был хорошим и многое сделал как для своих учеников (знаменитая на всю страну школа электроники Шевчика), так и для родного университета, ректором которого он был до своей ранней естественной смерти от цирроза печени в сумасшедшем доме.

Сценарий моих странных, неравных и неровных отношений с Владимиром Николаевичем был просто-напросто списан с чаплинского кинофильма «Огни большого города» — пьяным миллионер обожал маленького Чарли, а трезвым, в лучшем случае, не узнавал. Ерничал я в университете по-черному по непостижимым для многих причинам. Их было три. Первая: мне все легко давалось, тем более, что и немного требовалось. Вторая: те сто или чуть больше рублей моей зарплаты не были основным моим доходом — я полупрофессионально (то есть с элементами шулерства) ночами посиживал за зеленым ломберным столом. И третья: авторитетов для меня не существовало благодаря природной наблюдательности — я смолоду видел в чужом руководящем глазу столько бревен, сколько в своем, рядовом, не замечал и соломинок.

Раз в два года я повышал свой светский уровень, посещая московские международные кинофестивали, что само по себе — сюжеты для многих небольших рассказов. Ездил я, как правило, в отпуск за свой счет, пока однажды мой завлаб, законченный совок

и нищеброд, не предложил мне поехать на фестиваль за счет государства, то бишь в служебную командировку. Неожиданное предложение, безусловно, было корыстным: в условиях всеобщего дефицита начальник просил меня что-то купить для него лично в богатой столице.

Через неделю получаю от зава телеграмму с требованием срочно явиться на работу (наверное, заказанный им продукт был скоропортящимся, не помню). Я отстучал в ответ, что имеются сложности с авиа — и железнодорожными билетами в связи с летним сезоном. Раздраженный руководитель среднего звена присылает мне резкую депешу следующего содержания: «Обстановке служебной необходимости срочно выезжай любым видом транспорта».

В тот же день я с вещами поехал в Речной порт, купил билет первого класса на белый теплоход «Александр Фадеев» и целую неделю впервые в жизни на верхней палубе шикарного туристического лайнера курил табак и пил вино. Стоил вояж несусветных денег, на возврат которых я рассчитывал.

Когда я, сытый и загорелый, предстал пред слезными очами бледнолицего десятника с пустыми руками, великомученик чуть не лопнул от гнева и возмущения и, цепко схватив меня за руку, потащил к шефу Шевчику.

Растолкав посетителей в приемной, он ворвался к уже подвыпившему боссу. И, брызжа во все стороны слюной, начал докладывать ему об открыто совершенном тяжком преступлении — растрате казенных денег в особо крупном размере. Профессор выслушал тираду и спросил меня:

— Ну, а ты что молчишь, Глейзер?

Я вежливо вытащил из кармана мою курбскую переписку с завлабом грозным и тихо спросил:

— В чем вы, Владимир Николаевич, видите нарушение?

Шеф внимательно ознакомился с представленной документацией, откинулся на спинку кресла и, обращаясь к пламенному опричнику, огласил соломонов приговор:

— Оплати ему командировочные, мудак! И оба — вон отсюда!

Правой рукой и левым глазом Шевчика был высокий, стройный и веселый красавец из бывших комсомольских вождей Ренат Шакирович Амиров. Демократом он был без кавычек, условия номенклатурных игр соблюдал прагматично и не более, а когда сильно напивался, ложился на пол или на землю и громко объявлял:

— Нам, татарам, одна хуй! — И, главное, не врал.

Шевчик справлял очередной день рождения в ресторане с

людьми из своего ближнего круга. Я пьянствовал в соседнем, не помню с кем. Линии нашей судьбы пересеклись в квартале от дома шефа, когда я увидел на углу пошатывающегося Рената, а в ста метрах — поворачивающих к дому Владимира Николаевича с супругой. Ренат честно рассказывал мне о ходе именин, добавив, что продолжения, к величайшему его сожалению, уже не будет, когда я своим стремительным взором усек замсекретаря парткома доброго алкоголика Юрия Ивановича, огородами, как Котовский из анекдота, нырнувшего в подъезд шефа.

— Ренат, — начал я тотчас созревшую провокацию, — а праздник-то продолжается. Но некие злые силы вычеркнули тебя из ближнего круга друзей именинника. И с этим надо бороться!

Обиженный верностью моих предположений, Амиров тотчас предложил мне заглушить его горе в каком-нибудь шинке. Однако я продолжил предательскую акцию.

— Добро должно быть с кулаками. Давай сожмем твою обиду в мой кулак и пойдем вместе к шефу для выяснения отношений!

— Да ты с ума сошел! Выкинет, как щенков, из дома с непредсказуемыми последствиями!

— Кто не рискует, тот не пьет кизлярского! — намекнул я на любимый коньяк Рената.

— Ладно, — согласился с финалом предстоящего похода на Варшаву бывший отчаянный комсомольский вожак. — Только ты идешь первым!

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Через пять минут мы, с дистанцией в лестничный пролет, поднялись к волшебной двери. Ее без замешательств открыла шефиня и расплылась в улыбке непредвиденного удовольствия — она была не только красавица, но и умница.

— Володенька, дорогой, заходи, Владимир Николаевич будет доволен, ты же у нас никогда не бывал, правда?

— Я не один, Надежда Петровна, а с мальчиком, он стеснительный и ждет отдельного приглашения внизу, на лестничной площадке.

— Ренатик, солнышко, — заглядывая вниз, проворковала шефиня, радостно прочувствовав надвигающийся скандал, — проходи, дорогой, долгожданненький!

Гуськом мы прошли в идеально чистую квартиру, где, для основательности, я, а потом и Ренат сняли в прихожей обувь, и под музыку Вивальди-Вивальди-Вивальди, доносящуюся из зала, один за другим в носках продефилировали на тайную вечерю.

— Незваный гость хуже Рената Шакировича! — под гробовое молчание апостолов произнес я заготовленное в подъезде вступительное слово.

Тут тишина стала еще гробовей, так как замолкла пластинка. Я подошел к проигрывателю, рядом с которым лежала следующая музыкальная заготовка — Гайдн в красочной обложке, — быстро оценил напряжение и, взяв в руки диск, начал с умным видом вслух зачитывать крупными буквами написанную на обложке шпаргалку:

— О, Франц Йозеф Гайдн! Олимп классической венской школы! Предтеча Моцарта и Бетховена, доведший до совершенства и симфонию, и квартет, и сонату. Сто четыре симфонии! Восемьдесят три квартета! Пятьдесят две чудесных сонаты! Это нам всем о чем-то говорит? Предлагаю начать сегодняшнее прослушивание со знаменитой симфонии… «Прощальная»!

«Похоже, я в кон попал с апофеозом, не врут обложки и календари», — горько спрогнозировал я в уме ход дальнейших событий.

Эрудированные только в области физики адепты открыли рты от моих специальных познаний шире, чем от моей наглости, даже Ренатик разомкнул одеревенелые губы. Шеф набычился, и я понял ошибку в начальных условиях уравнения, за решение которого по молодости и дури взялся, — клиент был трезв более, чем пьян!

Тут в залу мелкими шажками шоколадницы вплывает шефиня Надюша с расписным подносом, заставленным чашечками мейсенского фарфора, и принимает посильное участие в комедии:

— А вот и чай, дорогие гости! Володенька, вы с чем предпочитаете — с лимоном или с вареньем?

— С коньяком кизлярским, если можно! — подсказывая Ренату неминуемо близкий финал, вежливо говорю я.

И тут сказал Учитель:

— Все! Ренат остается, а мы со старшим инженером на минутку уединимся!

В прихожей шеф лично вручил мне в руки грязные туфли, открыл входную (выходную!) дверь и, настойчиво выталкивая искателя приключений наружу в одних носках, промычал:

— Если я эту твою цыганочку с выходом, паче чаянья, за делами не забуду, завтра же тебя уволю как пить дать!

Через пять минут к лавочке в темном дворе, где в ожидании финала ждал я незадачливого компаньона, выкатился с ботинками в руках взъерошенный Ренат.

— Ну, что? — с несбыточной надеждой спросил я.

— Шеф меня уволил!

— А дальше?

— А дальше сказал: «Ну что, Ренат, не выпить ли нам на посошок?» И хлопнул стакан водки!

Я понял, что мое научное и Ренатово административное будущее небезнадежно — шеф прямой дорогой пошел в спасительный запой!

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО

Каждый советский человек мог и умел быть свободным. Особенно в отпуске. А если ты его проводишь на московском международном кинофестивале, естественное чувство внутренней свободы неестественно обостряется сладкими картинками внешней. Сидишь в темном зале и, пока не включат свет, упиваешься борьбой за права человека на широком экране и другими гуманитарными ценностями от ретроспективного Феллини до перспективного Формана. С буфетом.

А потом спускаешься с Пушки по Пешке в Елисеевский гастроном для покупки какого-нибудь экзотического напитка с Острова свободы. Рома «Гавана клаб», к примеру. И здесь же, не отходя от прилавка, встречаешь Мишку Пахтера — заядлого картежника и шахматиста на деньги, моего старшего одношкольника, с которым не виделись сто лет, и помнишь о нем только то, что жили в одном доме и у мамы его было необычайно красивое имя, ни до нее, ни после мне не встречавшееся: Чара!

(Хотя вру: был потом такой банк элитный «Чара», нахлобучивший на зеленые миллионы всю московскую попсовую тусовку, а в рублевом эквиваленте и их покровителей — ментов и прокуроров.)

Мишка уже давно бездельничает в каком-то союзном министерстве, тяжело похмелен с ясными целями, мне и моей покупке рад искренне.

— Вовка, пойдем в Москву, там наши, саратовские, опохмеляются!

— Мишка, да мы уже в первопрестольной — здравствуй, столица, здравствуй, Москва!

— В гостиницу «Москва», бурлак на Волге! На шестой этаж номер люкс.

Пришли. Дверь не заперта. В холле за журнальным столиком, босые ноги на нем, рыжий Эмиль Гойзикер пьет двойное золотое пиво из витой бутылки. В ванной при открытой двери плещется с ныряньем и бульканьем «пан спортсмен» Валерка Давыдов. Все свои.

Огневолосый Емеля, староста черновицкого землячества в саратовском мединституте, мелкий шулер и крупный аферист — еще не евроэмигрант на Брайтон-Бич. Валерий Николаевич — еще не лидер демократического движения, насмерть отравленный каким-то пойлом в расцвете электоральных сил конкурентами из другого демократического движения, а скромный председатель спортобщества «Буревестник», друг и аристотель Сашки и Лешки,

беспутных дитятей первого секретаря обкома А. И. Шибаева. Между прочим, этому Герою Социалистической Туфты ополоумевшие от примирения и согласия потомки воздвигли кирпичное изваяние — точно посередине порушенной им улицы Миллионки — известной каждому речнику визитной карточки докоммунистической «столицы Нижнего Поволжья». Правда, это монументальное сооружение на песочной кладке неизвестные хулиганы за ночь разобрали и выкинули в реку. Но власть заблаговременно сохранила карандашный эскиз, и истукана за день-другой переложили.

Ну, это — лирика! А экзотический напиток открывать не стали.

— Еще пригодится, — загадочно подмигнул аферист Емеля. Выпили по три двойного золотого. Сгоняли в терц по четвертаку на вылет. Я выиграл оба раза. Эмиль расплатился купюрой из банковской пачки, Мишка сыграл «под жопу» — в долг. Валерка продолжал булькать в ванне, но пиво принял на равных прямо с борта. Вдруг стук в дверь.

— Кто там?

— Брэжнев, — отвечают похожим голосом.

Открываю. Мать твою — Брежнев! Я лицом к лицу с генсеком не встречался, но если бы с этого написать парадный портрет кисти Глазунова или показать по телевизору «Таурас» — вылитый! В миру пришелец — Мишкин сослуживец, министерская крыса. Но брат Большого — родной!

— Привет, Емеля, здорово, Мишка, а где Валерка?

— В ванной отмокает, Яков Ильич. Здорово. Заждались тебя. Познакомься, Володька, наш, саратовский, игрок на все руки. Смотри, что он нам принес.

И выставляет экзотический напиток. Сели, уговорили враз под лимон с сахаром. Вышел Валерка в мокром халате, обнял Брата, расцеловал его взасос, как Хонеккер. Достал армянский коньяк с идеологически невыдержанной надписью «brandy», разлил на пятерых ровно поровну. Вмазали под маслины с булочкой. Перешли к делам.

— Препоны возводят, бляди! Оборзели мздоимцы. Врежь им, Яков Ильич, по телефону ясным голосом, а в главк мы сами поедем.

Звонит беспрекословно. Хохмит:

— Это Брэжнев (долгая пауза), Яков Ильич. — И братоубийственным голосом: — Вы что там, с ума посходили? Пока Старшой в загранкомандировке за мир во всем мире борется, вы уже о дружбе и сотрудничестве забыли? Придут от меня двое — еврей Гойзикер и гой Давыдов. Не понял? Гой — не

имя, а нееврей. Как я не молдаванин. Все для них сделаете по-коммунистически — быстро и без поборов. Да-да, после обеда! (К Валерке). Где обедать-то будем? В номере? Очень хорошо, а то в кабаке, как на улице, — жара! По бровям течет, в рот попадает.

— На два часа все заказал, Яков Ильич. Я пока коньячок достану, ты с Эмилем еще пару звонков сделай.

Сделал. Выпили еще пузырь под маслины с булочкой и лимон с сахаром. Поговорили о том, о сем. Брат рассказал красочно про Саратов, как он там в командировке был. Видим, путает с Куйбышевым. Не мешаем. У земляков бизнес, а мне интересно — член королевской семьи, хороший рассказчик, с юмором, и пьет хорошо, не по-хамски, помногу, но редко. Те, которые малой тарой заливаются, либо алкаши-старообрядцы, либо новообращенные стукачи — меры не знают! А тут компания что надо. Только Мишка на автомате, бубнит одно и то же:

— Если юрподдержка нужна, я с Керей Резником, адвокатом, на одной парте сидел. Наш он тоже, саратовский.

Меньшой брат смеется, лоб морщит:

— Да мы сами с бровями. Главное на нашей братской ГЭС — делить по-братски радости, тогда и горя не будет. Давай еще по одной!

Выпили. Чувствую, пьянею, а ведь самый молодой! Налетел на профессионалов. Надо удочки сматывать, а то беспамятством впечатление испорчу. Извиняюсь, что на сеанс в «Россию» опаздываю — французский боевик про фратерните, эгалите и либерте. Еле уговорил без посошка. Целуюсь со всеми, с Братом трижды и на бис. Вызываю лифт, двери занавесом открываются. Не выходя из роли, ору в пустоту «Марсельезу»:

— Вперед, сыны отечества!

ИММАЕВО ПОБОИЩЕ

Доктор Ибрагим Иммаев родился в бедной даргинской семье. Его папу звали Мамма-бабай, и прожил он две жизни. В первой юный бабай служил ротмистром в Дикой дивизии, нарубил шашкой кучу красноармейцев, бесславно проиграл эту нелепую Гражданскую войну и окопался вдали от мест сомнительной боевой славы.

Здесь, в Саратове, по зову предков, кубачинских серебряных дел мастеров, он устроился скромным гравером в службу быта и двадцать лет тщательно скрывал от правосудия свое контрреволюционное прошлое с отягчающими обстоятельствами.

С началом Второй мировой войны началась вторая жизнь тайного кавалериста. Славные органы НКВД — ОГПУ добились столь очевидных успехов в защите СССР от врагов народа, что патриот Российской империи Мамма Иммаев пошел добровольцем в не добитую им когда-то Красную Армию и честно отвоевал рядовым пехотинцем все четыре года. Посчитав, что заодно он отвоевал себе право на продолжение рода, ротмистр-пехотинец в пятьдесят лет женился и нарек своего первенца Ибрагимом, рассчитывая, видимо, восстановить таким образом все Ибрагимово колено.

Младенец рос в строгости, граничившей с аскетизмом: свинину в доме не ели, а бараниной и говядиной, как, впрочем, и свининой, магазины не торговали. От злоупотребления конно-пшенной диетой мальчик по вертикали не шел, но по уму и горизонтали оказался на высоте. Об этом свидетельствует следующее Ибрагимово изречение: «Меня легче перепрыгнуть, чем обойти!».

Овладев по настоянию отца почти кубачинской специальностью зубного техника по золотым коронкам, Ибрагим облысел, вставил себе из сэкономленного материала сверкающие протезы из драгметалла и жил весело и безбедно, сознательно шокируя население среднерусской равнины своей экзотической внешностью.

Но тут его позвала Родина-мать!

Повестка в армию озадачила Ибрагима чисто технически: в кавалерию он пойти не мог — не уродился еще конь, который вынес бы на своем хребте такого батыра, и не вырыт еще был такой окоп, в который поместился бы столь справный пехотинец! Кроме того, на бесшабашное дезертирство, на котором с угрозой членовредительства горским кинжалом настаивал военный пенсионер папа Мамма, достойный сын дважды патриота пойти

не мог, так как генетически потомственный ювелир и зубной техник боялся любой, даже условной уголовной ответственности.

Поэтому в кругу близких друзей призывника было решено засунуть последнего в мединститут, ибо от зубного техника до врача один шаг, а от врача до службы в армии — сто километров! Однако на этом безусловно верном пути стояла одна, но существенная преграда. Поступить в местный медицинский вуз без взятки было практически невозможно даже отпрыскам коренной национальности, а документальному басурману Ибрагиму Маммаевичу Иммаеву куда уж там!

Надо сказать, что образовательный уровень нашего абитуриента был на недосягаемой для школьника высоте, о чем знать не ведала экзаменационная комиссия. Но материальное в этом учреждении уже давно было выше духовного. И в ближнем кругу был разработан и принят как руководство к действию тайный план «Стратегия и тактика бесплатного поступления черножопого гражданина СССР Иммаева И. М. в самый блатной вуз. Шифр — «Иммаево побоище»».

Стратегия и тактика состояли в том, что Ибрагим на время вступительных экзаменов перестает бриться и мыться, извлекает изо рта свою вызывающую челюсть и начинает шамкать до полной потери речи. Проделывается все это для того, чтобы не только произвести отвратное впечатление на чистоплюев из экзаменационной комиссии, но и для юридического права давать письменные показания на их устные вопросы. Ни вопросов, ни ответов умственно продвинутый лжегорец Ибрагим не боялся по определению. И побоище удалось на славу!

Конфиденциальные источники из стана врага доносили о воцарившемся там смятении и о рождении в генштабе мздоимцев подлого плана завалить наглого и вонючего горного козла на письменном экзамене по русскому языку и литературе.

Надо сказать, что экзамен этот был специиально придуман для окончательного установления проходного балла. И являлся той самой волшебной палкой, с помощью которой изгонялись злостные неплательщики взяток всех времен и народов.

Специалисты-проверялы не только тщательно подчеркивали и считали орфографические и пунктуационные ошибки, но в случае необходимости не задумываясь переправляли букву «о» письменную на «а» и ставили лишние запятые в середине слитного слова. Но на хитрую мускулис глятеус есть пенис с винтом!

Телеграфную ленту Бодо ни Министерство связи, ни тем более Министерство высшего и специального образования не отменяли. И поэтому стратегами и тактиками было приказано

Маммаеву отродью писать сочинение на свободную тему печатными буквами от руки в телеграфном стиле!

Ибрагим выбрал из предложенного подходящий вариант — «Я буду стараться свободно и смело, правдиво и честно Отчизне служить!» (по стихотворениям советских писателей).

Он начал цитатой из «Марша энтузиастов»: КВЧ МЫ РОЖДЕНЫ ЗПТ ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ ВСК КВЧ. И закончил строками Маяковского: КВЧ Я ЗНАЮ ЗПТ ГОРОД БУДЕТ ЗПТ Я ЗНАЮ ЗПТ САДУ ЦВЕСТЬ ЗПТ КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ЕСТЬ ВСК КВЧ

Конфиденциальный источник из стана врага в непотребном состоянии алкогольного психоза ржал, как полковая лошадь из Дикой дивизии, валяясь рядом с праздничным стойлом. И взахлеб с водкой рассказывал нам о том, что происходило в приемной комиссии.

В телеграфном стиле это выглядело так. Срочно вызванные по поводу правописательного криминала представители МВД, КГБ, спецпсихбольницы и прокуратуры ничем не смогли помочь вляпавшемуся в Маммаево семя начальству мединститута, и неплательщик редкой кавказской национальности получил первую в истории неправедных вступительных экзаменов в этот вуз «пятерку»!

На первую лекцию студент Ибрагим явился чисто одетым, чисто вымытым, чисто выбритым, добродушно сияя отполированными золотыми зубами.

Зло не было наказано, но справедливость восторжествовала!

МЕМУАР

Григорий Иванович Коновалов был известным советским писателем. То есть его книги массовыми тиражами издавались для советских читателей ГДР, Болгарии, Румынии, Албании и даже Монгольской и Китайской Народных Республик.

Мужиком он был видным, широким и открытым на нескольких первых страницах своей биографии, где было и происхождение из славных оренбургских казаков, и служба на Северном флоте, и партработа в ЦК ВКП(б), включая многочисленные застолья с великими мира того.

Зятю его, моему не разлей вода дружку Дяде-Ваде, время от времени давалось семейное поручение последить за тестем в те критические дни, когда Григорий Иванович «гулял» или, как бы сказали в наше толерантное время, «расслаблялся». Гулял он не опасно, но шумно, но именно шума и боялись чуткие считатели авторских листов его произведений — члены семьи.

Так что уводил Дядя-Вадя прозаика искусств и поэта жизни из кабаков всегда вовремя, до срывания скатертей и битья окон. По хорошей погоде практиковалась длительная прогулка под пиво до дому, до хаты, а в неважную приходилось использовать перевалочные пункты. В частности, места проживания сокурсников Дяди-Вади, где по неуемности и бедности в ночь уже не оставалось никакого зелья, а поболтать с молодежью числилось в страстях стареющего литератора.

Так Григорий Иванович и попал ко мне домой.

С точки зрения поводилыцика, попал он неудачно, а с точки зрения ведомого медведя — удачно и даже крайне. Потому что, как вы догадались, мы пили, к радости писателя, изъятого из процесса поглощения пойла, водку со товарищем, Левой Циркулем — человеком уникальной природной акустики: когда Лева смеялся, дрожали стекла, и посуда со стола съезжала, как на сеансе телекинеза.

Мы поздоровались, в соответствии с правилами общения великого писателя с простым народом, троекратными поцелуями взасос и богатырскими объятиями и тотчас приступили к трапезе. Слово за слово, но подошло время поучительного мемуара. Все по тем же правилам хождения наверх из самых посконных низов Григорий Иванович (блестяще владевший русским языком как письменно, так и устно!) окал, акал и якал, дуракуя безбожно:

— Ну, Володька да Левка, да и тябе, Вадька, послушать не мяшаит, скажу-ка я вам, как чятал я свой первой рассказ на сяминаре у Бабеля Исака Мануилыча, учителя своево, по навету

злодейки убиенного. Ну, взялси я только чятать, открывается дверь, и заходит Паустовскай, Кинстинтин Гиоргич!

Исак Мануилыч мне: «Ну, Хриша, извяни, Кинстинтин Гиоргич пришел. Начни-ка ты чятать заново». Ну, взялси я только чятать, отворяется дверь, и входит Та-алстой, Ляксей Николаич! Исак Мануилыч руками розводит и ховорит: «Ну, Хриша, извяни, Ляксей Николаич пришел, придетси тябе, голуба, снова начать!»

Сидим мы, между прочим, с поднятыми стаканами, Дядя-Вадя уменьшению частоты радуется, а мы с Левой не очень — нам по молодости процесс прерывать было не с руки.

— Ну, взялси я снова чятать, открывается дверь, и входит…

Тут я в манере повествователя как продолжу:

— Та-алстой, Лев Николаич!

А Лева как засмеялся, а окна как задрожали, а посуда как со стола посыпалась, а Дядя-Вадя как остекленел, а Григорий Иванович как вскинулся, да как заорал:

— Да ну тя, Володька, в пязду!

На эти черные слова в одной ночной рубашке из спальни выскочила моя маменька, женщина солидная и интеллигентная, ручки на большой груди сложила, глазки закатила и говорит:

— Ну, от вас-то, Григорий Иванович, я этого не ожидала! А еще советский писатель! Я вас, между прочим, на ночь читала!

А Григорий Иванович, казак, моряк и народный артист разговорного жанра, бух перед маменькой на колени, и как заорет тем же поставленным голосом:

— Про-ости, матушка, про-ости, родненькая! Бес мяня попутал, шо твой Володька шибчей мяня, писателя рускава, сказы сочиняить. В тябя он, матушка, в тябя весь! Зазавидовал яму я черной завистью и изругалси мерзопакостно! Отпусти уж мне, миленькая, грех мой поддай!

Конечно, для маменьки сынка похвалить на ночь надежней снотворной советской прозы. Умиротворилась она преподанным объяснением и спать пошла.

А мы дружно подняли стаканы в честь нами нечятаемого, но почятаемого главного инженера чялавечяских душ.

ЧА-ЧА-ЧА, ЧАЧА!

Сели Дядю-Вадю описывать в терминах конца прошлого века, хватило бы всего двух слов через черточку — секс-символ. А во времена нашей молодости требовалась расшифровка в духе кинофильма «Кавказская пленница»: спортсмен, отличник, комсомолец, красавец, и главное — владелец личного автомобиля, гордости совкового дизайна дожигулевской эры, голубого, как самые распространенные женские рейтузы, «москвича-412». Этот высокоскоростной пердун был свадебным подарком зятю от богатого тестя — живого классика Григория Коновалова в придачу к дочери Тане, спортсменке, отличнице, комсомолке, и, главное, красавице. Отблагодарить щедрого дарителя неторопливый Дядя-Вадя удосужился годам уже к тридцати, народив внучку-любимицу. До того красавцам было не до этого — отличники ковали научное счастье, кончая аспирантуры и защищая диссертации. Рождение наследницы трех ученых и одного писателя (теща тоже была доцентом) чудесным образом совпало с появлением очередной наследницы двух беспоместных инженеров — меня и моей жены.

Собственно, ничего странного в этом совпадении не было. Ровно девять месяцев назад, летом предыдущего года, на голубом пердуне мы достигли берегов ныне почти зарубежного Чудского озера, где в короткие белые ночи кроме совместных питий и объятий и делать-то было нечего.

Добирались мы до мест соития тяжело, прорываясь в недружественную Прибалтику из Восточной Пруссии через Калининградскую область по сильно пересеченной автобанами местности без единого дорожного указателя и инспектора. И хотя последнее обстоятельство позволяло принимать из бездонных походных фляжек легкие алкогольные напитки, не отходя от штурвала, проблема ориентирования на местности без компаса и астролябии напрягала путешественников. Ужас, от которого мы бежали, был нагляден и антипатриотичен: полуразрушенный Кенигсберг и полузастроенный Калининград вкупе оказался настоящим Говнополисом, загаженным безродными новоселами квадратно-гнездовым способом. И даже на сохраненной теоретиками и практиками марксизма в неприкосновенности надгробной плите Иммануила Канта, предтечи бессмертного учения, прямо на надписи лежала огромная куча свежего человеческого дерьма. К месту вспомнился (довольно приблизительно) стишок Н. А. Некрасова:

Прямо в центре Кенигсберга

Очутились мы в стране,

Где не знают Гутенберга

И находят вкус в говне…

Официальная карта автомобильных дорог, донельзя зачищенная цензорами из Министерства обороны, явно опасавшимися реванша и превращения недавно колонизированных земель в поля танковых сражений, еще более путала штурмана и пилота. Так, форсировав в предутренних сумерках, как нам хотелось, Западную Двину, мы оказались на красивом каменном мосту лицом к старому немецкому городу.

— Тильзит! — воскликнул радостно Дядя-Вадя, проходивший в школе «Войну и мир» и, как заядлый отличник, помнивший о месте легендарной встречи на середине реки Неман императора Наполеона Бонапарта с царем Александром Павловичем. — Как он теперь по-нашему, Вова?

— Советск, — перевел я историческое название на калининградский язык.

— Вот-вот, я сейчас вон у того алкаша с авоськой и спрошу, как нам на Литву дернуть, — потирая запотевшие от счастья ладони, возопил антипатриот и побежал к одинокому и беззащитному оборванцу.

Мы с дамами замерли в ожидании показательного сеанса психотерапии. Надо было знать неизбывную силу внутреннего убеждения молодого доцента: он легко мог поверить в любую чепуховину, если хотя бы ненадолго вбил ее в свою голову. Похмельный мужик сказал нервно-возбужденному собеседнику, что это — не Советск, а Черняховск, город, неизвестный нам по обратному переводу с калининградского. Дядя-Вадя начал орать и тыкать в невинного гида распахнутым атласом дорог: какой на хер Черняховск, Советск это, твою мать. Под бешеным напором похмелюга начал тихо сдавать позиции, а мы с наблюдательными дамами зашлись в истерическом хохоте: докладчик стоял спиной к чудному средневековому строению, на котором большими цементными буквами было изваяно: «ЧЕРНЯХОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»!

В Литву мы попали тем же днем, но позже, передвигаясь по солнцу вдоль по речонке, которая действительно оказалась нужной Двиной с когда-то пограничным городом Советском-

Тильзитом.

Так что не только к моменту зачатия, но и к моменту рождения у нас с разнояйцовым отцом-близнецом был некий положительный опыт длительных автомобильных путешествий.

Был месяц май, солнышко уже вовсю светило даже в наших средних широтах. Жены увлеченно, в четыре сиськи без разбору, выкармливали новорожденных. Мы в этом процессе, естественно, не участвовали и думали о других процессах, столь же естественных.

— Давай махнем дней на десять на юга, бабы заняты, им не до нас, а такой возможности отвалить и расслабиться у нас, может, никогда и не будет. Погода-то какая! — вбивал себе и мне в голову Дядя-Вадя.

Не соглашаться было бессмысленно — «баб» Дядя-Вадя уже уломал, позвонил в Пицунду своей знакомой администраторше санатория ЦК КПСС (Дядя-Вадя когда-то отдыхал в нем семейно по блатной путевке Союза писателей), получил ответ, что мест, конечно, нет, но приезжайте, что-нибудь придумаем. Мы оседлали конька-пердунка и налегке помчались в поисках приключений. И мы их получили.

Мест в пансионате действительно не было — он весь был отдан Минсельхозу для восстановления здоровья тружеников полей, коровников и свинарников, имеющих правительственные награды не меньше, чем «Мать-героиня». Аграрии без продыху пили, не выходя из небоскреба, и окружающая местность казалась безлюдным черным паром. Обещанным апартаментом служила сводчатая беленая келья о двух железных койках в старинном монастыре, видимо, не православном, так как в храме работал орган, ежевечерне развлекая немногочисленных диких отдыхающих гастролями видных советско-грузинских мастеров этого редкого по громкости жанра. Орган располагался точно за стеной нашего застенка. Церковь была преобразована в административно-служебную часть пансионата и находилась от него в паре километров. Войти и выйти из кельи полагалось только по предъявлении спецудостоверения. Но войти-то еще было можно, а выйти точно нельзя — в Пицунде свирепствовал сезон дождей. И каких — ливнево-грозовых и не прекращающихся ни на час! (Замечу в скобках, что об этом наперед знали обе брошенные мамаши, заранее радуясь заслуженной каре, ниспосланной свыше на двух обнаглевших блудливых козлов!)

Трое суток под музыку Иоганна Себастьяна Баха (гастролеры еще и усиленно репетировали целыми днями) мы питались саратовской тушенкой с сухарями, а на четвертый не выдержали и на волшебном голубом коньке через служебный въезд по

кельинским удостоверениям припарковались к небоскребу «Пицунда». После чего, почти сухими, поднялись на скоростном лифте в бар-ресторан «Двенадцатый этаж», где, заказав наконец-то горячее, приступили к горячительному.

Кабак был переполнен немытыми и нестрижеными аграриями и аграрками, все в мужских пиджаках с иконостасами, с казачьими песнями и половецкими плясками одновременно.

Стайка местных носатых коршунов вилась над соседним столиком, настойчиво вызывая на танец миниатюрную белокурую бестию по имени Алевтина. Бестию можно было смело назвать красавицей не только в сравнении с подвыпившими аграрками, но и с сидящей с ней за одним столом золотозубой подругой в перманенте, которую коршуны явно игнорировали. Третьим с ними был очень скромно одетый абориген, который сразу представился нам как учитель местной школы грузин Георгий. Он пояснил, что в целях законного дополнительного обогащения сдает комнату приезжим отдыхающим, которых по договору ему поставляет местное турбюро. Девицы — его постоялицы — завтра уезжают домой, в город химиков Дзержинск Горьковской области, где обе работают воспитательницами в детсаде. Эти милые дамы попросили хозяина сопроводить их в ресторан за счет приглашающих, причем непременно в этот, чтобы правдиво рассказать мамашам многочисленных воспитанников, как они отдыхали в пансионате самого ЦК КПСС.

На наших глазах красотка выдула бутылку шампанского под шоколадку и, не обращая внимания на увещевания грузина, вступила в перепалку с приставшими к ней молодыми абхазцами. Кульминацией была следующая реприза смелой дзержинки:

— Пошли на хрен, я даже группового изнасилования не боюсь!

Окрыленные вдруг открывшимися смягчающими обстоятельствами задуманного преступления коршуны срочно удалились на совещание в туалет, а учитель Георгий бросился перед нами на колени, умоляя о спасении по линии дачи неминуемых свидетельских показаний:

— Бежим отсюда, девушка совсем пьяная, скандал будет! Помогите, ради Бога!

Благородно пойдя навстречу, мы сунули под вазочку пропитые деньги и, взяв под мышку Златозубку и в охапку Белоголовку, кинулись вслед учителю к лифту. Спустившись на первый этаж и предусмотрительно сунув банкетку из вестибюля между дверями лифта, для его, хотя бы и временной, блокировки, мы впятером выбежали под дождь. Учитель под сенью дерев

пролагал путь, Дядя-Вадя тащил за руку Златозубку, а я чуток подотстал — дополнительных сорок кило хоть и небольшой, но вес!

Вдруг бестия, всю дистанцию отчаянно дрыгавшая ногами и руками в моей охапке, обмякла:

— Дяденька, я хочу сикать, подержи меня, дяденька дорогой, а то я в лужу сяду в новом платье!

Отказать всклинь налитой шампанским малютке я не смог. Алевтина задрала узкое по тогдашней моде платье до пояса, трусов, слава Богу, на ней не было, я со спины взял ее под ноги, присел на корточки и как малого дитятю стал псыкать. Шампанское лилось рекою по безлюдной набережной, я беззаботно следил за опасно длящимся процессом сверху вниз, а не снизу ввысь. А наверху, с лоджии четвертого этажа, за нами внимательно наблюдала женская половина делегации Курской области.

— Куряне! Черный прям на парапете нашу девку, как козу, дрючит! Охолоните гада, мужики!

Будучи брюнетом и уловив возросшую долю ответственности по линии дружбы народов, я побежал к уже заведенной машине с голожопой Алевтиной наперевес и бухнул ее, уже сладко спящую, на заднее сиденье на колени грузину. Георгий был учителем русского языка, а не анатомии, и, потеряв сознание и половину дара речи от воочию увиденного срама, до самого своего дома верещал только на грузинском, жестами изредка показывая, куда ехать.

В половине шестого утра нас вызвали на проходную храма. Трясущийся Георгий восстановленным за ночь русским языком запричитал:

— Ребята, бараны вас вычислили, кричат — дэвушку умыкнули, рэзать будем! Уезжайте побыстрее, я их знаю — это мои выпускники, у всех одни тройки, дураки законченные.

За час мы собрались, расплатились и тронулись в дорогу по намеченному еще в первый день маршруту — к отцу Дяди-Вадиной администраторши в горный чайно-мандариновый аул без названия, в котором все знают Бахуса Сулеймановича и его жену Валентину Ивановну. Непрекращающийся дождь смывал все следы.

К обеду то ли мы поднялись выше туч, то ли Господь милостивый оценил наше пицундское благородство, но дождь кончился, и засияло солнышко. В аул мы въехали сухими из воды. Уважаемый аксакал Бахус Сулейманович оказался жилистым пенсионером лет пятидесяти, нигде по этой причине не работающим и лет тридцать бывшим законным супругом исконно

воронежской крестьянки Вали, заслуженного чаевода Абхазии и Героя Социалистического Труда. Родина повсеместно чтила своих Героев и награждала их в безымянных аулах неучтенными мандариновыми плантациями. Поэтому добротный двухэтажный дом сторожа собственной цитрусовой рощи был полной чашей, в чем мы незамедлительно убедились.

После протокольных приветствий и воспоминаний (Дядя-Вадя, оказывается, здесь уже бывал с красавицей-супругой) нас пригласили за пятиметровый стол, накрытый на свежем воздухе с невиданным для меня размахом: на белоснежной скатерти было все — от овощей и фруктов до рыбы и мяса. Для сторублевого инженера из вечно голодающего Поволжья эта невидаль казалась скатертью-самобранкой!

Выпивка была двух сортов — домашнее красное виноградное вино и домашнее белое виноградное вино в неограниченном количестве. Оба напитка имели названия: первая разновидность была просто «вином», а вторую нежно величали «чачей». Опытный в межнациональных отношениях Дядя-Вадя выбрал первую, а я, старый водочник и дурак, вторую. Трапеза продолжалась неопределенное время, так как я абсолютно не помню, как и когда она закончилась, — чачу нельзя пить как водку, а возможно, просто нельзя пить. По крайней мере, мне.

Проснулся я по Алевтининой причине — ну просто невмочь! Но, открыв глаза, ничего не увидел. Я попробовал пальцами раздвинуть их шире, но кардинальных изменений не последовало. Как говорят китайцы, оказался черной кошкой в черной комнате.

— Дяденька-Ваденька, — заскулил я, — где это мы?

Ответа не последовало. Я встал с кровати (если это была кровать?) и, сделав несколько шагов, уперся в стену. Как выходить из лабиринта, я знал по занимательным книжкам Перельмана: следует, не отрываясь от стенки, двигаться в одну сторону. Первым нашлось закрытое окно, в котором была все та же беспросветная темень. Вторым тоже оказалось окно. Силы были на исходе, комнат, в которых было больше двух окон, я сроду не видал, и уже со спущенными штанами нащупал ожидаемый дверной проем. Но, ужас, это опять было окно! Со слезами на глазах я распахнул его, и мощная струя через пять минут вернула меня к жизни. Обессиленный организм требовал немедленно вернуться ко сну, я повалился на пол и провалился в тартарары.

Пробуждение наступило не сразу, а после непродолжительного катания моего тела по полу ногами Дяди-Вади с поливанием головы из кувшина. Я лежал под третьим

окном огромной четырех(!)оконной комнаты и первое, что понял: до двери при движении по стенке было еще метров сорок.

— Живут же люди, — виновато ответил я на длинную матерную тираду о вреде алкоголизма из уст умытого и побритого Дяди-Вади.

— Иди по лестнице вниз и сразу направо в машину. Мы уезжаем, — зло произнес катала-поливала.

— Почему, а завтрак? — взмолился я.

— Останешься без завтрака, сволочь. Ты наказан! — поставленным голосом бывшего пионервожатого пролаял гражданин начальник. — Быстро!

Качаясь полевой былинкой из стороны в сторону, я с трудом выполнил приказ, и уже через минуту мы мчались по горной тропе. В машине Дядя-Вадя молча протянул мне на заднее сиденье бутылку воды, я жадно ее выпил и тотчас снова провалился в тяжелый пьяный сон.

Проснулся я уже вечером и на равнине. Все еще злой пердуновод выдал мне кружку кефира с булкой и кратко изложил валунам на обочине состав моего преступления. В лицо мне он не смотрел, ему оно было противно. Опуская ненормативную лексику обвинительного заключения, суть содеянного была такова.

Застолье удалось на славу: десяток аксакалов, видя такого мастера выпивки, как я, видимо, впервые, при хвастливом трепе с моей стороны о том, что я, пока не отстреляю двух кувшинов такой замечательной чачи, не уйду с поля боя, причем сам, начали заключать меж собой пари, что самогон свалит меня и половиной кувшина, ну, кувшином, ну, полутора кувшинами, но никак не двумя.

Дядя-Вадя якобы уговаривал прекратить состязание, оберегая мое здоровье, но аксакалы спорили не просто так, а на мешки мандаринов, и вошли в раж. Соревнование я выиграл, уже не ворочая языком, но нокаутом, и если бы не ночной пассаж в окно, то мы бы обеспечили дефицитными витаминами не только своих новорожденных, но и всех их одногодок в городе Саратове. Победителя торжественно отправили в четырехоконную хозяйскую почивальню, проигравшие старики из вежливости продолжили на пару часов застолье, восхваляя такого невиданного героя, и разошлись с довольным цоканьем.

А хозяева постелили себе постель во дворе и легли спать точно под тем окном, откуда я вел прицельный огонь из водомета. Горная абхазская ночь всегда славилась своей темнотой, и Герой Труда Валентина Ивановна никак не могла убедить сильно принявшего участие в состязании Бахуса

Сулеймановича, что на них льет не дождь, а что-то иное. Что и рассекретила на ушко старому другу Дяде-Ваде поутру. Его решение возникшей проблемы нам с вами уже известно.

Простил меня дружок мой сердешный только через три дня, после того как я спас жизнь его любимой таратайки. С ходу осилив Рикотский перевал, мы спустились по Военно-Грузинской дороге в долину воспетой многими поэтами реки Терек, где и остановились на ночевку. Воспевать этот ручей, каким мы его увидели, по силам только фантастическому таланту, — мы встали у самого берега: до другого берега был метр в самом широком месте. Разогрев тушенку и выпив чаю (Дядя-Вадя мстил мне трезвым образом жизни), мы разложили сиденья, влезли в спальные мешки, накинули на спину семидесятисильного конька брезент от слепящих утренних лучей солнца и завалились спать.

Когда я трезв, то, в отличие от Дяди-Вади, сплю очень чутко, и меня разбудил некий странный, дотоле неизвестный мне шум. Я открыл оконце, отодвинул тряпку и увидел…

Что я увидел! Раскидывая во все стороны камни, ручей заполнял бурный горный поток. Пологий «бережок» был руслом этой дикой реки, и наша машина уже на полколеса была в воде!

В секунду я разбудил Дядю-Вадю, сорвал с него спальник и усадил с еще полузакрытыми глазами за руль. Сам же отважно нырнул в бурлящую воду для толкания нашей амфибии сзади. Рев мотора слился с ревом водителя, и эти сто сорок лошадиных сил плюс одна нечеловеческая, моя, вынесли нас на сухое еще место, где я вспрыгнул на ходу в машину, и мы на неподнятых сиденьях умчались от неминуемой гибели.

Я был вдвойне доволен: спас от безотцовщины нежных малюток и был навеки прощен своим суровым другом за неумение пить чачу.

КОМЭСК СОРОКИН

Заместитель секретаря партийного комитета Саратовского университета Юрий Иванович Денисов был настоящим русским барином — русоволосым, толстомордым и добродушным алкоголиком. Барином он был наследственным по отцовской линии: папаша до самой своей смерти от пьянства служил партии и народу в должности первого секретаря горкома. В доме делами партячейки общества управляла мама Юрия Ивановича, добрая женщина, барыня по мужу, а не призванию. Юрий Иванович был баловнем судьбы, но во лбу его не насчитывалось семи пядей; он знал об этом и, надувая щеки на публике, с друзьями был самим собой — открытым и безудержным пьяницей. В партком он попал не случайно — руководство университета просто не нашло столь хорошему человеку такого происхождения и с совершенно лишним дипломом общего физика другого достойного места.

Но генетическая номенклатурность давала о себе знать и в застолье: предупреждая треволнения маменьки от задержки «на работе» (а пьянствовали, как правило, в самом безопасном месте — в парткоме), он всегда звонил ей по телефону:

— Мама, Юрий Иванович беспокоит. Не волнуйтесь. Я на работе!

Примерно четыре звонка до двух часов ночи. Маменька не удивлялась — при Сталине папенька «работал» до шести утра.

Юрий Иванович любил себя, друзей и народ с молодости, когда у него была полуторная бобровая шуба, а многочисленные дворники с рассвета убирали снег с тротуаров в огромные придорожные сугробы. Причем за зиму стены этих пешеходных траншей достигали двухметровой высоты. Пьяненький юноша Юрий Иванович, входя под утро в зону действия знакомых дворников, распахивал жаркую шубу, ложился в белоснежный сугроб и тонким отчетливым голосом взывал:

— Люди, отнесите меня домой. Маменька заплатит!

И несли! Взявшись вчетвером за углы шубы. И получали свой целковый!

Я был примерно на шесть-семь лет моложе Юрия Ивановича, но знал его еще по школе, а как выяснилось впоследствии, в русском пьянстве не было и нет возрастной дискриминации. Познакомился близко я с Юрием Ивановичем по его второй, смежной с пьянством, специальности — партийной работе.

История нашего знакомства такова.

Я рос в замечательной семье «советских технических интеллигентов», которые были слугами народа и жили как слуги,

соответственно категории, в заводской коммунальной квартире. Москвичи, эвакуированные в Саратов в начале войны, родители двадцать лет сидели на чемоданах в двух комнатах с пронумерованной управдомом Ван Ванычем мебелью и, как три сестры, мечтали о столице. Где, между прочим, за ними сохранялась «забронированная служебная жилплощадь» в виде пятнадцатиметровой комнаты на Автозаводской. Отец, как бы сейчас сказали, крупный хозяйственник, был замдиректора по науке и производству большого оборонного завода и, как и сам директор, бодро и с огоньком воплощал и перевоплощал все идиотские решения любимой партии и родного правительства.

В результате должность потерял, перевоплотился в другую, с нее был снят, из партии исключен, а комнату в Москве «разбронировали» (то есть отобрали). Но в этой пиковой ситуации, как ни странно, был награжден приглашением в крупный подмосковный НИИ главным конструктором (кем он и был от Бога) с предоставлением жилплощади в виде отдельной трехкомнатной квартиры площадью тридцать шесть квадратных метров в лесном поселке Лоза.

Если вы думаете, что название происходит от некоего неизвестного вам вида лесного винограда, то вы заблуждаетесь. «Лоза» — это аббревиатура: «лаборатория опытного завода». Туда родители и уехали с семьей моего старшего брата.

Мне было двадцать лет, я был студентом третьего курса, уже достаточно подышал хрущевской оттепелью под капель собственной молодости, и шанс пожить без родителей, да что там в коммуналке — в общежитии! — я не упустил.

Однако в деле было одно отягощающее обстоятельство — няня Саня.

Няня Саня Перфилова — горбатая мордовская девушка шестидесяти лет от роду — почти три десятилетия добросовестно служила в нашей семье домработницей. Жила она все эти годы у нас, другого жилья у нее никогда не было, и в условиях проживания в двух комнатах папы с мамой, меня, брата с женой и ребенком в квартире с соседями ей всегда находилось место равноправного члена семьи.

Правда, в некоторых вопросах она была даже чуть-чуть равноправней — дети ее видели намного чаще родителей, и мама ревновала. Обиды, однако, всегда кончались одинаково. Мама делала из нижней губы сковородник и горько говорила: «Шура, если на вашем месте была бы другая женщина, то ее бы уже не было!»

Так вот, няню Саню в Лозе НЕ ПРОПИСЫВАЛИ!

Прописка! В нашем милицейском государстве она до сих пор

заменяет всенародную дактилоскопию. Когда горячо любимой советской властью я был на всякий случай препровожден в места не столь отдаленные в виде тюремного изолятора, я осознал всю унизительность этой процедуры. Дело в том, что родимые остроги являются точной математической моделью всей советской системы, где вещи называют своими именами. И битье оловянными ложками голой жопы новоприбывшего молодого по возрасту арестанта называется — «прописка»!

Что делать? Вслед за великими предтечами Николаем Гавриловичем и Владимиром Ильичом я задавался этим сакраментальным вопросом и не нашел ничего умнее, как подать в районный суд гражданский иск на секретный оборонный завод о нарушении конституционного права на жилище.

Тираны мира, трепещите, а ты, Европейский суд по правам человека, молчи в тряпочку! Я подмял под себя этот районный ареопаг!

Ну-ну, многочлены Хельсинкской группы, утрите слезы умиления и не ходите сдаваться в ГБ. Через неделю суд областной отменил благородное определение первой инстанции, исходя из тех же весомых аргументов.

Но тут явился карающий меч в образе ржавой шашки комэска Сорокина!

Зайдя однажды в разоряемый секретным заводом отчий дом, я застал картиночку, достойную пера! За обеденным столом, застеленным белоснежной парадной скатертью, перед бутылью портвейна «Кавказ» под закусочку сидел малюсенький дряхлый орел в слинявшей до дыр гимнастерке с орденом Красного Знамени на птичьей груди. Он непрерывно верещал на каком-то каркающем (впоследствии оказавшемся командирским) языке, а непьющая старая девушка, зардевшись от счастья, влюбленно глядела в его пуговичные глаза!

Это был комэск Сорокин!

Уроженец села Стемас Симбирской губернии Ваня Сорокин, деревенский шалопай, сбежал от надвигающейся вместе с пузом невесты женитьбы в скакавшую мимо Чапаевскую дивизию, где сделал головокружительную карьеру. Когда легендарный комдив нырнул в бессмертные анекдоты, Ваня уже командовал эскадроном (то есть был комэском) и состоял кандидатом в члены Российской Коммунистической партии (большевиков). Правда, это был пик Коммунизма его равнинного социального статуса.

Нынче поутру боевой пенсионер встретил на рынке свою горбатенькую землячку Шурку, узнал ее, был узнан взаимно, что не удивительно — я никогда не встречал (кроме как на картинках к сказкам Андерсена) такого игрушечного солдатика.

Не упустив возможности прильнуть к бьющему ключом первоисточнику идиотизма истории Родины, я сбегал еще за двумя «огнетушителями». Через час мы были с комэском старыми боевыми друзьями.

Конечно, няня Саня уже поведала Ванечке все свои несчастья, и комэск, не выбирая выражений, честил троцкистов, продавших интересы простого народа за американские портки джинсы. Я поддержал боевого друга и предложил кровью написать письмо лично наркому юстиции Крыленке (правда, уже покойному), но так же, как и я, боевому другу комэска. В абстрактном гуманистическом порыве я заменил чернила революции на красную тушь. Чушь, надиктованную мною, комэск подписал четырехзначным номером своего партбилета, и я тотчас отправил эту белиберду заказным письмом в Верховный суд СССР.

Пока я, как живого оловянного солдатика, водил комэска по местам своей боевой славы — многочисленным пивным и рюмочным, — революционная целесообразность вновь победила правосудие, и мы получили ответ на наш кровный донос. В общем, законное решение облсуда было отменено, а оборонному заводу было окончательно и бесповоротно приказано предоставить жилплощадь по норме со всеми удобствами «заслуженному ветерану партии (?!) и труда рабочей Перфиловой Александре Степановне».

Так комэском Сорокиным был нанесен предпоследний решительный удар по всем фомам, не верующим в направляющую и руководящую роль Коммунистической партии большевиков!

Для нанесения последнего удара комэск замахнулся на святое.

— Володька, — прокаркал он мне, сидя за портвейном с селедочкой на новоселье у заслуженного ветерана няни Сани, — а чего тебе в партию не податься?

— Ты что, ополоумел, дядя Ваня? Во-первых, меня туда никто не возьмет, а во-вторых, ты же сам говоришь, что там одни говнюки и приспособленцы.

— Троцкистско-зиновьевская банда двурушников, — уточнил дядя Ваня. — Тылы их надо громить, тылы и штабы! Вот ты и пойдешь в самый гадюшник по моему личному заданию в разведку боем как проверенный беспартийный товарищ. Я тебе такую рекомендацию дам, что эти бухаринцы и рыковцы перед тобой в струнку вытянутся!

Уникальная перспектива вытягивания передо мной в струнку партайгеноссенов захватила меня не на шутку. Ведь дядя Ваня не озоровал — рекомендация старого большевика приравнивалась в этом партдурдоме к рекомендации обкома партии! Вот с этой

самой индульгенцией я и явился на прием к камераду Юрию Ивановичу.

Комэск в защитной гимнастерке в это время окончательно сводил с ума в предбаннике уже с первой минуты потерявшую рассудок секретаршу, на деле просто прикрывая плановый прорыв авангарда.

Я изложил свой ультиматум по незамедлительному членству в КПСС с предельной четкостью, держа в вытянутой руке сорокинский мандат, как Ленин — кепчонку.

Погрязший в трехмерном пространстве «ум, честь и совесть нашей эпохи» партийный физик явно недооценил четвертую координату комэска и, исходя из аксиомы, что я — известный баламут, покрутил пальцем у виска и выслал меня на три буквы. Я повторил свои требования громко, так, чтобы услышал в засаде комэск.

И он ворвался! Для полной иллюзии победной кавалерийской атаки не хватало только вороного коня. Что творил дядя Ваня, описать в рамках нормативной лексики невозможно. Это была фанфарная музыка боя!

Забитый холодным оружием матерного слова партийный интеллигент Юрий Иванович стал терять сознание прямо на рабочем месте. Одной рукой легко удерживая маленького комэска, другой я вытащил из-за пазухи бутылку водки и истошно возопил:

— Юра! — Я первый и последний раз назвал Юрия Ивановича забытым именем его детства. — Юрий Иванович! Это шутка! Я не хочу в партию! Я просто хотел тебя познакомить с настоящим, живым героем Гражданской войны! И выпить за перекличку поколений!

Дальше все было хорошо. А потом все герои повествования, кроме меня, умерли. Комэск Сорокин и няня Саня от старости и болезней, а Юрий Иванович — в расцвете лет. Его ослабленное алкоголем большое и доброе сердце разорвалось утром, когда он, как обычно, достал из потаенного места заначенную чекушку, трясущейся рукой перелил содержимое в стакан, залпом выпил… и упал замертво.

Любящая супруга, спасая Юрия Ивановича от беспробудного пьянства, без оповещения потребителя вылила из бутылочки водку и наполнила ее чистой водой!

Привычный мир разорвался, и трещина прошла через его сердце. К переменам Юрий Иванович не был готов.

БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ

Военная кафедра университета шесть семестров готовила из студентов — математиков и физиков — офицеров радиолокационных средств разведки наземной артиллерии. Большей профанацией я занимался, только читая пятисеместровый курс высшей математики в Энгельсском филиале Политехнического института. Клянусь Царь-пушкой, что кроме причитания «конденсатор Ц-1 заряжается, а конденсатор Ц-2 разряжается», я не усвоил за три года обучения ничего. Подозреваю, что отличники боевой и политической подготовки из моих коллег знали, что в электрической цепи происходит и с конденсатором Ц-3, но я, хоть и окончил вуз с «красным» дипломом, до таких безымянных высот наземной разведки артиллерии не доходил.

Государственному экзамену по этой трухе предшествовали месячные выездные сборы. Наш курс поехал осваивать дагестанские горы и ущелья в царских еще казармах города Буйнакска. Партийные тупонимисты, переименовавшие в эту чертовщину экзотичную Темир-Хан-Шуру, не предполагали, что веселые студенты прежде всего отправят письма с фронта мамам, указав обратный адрес: Дагестанская АССР, г. Хуйнакск, до востребования. И мамы писали по этому адресу. И мы получали их письма, телеграммы и даже почтовые денежные переводы!

Казармы действительно были царские не только по происхождению, но и по комфорту. На двухъярусных железных шконках было прохладно при сорокаградусной жаре снаружи за счет полутораметровой толщины каменных стен, непробиваемых для пушек имама Шамиля. И так хотелось в них укрыться от положенной по программе шагистики на раскаленном плацу, что мы и укрывались.

Дело это носило индивидуальный характер, связанный со степенью наглости дезертира. Болезни, не известные полковому фельдшеру Аббасу, так и косили «курсантов». Я лично страдал «деформирующим спондилезом четвертого позвонка» и страшно боялся, как бы разрушающее весь мой молодой организм заболевание не проникло в пока еще здоровый пятый. Аббас небескорыстно делал мне ежедневный массаж, норовя слегка полапать крепкую белую задницу. Я бесстыдно соглашался на это однополое извращение, будучи уверен, что за месяц не обращу легкую привычку в тяжкий порок.

Многие добровольно шли на понос, достичь которого способствовало местное арычное водоснабжение. Гарантию давал

всего один стакан некипяченой воды из крана. Для некоторых городских неженок упражнение закончилось настоящей дизентерией, но объявлять эпидемию полковые начальники не стали, изолировав десяток дристунов в карантинной брезентовой палатке, где зной и духота высушивали опасную инфекцию за сорок восемь часов.

Досуг нам скрашивали два наших ровесника срочной службы — завкаптеркой старшина Иоэль Рыбкин и и. о. командира взвода старший сержант Олег Гончаров. Отпетыми уголовниками были оба. Первый крал со склада простыни, разрезал их на полоски нужной ширины и продавал личному составу на подворотнички одноразового пользования: тридцать жарких дней умножить на сто пятьдесят потных рыл, умножить на двадцать копеек равняется девяноста целковым, что полностью совпадало с зарплатой школьного учителя химии И. Рывкина на гражданке без подоходного налога. Вдобавок старшина приторговывал из-под полы спиртными напитками — курсантам за наличные, господам офицерам — в долг. А как известно, долг платежом красен! Рывкин порхал над законом и уставом гарнизонной службы, как птица Гамаюн.

Сержант Гончаров рисковал свободой: он в открытую торговал анашой местного изготовления. Цена была более чем доступной — тридцать копеек «баш». Это ровно такое количество зеленой травки, чтобы набить полноценный «косяк» в гильзу беломорины. Так как подкуривали косяк коллективно три-четыре курсанта, то этот вид восточного досуга был весьма распространен. Специфическая сладкая вонь стояла в казарме как в китайском опиумном притоне, и беспощадному проветриванию по указанию старших офицеров не поддавалась. Тем более, что сами они гашиш частенько курили, когда им было нечем опохмелиться.

Нарядили нас в полуистлевшие солдатские гимнастерки неясного происхождения с черными суконными погонами. Тщедушный и любознательный курсант Мартышев (очки — минус шесть диоптрий), изучая от безделья свою робу, обнаружил на спине ровно напротив сердца аккуратно заштопанную дырку. После чего небезосновательно предположил, что форма снята с убитого бойцами заградотряда СМЕРШ труса или паникера. Уже изучив повадки супостата Рывкина, каждый манекен проверил личное обмундирование — и что же? Версия происхождения униформы с раскопок безымянного солдатского кладбища на фоне заштопанных дыр и сытой рожи старшины казалась достоверной. Оттуда же были, по видимости, и гнилые ремни с ржавыми пряжками. Эти ремни лопались от физического

напряжения в сортире при избавлении распухшего пуза от буйволятины с перловой кашей — нашего ежедневного обеда. Как известно, сапоги на Руси с покойников снимали, поэтому наша кирзуха, хоть и была стоптанной, оказалась сносной. Особенно в офицерских фланелевых портянках из подпольного рывкинского военторга.

И о буйволах как о еде. Вообще-то, всеядный Рыбкин, совмещавший к тому же ответственную должность начпищеблока, выдавал обеденное мясо за быкоговяжье. Действительно, если эту подошву из миски облизать или пожевать, вкус бифштекса на машинном масле можно было представить. Кусанию она не подлежала, поэтому для насыщения мы резали ее отточенными перочинными ножами на мелкие кусочки и, давясь, глотали без смазки. Эффект описан выше. На высококалорийную свинину, сетовал Рыбкин, не рассчитывайте — в полку полно мусульман, а партия уважает национальные особенности местных национальных большинств военнослужащих. Выгораживая партию, Рыбкин врал: по сходной цене просроченную хрюшечью тушенку в металлических банках он продавал в неограниченном количестве.

Я подружился с Рыбкиным как раз на национальных особенностях — Иоэль, как и я, был евреем, не скрывавшим очевидного происхождения. Чтобы быть таким евреем, вещал старшина, на гражданке надо быть Дантом, а в армии — интендантом. Или не быть евреем нигде. Должен сказать, что теория мне понравилась. Горские евреи, преподавал мне основы кавказской этнографии учитель химии, они ничем не отличаются от аварцев, даргинцев, лезгинов и лакцев, ходят с кинжалами, торгуют невестами, признают кровную месть, но обладают одной немусульманской особенностью — уважают «европейцев» (ашкеназских евреев) и даже выдают за них своих дочерей без калыма!

— Пойдем в город, — сказал Иоэль, — у меня там друг Мордехай Ханукаев, хороший парень, десять лет отсидел за убийство в драке, у него сестра на выданье, конечно уродка, но я тебя представлю как «европейского» жениха — погуляем на халяву!

Увольнительной в компании со столь значительным лицом не требовалось. Мы вышли из казармы на свободу. Через дорогу от КПП был подвальчик, куда мы спустились на минутку. В подвальчике аксакал торговал сухим вином (двадцать копеек чайник) под замечательной вывеской в стиле Пиросмани: усатый горец в черкеске и папахе грозил пальцем и говорил: «Бэз дэла нэ стоять!»

Мордехая по-уличному звали Апашка, был он росту метр с кепкой, но бугристо мышечен, из-под мохнатой шерсти на широкой груди, как из кустов чертополоха, проглядывали чеканные профили Ленина и Сталина с синей шестиконечной звездой посередине. Уродки-невесты, на жениховское счастье, в доме не оказалось, поэтому решено было смотаться на пляж. В город Махачкалу, за сорок километров серпантина от Хуйнакска. В сапогах, гимнастерке и пилотке без документов в недемилитаризованной зоне путешествовать было опасно. Иоэль держал у Апашки маркитантский схрон, из которого тотчас извлек новый трикотажный тренировочный костюм и сандалии. На меня там ничего подходящего не оказалось. Посему я к солдатским штанам с бечевками приодел сходившуюся на груди, но доходящую лишь до пупа Апашкину рубашку, а на голову от солнцепека прилепил маленькую бархатную тюбетейку с полочки в прихожей, оказавшуюся на самом деле ритуальной иудейской шапочкой — кипой. К шевелюре она крепилась стальной скрепкой. Обули меня в домашние тапки-шлепанцы «ни шагу назад» на босу ногу. Для местного городского пейзажа в этом наряде огородного пугала ничего необычного не было: жили бедно, одевались и похуже.

Через два часа пути на дребезжащем общественном тарантасе мы очутились на Каспийском побережье. Море смеялось. По пляжу бегали черномазые детишки, кучковались небритые джигиты в кепках-аэродромах и семейных трусах. По законам адата и шариата посетителей женского пола не было, кроме развеселой крашеной русской бабищи в мокром сером нижнем белье с кавалером моложе ее лет на двадцать. Увидев нас, точнее Иоэля, он обрадовался как манне небесной.

— Старшина, дай пятеру до завтра, а то, сам знаешь, поиздержался с Любашкой, вторые сутки гужу! — лучезарно обратился к Рывкину ловелас, не обращая на меня никакого внимания.

— Есть, товарищ гвардии капитан! — по-военному вытянулся интендант и вытащил из заднего кармана трико пятерку.

С воздушным поцелуем капитан Шимчук из нашего гарнизона, а это был именно он, побежал к одинокой пассии. Мы же, поплавав и позагорав, поели в чебуречной жирных пирожков без буйволятины, вдосталь попили дома у Апашки хорошего еврейского вина, принесенного женой Хавой из синагоги, где Апашкин тесть был старостой, переоделись и вернулись в казарму.

Капитан Шимчук узнал меня в лицо, но чуть позже.

Однажды вечером мы с курсантом Дядей-Вадей перелезли в

намеченном месте через высокий царский каменный забор с невинной целью попить пивка и водочки в каком-нибудь шинке с закуской и привычно заправить набедренные солдатские фляжки из чайника напротив казармы. Вообще, из страха перед кишечной инфекцией воду мы не пили, а использовали оную лишь для обливания войлока этой самой фляжки, так что питьевое вино при нас всегда было в меру холодным. Возвращались затемно тем же путем: взобрались на стену — лепота! — безлунная южная ночь с нежным ветерком. Дядя-Вадя и говорит с выражением:

— Лучше нет красоты, чем поссать с высоты! — расстегивает ширинку и, дождавшись меня, в две струи окропляет внутренний дворик. Пива выпили много, процесс занял не меньше двух минут. Оправившись, оправились и спрыгнули вниз. Прямо в объятия обмишуренного от фуражки до сапог дежурного по части гвардии капитана Шимчука.

— Предъявите документы, — говорит и показывает кулачину влажный Шимчук, — щас на губу пойдем, зассыхи, за грубое нарушение устава!

И освещает нас фонариком.

— Это не тебя ли я в Махачкале с Рыбкиным в самоволке позавчера видел? — напрягает память гвардии капитан.

— Меня, меня, — радостно отвечаю я взаимностью, — вы тогда с Любашкой вторые сутки гудели.

Настоящий гвардеец всегда скор на ум и решителен в действиях.

— Не буду я вам на первый раз биографию портить, шпаки. Идите на хуй и знайте, что Петро Шимчук такой в части один!

Капитан оказался прав — кроме него, ни один курсант за месяц формального и неформального общения никого больше не обоссал.

Кульминацией сборов были практические стрельбы.

Колонна грузовиков вывезла поутру всю нашу бригаду «Ух» высоко в горы, на Машкин Пуп, где внизу, в долине, были установлены мишени. Батарея стадвадцатидвухмиллиметровых гаубиц находилась в другой долине, за горою сзади нас, и мы ее не видели. Мишенями же были плоские фанерные макеты танков. Они на тросе передвигались по монорельсу посредством электромотора с примитивным дистанционным управлением, который располагался в жестяной будке чуть справа.

Боевая задача сводилась к тому, что при помощи каких-то буссолей и астролябий мы определяли координаты цели, вычисляли упреждение ее движения, передавали все это по рации на батарею и просили огня. Пока кто-то из произвольно вызываемых офицером курсантов осуществлял

радиолокационную разведку, остальные валялись на траве и, глядя в небо, наблюдали за полетом прямо над нами огромных снарядов-болванок, которые иногда даже сбивали раскрашенную под «королевскую пантеру» фанеру. Стояли визг и грохот, но все же это было какое-то развлечение в сравнении с казарменными буднями, тем более что наши фляжки уже с вечера были заправлены до упора, а на сухой паек Рыбкин выдал воблу.

Отличник боевой и поллитрической подготовки курсант Салтыков, до университета служивший именно в этом роде войск, взрослый по сравнению с нами мужик, как малое дитя клянчил у начальника стрельб от военной кафедры подполковника Антонова право на наводку:

— Антонов, дай бабахнуть, я тебе в Саратове бутылку поставлю, соскучился я по армейской службе! Дай, а!

Скуластый, прочерневший, как алкоголик, но абсолютно не пьющий Антонов, хорошо знавший Гошку Салтыкова по общему увлечению радиолюбительством, опешил:

— Коша, — Антонов не выговаривал звонких согласных, — ты чеко сатумал? Ничеко? Ну, ити к пуссоли, папахни салпом.

«Коша» пошел к «пуссоли», выдал по рации координаты, раздался «салп», и стадвадцатидвухмиллиметровая болванка прямым попаданием снесла ко всем ебеням будку с мотором!

Стрельбы, а с ними и наши сборы, окончились во славу русского оружия.

АРЕАЛ ИНДЕЙСКОГО ГОСТЯ

Дядя Юра Архипов был не просто москвичом, а москвичом на «москвиче» и членом правления общества охотников и рыболовов одноименного завода. Никаким дядей он не был, а был нашим ровесником, а дядей его называл семилетний племянник сожительницы. Какими неведомыми тропами они попали в нашу палаточную резервацию на богом забытом берегу Ахтубы в районе Трехречья близ поселка Харабали, объяснить невозможно.

Вождем стойбища был краснокожий браконьер Индеец Джо, в миру — гинеколог Женя Корсаков, который по месту постоянной службы называл себя Крымский-Корсаков. Не знаю, был ли член «Могучей кучки» того же происхождения, но Индеец Джо действительно вел род от корсаков — астраханских казахов, смесь которых с астраханскими же крючниками с рыбной пристани и дала в потомстве узкоглазого двухметрового болдыря, ходившего летом босиком, а зимой в валенках, так как обувь сорок девятого размера не шили даже на заказ. Хотя зима в Симферополе чаще бесснежная и безваленковая. В своей больнице однофамилец гениального автора оперы «Садко» дежурил сутками, чтобы в сезон за отгулы попасть на историческую родину с целью привычного обогащения и вернуться во всесоюзную здравницу под арию индийского гостя: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном».

Сошлись мы с краснокожим на противоположном крутом берегу, когда, напрочь заблудившись в ахтубинских ериках и рисовых чеках, любовались на недоступный автопутешественникам дикий пляж на пологой другой стороне, обрамленный вековыми ветлами в высокой осоке. Индеец с белолицым подельником Николаем-Угодником подрулил к нам на катере с двумя моторами и громовым голосом предложил тотчас свежую осетрину в любом количестве, икру и балык на пробу, а также образец для последующего совместного изготовления.

Это была не любовь с первого взгляда, а циничный брак по расчету. В каждой из четырех пропыленных саратовских машин было как минимум по одному ребенку, кошке или собаке — прекрасное прикрытие для скрывающихся от рыбоохраны преступников — осетровых браконьеров. Матери и жены начали было визжать, беспокоясь о трудностях последующего воспитания подрастающего поколения на зоне. Однако здравый смысл, романтика и теория Ломброзо взяли верх, и в сопровождении

Индейца на заброшенном пароме мы форсировали красавицу Ахтубу и прибыли на неожиданное место своего предназначения.

Притирались мы друг к другу недолго. Минут пять. До тех пор, пока интеллигентный Индеец в холщовых портах на веревке через плечо и с прямыми иссиня-черными волосами до лопаток вежливо не спросил меня:

— Ихтиофауну умерщвлять приехали? А на какую снасть?

— На универсальную, — небрежно ответил я и открыл багажник своей «копейки». Как профессионал профессионала, Индеец Джо зауважал меня сразу и безмерно. В чреве багажника стояли четыре ящика огненной воды.

Появившись из ниоткуда, подслеповатый Юра Архипов вежливо поздоровался и спросил:

— А водится ли здесь рыбка?

— Водится, водится, — сказал я. — Вон, видите, детишки с собачками купаются? Там куканы веревочные. Потяните и увидите вчерашний улов.

Юра закатал штаны, взял за руку лжеплемянника, подошел к толстому колу, торчавшему на отмели, и, в воспитательных целях изображая из себя сказочника, гнусным радиоголосом заверещал:

— Тянем-потянем, вытянем рыбку!

Когда двухметровая рыбка вытянулась и с метровыми брызгами ударила перед носом сказителя акульим хвостом, Юра упал в обморок прямо в воду. Очнувшись, председатель общества охотников и рыболовов сказал только:

— Хемингуэй какой-то, — и вновь впал в забытье.

Рыбные дни сменялись рыбными же вечерами. Дети плескались в чистейшей до неприличия воде, собаки для порядка шугали кошек. Кошки ловили беспечных кузнечиков. Индеец Джо в светлое время суток спал под ветлой мордой в траву. Ночью же, хлопнув стакан без закуски, выходил с Николаем, прибывавшим на катере, на дело. Дело это пахло керосином, но было спортивно увлекательным.

Джо знал донный рельеф браконьерской акватории лучше, чем эхолот. Примерно тридцатиметровая пологая отмель круто и извилисто обрывалась ямой метров в семь-восемь. Точно по этому обрыву на дно в ночной тишине опускалась с лодки на толстенной леске закидуха — грузило из пары связанных кирпичей с поводками, на которых крюки-трезубцы величиной с якорь заправлялись мальком с ладошку. Свободный конец закидухи через сигнальный колокольчик крепился к палке, забитой на метр в бережок. Однозвучно звенел колокольчик, и начиналось запретное действо.

Трехпудовый осетр — это вам не хухры-мухры под парусами,

а дизельная подводная лодка. И вытащить такую субмарину на берег без полиспаста мог только слоноподобный Индеец Джо. Не меньше чем за полчаса. Я пробовал, но уходил торпедой под воду, хотя пудов на шесть тянул сам. Злодея-абортмахера интересовали только беременные особи. Никчемных мужиков он отпускал на волю волн. А девушек Джо потрошил без наркоза. Наружные их части он тщательно закапывал, предварительно срезая для нас лучшие куски на уху, шашлык и балык.

Набив наконец под самую завязку плотные полиэтиленовые мешки очищенной и подсоленной икрой, Индеец Джо, не попрощавшись, уносил на могучих плечах добычу в темную ночь через многочисленные подкупленные и не подкупленные кордоны. Николай-Угодник бежал впереди налегке, воровато подсвистывая груженому напарнику болотной птицей.

Первый таз свежеприготовленной черной икры даже под водку был для нас последним. Сынок Илюша, двенадцатилетний младенец, глаголющий истины, после съеденной миски сказал:

— Мама, я больше икру эту есть не буду. Никогда. В жизни.

И пока держит слово.

Весь балык, развешанный для обретения кондиции в дебрях осоки, через пять дней протух и был торжественно захоронен нами на женском рыбьем кладбище.

А дядя Юра утонул в арыке, отправившись на своем «москвиче» воровать помидоры. Лжеплемянник насквозь мокрым прибежал в лагерь и сообщил подробности.

Природофил дядя Юра заслушался птичку и с ровной, хотя и узкой дороги сполз в глубокий арык в перевернутой на крышу машине. Мы помчались на место происшествия. Дядя Юра на самом деле не утонул, а утопил очки минус семь диоптрий. Он сидел посреди арыка на заднем мосту помятого «москвича» и плакал. Сквозь отчаянные рыданья доносилось старушечье причитание:

— Павлик, Пашенька, мальчик мой, сынок, где же ты? Что я скажу нашей маме?

Павликом звали чудом спасенного дитятю.

— Дядя Юра, — заплакал растроганный отеческой заботой доселе чужого человека герой-октябренок, — я здесь, наверху, и нашей мамы сестра тоже.

Я поехал в Харабалинский совхоз за трактором. Машину с трудом, но вытащили. И тут обнаружилось, что дядя Юра не только утопил очки, но и растворил в арыке всю соль, весь сахар, супы в пакетах, а также сухое молоко. Весь этот НЗ он держал в багажнике.

Так счастливо для одних и несчастливо для других окончился

отпуск.

— В нашей стране по статистике каждая вторая семья отдыхает в санатории, доме отдыха или профсоюзной здравнице. Вова, почему наша-то всегда первая — сказала мне жена по пути домой, в очередь со мной качая ручным насосом в надцатый раз спустивший скат.

НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК

Научные конференции в СССР были одним из популярных видов оплачиваемого отдыха. Многие писали статьи в журналы и набивались к другим в соавторы только по причине возможного бездумного времяпрепровождения где-нибудь в Одессе или Тарту.

В Ростове большая группа молодых до старости ученых расположилась в гостинице «Южная». Проснувшись утром после «прибывальной», я с удивлением обнаружил что-то неуловимо знакомое в окружающей среде, хотя ни в этой гостинице, ни в самом Ростове-на-Дону никогда не бывал. Я поведал об этом своему соседу по размещению ученому великану Толе, который уже бывал в этом южном городе. Знающий много лишнего Толя прищурил глаз и вышел за дверь, повелев мне не вылезать из кровати. Вдруг дверь резко распахнулась, и пулей влетевший посланец дико заорал:

— Не стреляй! Володя!

— Ты что, очумел? — поразился я.

— Да нет, просто мы с тобой в номере, где снималась знаменитая сцена с Высоцким в кинофильме «Служили два товарища», где он от неожиданности убивает своего друга Бурляева!

За причастность к прекрасному было совсем не грех выпить. И так как наши доклады, к счастью, делали соавторы, мы пошли на знаменитый ростовский колхозный рынок, единственное место в незнакомом городе, где наверняка можно было, как и в любом другом, спозаранку удовлетворить свою насущную потребность.

Нежнейший из добрейших ученый великан Толя Зборовский, друг мой сердешный, носил меня на руках. В буквальном смысле. Когда он видел, что от застолья я впадаю в меланхолическую усталость, он передавал в мои ослабевшие руки оба наших портфеля, брал меня под мышку или на плечо и нес по ночному городу, нежно ведя со мной культурную беседу, куда-нибудь «выпить по чашшечке коффэ по-таллиннски» — не с акцентом, а с коньяком.

Нас развела с ним судьба в лице безмерно опекающей и любящей Толиной жены Татьяны Марковны, убежденно принимавшей наш совместный досуг за первый синдром супружеского недуга, каждый Божий день ожидая перехода стабильного мужнина пьянства в наследственный по отцу алкоголизм.

Ростовский базар начала семидесятых впечатлял не только широтой станичного ассортимента, но и самим казачеством,

представленным широченными в груди и бедрах казачками. Белотелые и черноглазые, они не только торговали дарами природы, но и выставляли на прилавки самих себя, как эти дары, во всем великолепии пестрых цыганских нарядов и безудержного белозубого веселья. Это был праздник, которым было стыдно пренебречь. И мы с великаном Толей начали жить на базаре. Гостеприимные хозяюшки поили нас до отвала самогоном и кормили от пуза салом и соленьями только за то, что видели в наших глазах зеркальное отражение их праздника — с болтовней ни о чем и взаимными подковырками на грани фола в области подола. В гостинице мы практически не ночевали, а об участии в международной конференции напрочь забыли. Поверьте — мы искренне плакали вместе с лучшей половиной Войска донского, когда уходили с растолстевшим Толей на прощальный банкет, проводившийся на белом двухпалубном пароходе. Судно было арендовано лично ректором Ростовского университета Юрием Андреевичем, родным сыном убиенного врачами-вредителями члена Политбюро тов. А. А. Жданова и вторым зятем товарища Сталина по Светлане Аллилуевой. Возможно, поэтому, а может, и нет, но и пароход, и банкет поражали социалистической роскошью.

За столом выше Жданова по табели о рангах был только академик Николай Дмитриевич Девятков, главный электронщик страны и Герой Соцтруда. Улыбчивый старикашка застольничал в компании более мелких корифеев, сверкая «Золотой Звездой» по сторонам. Свет этой далекой звезды, преломляясь через бутылочное стекло, не мог не задеть клавишей моего скучавшего по базару хулиганского клавикорда. И я заключил пари с подвыпившим ученым соседом по столу, что подойду к академику и попрошу на минутку его китель со звездой для снимка на память. Что и проделал.

— Николай Дмитриевич! — вежливо сказал я. — Не сочтите за хамство, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Дайте на секунду мне ваш пиджак, чтобы фотокорреспондент запечатлел меня в нем на снимке. Так как никто не поверит, что звезда — моя, у меня будет всегда повод рассказать научной молодежи о великом друге и вожде электроники. То есть о вас.

— Пиджак я, юноша, конечно, вам не дам, размеры у нас разные, но сфотографироваться в нем рядом с молодым нахалом доставит мне удовольствие!

Потом мы долго спорили за столом, выиграл я пари или нет, выпивая рюмку за рюмкой за счет сына члена Политбюро, но эпизод этот сыграл существенную роль в моем научном

самоутверждении.

Диссертацию я писал под научным руководством тогда еще не профессора Александра Федоровича Голубенцева, человека сложного и неуживчивого. Талантлив он был безмерно, но из-за столь же безмерной подозрительности все делал сам, и я до сих пор не уверен, насколько самостоятельным ученым я был — Голубенцев выверял мои расчеты по десять раз, ошибок, правда, не находил, но и неглубокие корни гениальности из меня выкорчевал раз и навсегда. Физически А. Ф. был просто могучим (в молодости — кандидат в мастера спорта по гимнастике), но все время нудно жаловался на здоровье.

Причина была одна: А. Ф. совершенно не мог пить — в отличие от своих коллег — спиртное, ему становилось плохо с одной рюмки, и, глядя на собственного ученика, поглощающего яд литрами и ежедневно, он впадал в удручающий комплекс полнейшей профессиональной неполноценности.

Голубенцев принимал мои отчеты дома, в маленькой кухоньке, служившей ему кабинетом, где, не разгибаясь, он мог просиживать с карандашом сутками. Я присаживался напротив на табуретку и вел с шефом неторопливую беседу как о науке, так и о жизни вообще. Отношения наши очень быстро переросли в дружеские. Через каждые двадцать минут этот мнимый больной нагибался под стол, брал в каждую руку по полуторапудовой гире, поднимал их на уровень плеч и со словами «Мы читали, мы писали, наши пальчики устали!» делал производственную гимнастику.

Эпопея написания диссертации подходила к завершению, когда произошло несчастье: председатель ученого совета, он же ректор университета Шевчик, как и ожидалось, долизался до риз и был силой помещен в дурдом ровно до тридцать восьмого мартобря. Совет замер в коме, утраченное время утекало, а с ним уплывал и ребенок. Посему было принято отчаянное и смелое решение: мы с Голубенцевым без приглашения едем на доклад в головной московский институт, где на науке скалою сидит бескомпромиссный академик Н. Д. Девятков.

А компромиссно сочувствовавшая как Шевчику, так и мне столичная ученая братия довольно хорошо приняла мое сообщение и по результатам обсуждения сочинила за обедом положительный отзыв, который я лично вызвался подписать у корифея. Обычно эта процедура занимала несколько месяцев, но дедуля узнал меня и со словами: «Что, юноша, за звездой пришел?» — в момент поставил царственный автограф.

Пораженный случившимся Голубенцев автоматически хлопнул со мной по стакану, предсказав абсолютно точно два

последствия. Первое: завтра у него развалится башка — и второе: от скоропалительной девятковской индульгенции зачешутся репы и у коматозных замов безвременно ушедшего в запой председателя. Дедушкино «добро» перевешивало любое зло любого ученого совета!

В Алисины времена сплошного Зазеркалья обязательные последиссертационные банкеты в очередной раз были запрещены под страхом гражданской смерти всех соучастников без исключения. Обмыть столь быстро случившийся успех страждущий казенный люд решил путем тайной маевки на необитаемом острове посредине могучей реки Волги.

На величавой деревянной лодке-гулянке, позаимствованной у богатого волжского рыбака писателя Коновалова, к месту назначения в два приема были доставлены: водка, полсвиньи, хлеб, чай, дрова, медный самовар и раструбный патефон с пластинками тридцатых годов, а также сами тайные карбонарии в купальных костюмах модели «семейные трусы до колена».

Все было долго и хорошо, но в память вмиг отрезвевших ученых запал конец мероприятия, когда при возвращении перегруженный нагрузившимися пассажирами маломерный «Титаник» внезапно дал течь. И в отсутствие лоцмана, видимости, багра, весел, плавжилетов и иных спасательных средств затонул в пяти метрах от берега в перпендикулярном фарватеру бурном потоке сточных вод городской канализации. Утонуть на мелководье было невозможно, но все оказались в дерьме, а я — в белой манишке, так как в момент стремительного погружения уже заслуженно и утомленно ночевал, как тучка золотая, на груди у Толи-великана.

В гостиницу москвичи-гореплаватели явились затемно в мокром и пахучем нижнем белье с бесстыжими ржавыми подтеками.

Что, конечно же, весьма насторожило строгую администрацию провинциального отеля, которая ни сном ни духом не ожидала такого бразильского карнавала в исполнении уважаемой столичной профессуры.

НЕ СЛЫШНО ШУМА ГОРОДСКОГО

В молодежных песнопениях, начиная с пролетарских маевок, всегда наличествовала некоторая крамола. И традиция эта развилась и процветала в полулегальных сочинениях самодеятельных авторов-исполнителей из пролетариев умственного труда. В нашей компании чужих, особенно «бардовских», песен почему-то не пели, отдавая предпочтение классическому городскому романсу, причем исключительно в профессиональном исполнении. Слава Богу, таковое среди нас было!

Взять, к примеру, Сашу Михайлова, драматического актера местного театра почему-то имени Карла Маркса. Впоследствии Саня переехал в Москву, став знаменитым киногероем-любовником. В те годы он уже снимался, но еще обожал жену, красивую адмиральскую дочь с толстыми конскими волосами, активную любительницу приключений, вывезшую молодого мужа в нашу ограниченную лесостепь с бескрайних просторов Тихого океана. Саша еще и на гитаре играл. Партию фортепьяно в домашних условиях и аккордеона в полевых вел на две руки мастер Дядя-Вадя. Стихи штамповали я и Ёся, веселые и наглые монстры, по-медвежьи напрочь лишенные совести и слуха. Музыку сочинять было не надо, она, одна и та же, заполняла воздух по радио и из матюкальников бесчисленных праздников и шествий. Удивительным качеством, объединявшим нас с Ёсей, была абсолютная неспособность запомнить в любой песне больше одного куплета, хотя все преферансные расклады мы знали наизусть. И то, и другое приносило пользу. Второе — материальную, а первое — моральную в виде дикого числа идиотических компанейских пародий на всем осатаневшие слова и мелодии. Чопорные супруги, а к тому времени мы все были уже женаты, являлись нашей восторженной публикой, не только аплодировавшей, но и подпевавшей. Исполнялась вся эта труха в гостях друг у друга под обильную выпивку без рукоприкладства, а также на природе, в основном на волжских берегах, где мордобой, в принципе, не исключался.

— Ребята, — весело, как Роджер, предложила экзальтированная тихоокеанша, — что мы все летом да летом? Давайте встретим наступающий Новый год в лесу, под елочкой, в сугробе у костра!

Почему-то эта явная афера запала в голову туристу и физкультурнику Дяде-Ваде, и в силу своего неуемного характера он рьяно взялся за ее осуществление.

— Так, Манолис, — сказал он мне, — у моего соседа по даче есть друг лесник. На Новый год он уезжает с женой к теще в город, а нам отдает под пиршество свою заимку в лесу, вдали от шума городского, фактически в роще или чаще. До места километров двадцать пять, можно было бы и на лыжах, но ты, толстопузый, подохнешь на полдороге, а мы к тебе привыкли. Так что надеваем на скаты цепи повышенной проходимости, и на моем «москвиче» в два приема едем к лешему. У него в сугробах какой-то затерянный мир — вакуум чести и совести нашей эпохи. Стол накрываем на восемь человек — ты, я, Саня, Ёся и жены. Больше Боливар не вынесет. И не забудь пачку свечей — по линии антикоммунизма там пока ни советской власти, ни электрификации.

Мельпомена визжала от восторга — ее идея! Прекрасные половины, совместно и по отдельности, наготовили пельменей, заделали яблоками утку, напекли пирожков, достали из погребов солений и корений. Распрекрасные сожители купили ящик водки и пять бутылок шампанского. Все это с аккордеоном, гитарой и патефоном загрузили в багажник и в два обещанных приема доперли до заимки. Свечи не забыли. Леший перед уходом растопил русскую печь, срубил большую елку и воткнул ее в сугроб перед крыльцом. Душеньки-подруженьки сразу нарядили ее захваченными из дому игрушками, и праздник начался по заранее намеченной программе.

Пока горожанки по наитию осваивали русскую чудо-печь, мы раздавили бутылку под пирожки и спели популярную песню из репродуктора:

Жил отважный капитан,

он объездил много стран,

чтоб потом пришвартоваться на диван.

И с тех пор на нем лежал,

все нутро проспиртовал,

но с похмелья не рыгал и не икал!

А когда

шел ко дну,

напевал он чудо-песенку одну:

«Капитан, капитан, улыбнитесь.

Ведь улыбка — это флаг корабля.

Капитан, капитан, подтянитесь.

И достаньте из заначки три рубля!»

Но однажды капитан

(в этот раз он не был пьян)

все ж покинул свой

продавленный диван.

И отправился гулять,

навестить отца и мать,

чтоб с друзьями хоть денек

не выпивать.

И тогда,

как со дна,

вдруг всплыла зачем-то песенка одна:

«Капитан, капитан, улыбнитесь.

Ведь улыбка — это флаг корабля.

Капитан, капитан, подтянитесь.

И достаньте из заначки три рубля!»

И подумал капитан,

что житейский океан

даже в штиль потопит

старенький диван.

И спасет его не круг,

а надежный старый друг,

тот, кто вовремя приходит, а не вдруг.

Он войдет

и плеснет.

И с ним вместе чудо-песенку споет:

«Капитан, капитан, улыбнитесь.

Ведь улыбка — это флаг корабля.

Капитан, капитан, подтянитесь.

И достаньте из заначки три рубля!»

Стол постепенно приобретал привычный городской вид и запах. Появились жареная утка и соленья. Мы вмазали еще пузырек и спели вдогонку арию Георга Отса — мистера Икс:

Да, я шут,

я трепач. Так что же?

Пусть менты меня бьют

по роже!

Как комета, от них

я далек,

так далек —

бесполезно

спускать курок!

Верблюд роняет

саксаул на песок.

Погонщик знает,

как мой путь одинок.

Устал чесаться

я от лагерных вшей —

пора отдаться

мне фортуне своей!

Живу без чарки,

боль в душе не тая.

В глазах овчарки —

судьба моя.

Пельмени переварились, и на стол вывалили нечто подобное осиным сотам с мясными крошками вместо меда. Порезали это месиво ножом, распечатали водчонку, залились и спели «Москву майскую» в варианте ноябрьской демонстрации трудящихся:

Утро красит снежной белью

стены древнего Кремля.

Просыпается с похмелья

вся советская земля.

Голодок бежит за ворот.

Пива, доченька, налей!

С добрым утром, милый город,

чрево родины моей!

Москва моя — тоска моя,

ты самая любимая,

страна моя, ты, пьяная, —

никем непобедимая!

Завели патефон. Зажгли свечи и в доме, и на дворе. Поплясали под старые проверенные фокстроты вокруг елки. Саша спел громко на весь лес «Ой, мороз-мороз, не морозь меня», «Там, в степи глухой замерзал ямщик» и «Не слышно шума городского, в заневских башнях тишина» (что впоследствии оказалось роковой ошибкой).

Вернулись за стол и начали сверять часы. За минуту до неслышного, слава Богу, в глухомани боя курантов Спасской башни и шамканья Лично Генерального Секретаря раскупорили шампанское и под крики «Здравствуй, жопа, Новый год!» перецеловались без разбору. Потом, румяно повалявшись в сугробах, открыли огненную воду и спели куплеты про короля Анри из популярного кинофильма «Гусарская баллада»:

Король Анри Четвертый,

отъявленный бурбон

и жулик первосортный,

влез на французский трон.

Припев:

Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом.

Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом.

Тирлим-бом-бом, бом-бом, бом-бом-бом.

Тирлим-бом-бом!

Нашел жену по вкусу

Красавицу Марго

До жопы косы русы

А жопа ого-го!

Припев

Как узник Гименея,

в критические дни

всю ночь Варфоломея

купался он в крови.

Припев.

«Париж достоин мессы», —

учил дружка де Гиз,

за что его, балбеса,

ухлопал террорист.

Припев.

Ограбив гугенотов,

ушел Анри в папизм

и, по большому счету,

развил феодализм.

Припев.

С войной Анри, понятно,

покончил насовсем.

И срали бурбонята

в его походный шлем.

Припев.

Поутру, морду моя,

в зерцало посмотри:

похож ли ты судьбою

на этого Анри?

Потом Саша задушевно без надрыва спел «Очи черные», и мои карие очи миролюбиво закрылись в счастливом сне. Очнулся я от дикого шума: что-то происходило во дворе! Я спросил спросонья у жены, смиренно сидевшей рядом, в чем дело.

— Спи, Вовочка, спи, все хорошо, тебе, утомленное солнышко, просто сон плохой снится.

Я попытался вернуться к Морфею, но тут шум закончился, и в комнату ворвались три заиндевелых богатыря. Их возбуждению не было предела.

— Вот, гады, какой праздник испортили, — вопил Дядя-Вадя, — жаль, что покалечил, а не убил!

— Кого покалечил, кого не убил, Дядя-Вадя? — попытался уточнить я, почти придя в сознание.

Плохой сон наяву оказался хорошим налетом на одинокий домик лесника стаи пьяных недорослей из неблизлежащей деревеньки. Их первой и последней жертвой был вышедший пописать киногерой. Как малолетки умудрились разбить нос

двухметровому верзиле, мне в ум не приходило — то ли Сашка ссал по-бабьи, на корточках, то ли из деликатности преуменьшил вид нужды.

Но факт оставался фактом. Было ясно, что все школьные каникулы привычно халтурить Дедом Морозом жрец Мельпомены облегченно сможет без наклеенного красного носа, но как минимум в противосолнечных очках. Что и случилось, к восторгу детишек. Саня-Клаус отчаянно пытался прикрыться версией, что в сказочной Лапландии снег такой белизны, что слепит глаза, но синяки, точнее — черняки, предательски вылезали наружу из-под любого оптического прикрытия.

Настоящие Алеша Попович и Добрыня Никитич — Дядя-Вадя и Ёся — выбежали на крик потерпевшего Ильи Муромца и быстро навели порядок: Ёся наотмашь бил микул селяниновичей здоровенной кочергой, Дядя-Вадя — саженной елочкой, которую он выдернул из сугроба и использовал как палицу, Саня вслепую охаживал обидчиков хозяйскими валенками, подшитыми, как на заказ, автомобильными покрышками. Во мне, громогласном трубадуре из чуждого фольклора, богатыри коренной национальности численно не нуждались.

Тут же был проведен военный совет в Простофилях и принято кутузовское решение об отступлении, так как сильно побитые парубки, убегая, грозились поднять против городских всю деревню. Торопиться было не надо. Достойный сын отца-военачальника Дядя-Вадя не к месту трезво подсчитал, что до ближайшего села верст шесть, и два часа у нас есть в запасе. Отступление было организовано в полном соответствии с наличествующей материальной частью. «Москвич» загружался маркитантками с питьем и соленьями и через каждые два километра, высадив женщин, возвращался за арьергардом из двух битых, Ёси и Саши, и одного небитого — меня.

Пока нас высаживали на перегонах, мы не стояли в снежном безмолвии, а бодро, под стопарик, шагали вдогонку любимым, горланя первомайский «Марш энтузиастов»:

Мы рождены,

чтоб сказку сделать былью,

преодолеть прострации простор.

Товарищ Сталин нам обрезал крылья,

но детородный сохранил прибор!

Все выше, и выше, и выше

стремим мы полет наших рук,

и в каждом — пропеллером дышит

мотор из расстегнутых брюк.

Добравшись до большака, без Дяди-Вади, потно примерзшего сверху к рулю, а снизу к сиденью, мы хлопнули по последней и хором спели вместе с девчатами, разгоряченными чудесным избавлением от сельских соотечественников, Главную Песню о Главном:

Широка страна моя родная,

но говней лесов, полей и рек

за собой нигде не оставляет

только наш советский человек!

СМЕРТЬ ВИЗИТ-МУХТАРА

Меня любили люди и звери за то, что даже в предельно пьяном виде я не был агрессивен — не лаял и не лаялся, хотя и был способен на не поддающиеся объяснениям действия. Например, мог обнять врага и сказать ему такое, что он начинал чувствовать себя другом.

Профессор Лева Кац вместе с двоюродным братом, тоже Левой Кацем, волоча меня под мышки с совместной пьянки, выпытывали у меня секреты наглости для последующего специспользования:

— Нет, Вовка, не советский ты человек (подразумевая, что антисоветский), и какой же чуждой идеологии ты придерживаешься (подразумевая — служишь)?

Обнимая широкие зады Левы и его брата, тоже Левы, случайно разоблаченных капитанов КГБ запаса, которых обычно я весело приветствовал чуть измененным эпиграфом к роману Каверина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти и перепрятать!» — я чистосердечно давал показания местным пинкертонам в штатском:

— Великому учению Дао, Львы сыска!

— И в чем же его суть? — допытывался более образованный апологет единственно верного для братков учения.

— По Чжуан-цзы — завершение, при котором неведомо, почему так, называется Дао. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы потом, совершив кругооборот, снова в него вернуться. В основе Великого Учения — примерно дюжина простых заповедей.

— И какая же первая?

— Первая и основополагающая крайне проста: «Не упорствуй».

— А вторая?

— Левы! Вторую я уже не читал — все сказано в первой!

Бойцы невидимого только для умалишенных фронта нежно обняли меня, так и не выполнив важное задание. Во время какой-нибудь небратоубийственной войны, уверен, оба молодцеватых МОССАДовца обязательно дослужились бы в СМЕРШе до старших майоров. Но в мирное время, в мертвый сезон — до капитанов этой конторы в запасе, как? Какое-то «03» вместо «007»!

А профессор Лев был упорен во всем. Талантливый и статный любимец публики страстно и артистично выдавал желаемое за действительное. И попал впросак единственный раз в жизни, когда умер, не рассчитав сил. Чтобы побыть в обед с чужой

девушкой, он хитроумно поехал с утра с родной женой копать картошку в огороде, наврал ей, что забыл выключить на работе какой-то научный утюг, активно осуществил адюльтер, вернулся на грядку, докопал последний мешок по системе Станиславского, не имея уже на это физических сил, и, как актер на сцене, сыграл в ящик. А до этого ему все сходило с рук. Однажды он сдавал «тему» — особый вид научной работы за дополнительные деньги. «Тему» он придумал из буйной головы и иностранной научной печати. Поэтому называлась она скромно и международно: «Физический эффект Холла — Каца» (первое — из печати, второе — из головы).

На приемку работы была выписана ученая комиссия из новосибирского Академгородка. О своем приезде принимающим дали телеграмму: «ВСТРЕЧАЙТЕ КОМИССИЮ СОСТАВЕ СУХОГО АБРАМА МОИСЕЕВИЧА И ЛЕОНИДА».

Леву не удивило, что Абрам Моисеевич такой сухой, недоумение вызвал конец депеши. Я высказал предположение, что в однонациональную отечественную физику к еврейцам начали подтягивать корейцев, и не ошибся. С Абрамом Сухим приехал Леонид И!

Эффект Холла — Каца, по идее, должен бы быть отмечен подрагиванием некой стоячей волны на осциллографе, но, в связи с незаконнорожденностью феномена, ожидаемого всплеска не давал. А деньги на исследование большей частью были уже истрачены, частично на коллективные пьянки. Надо сказать, что лжеученый Кац не был жаден на колхозное добро.

Ответственность за сдачу «темы» взяло на себя все наше голодное ученое сообщество. Людей и приборы расставили так, что, когда все загудело и заискрилось, я по команде отечественного соавтора эффекта спрыгнул в соседней комнате со стола, а Сухой и И зафиксировали на экране и в протоколе испытаний наш денежный всплеск.

На последующем банкете я предложил витиеватый тост за переименование случившегося физического открытия в «Эффект Су — Холла — И — Каца», скромно не причисляя себя к сонму первооткрывателей.

Но вернемся к зверям. Домашним животным у нас с женой был удивительно молчаливый кот Муля. Его немногословие не имело границ — он, сопя, драл дико орущих соперников и без лишних сантиментов «драл» нежно мяукавших пассий. На прогулки он просился, встав на задние лапы во весь свой рысий рост, и, положив передние лапы на колени или плечи хозяина, пронзительно и долго буравил его глазами.

Погиб он на боевом дежурстве, изгоняя с вверенной

территории ободранного идеологического противника, в один день с коллегой — генсеком ЦК КГБ Андроповым, посему скорбь о кошачьем вожде получилась всенародной.

Но пиком радости для знатного хозяина животновода был визит Мухтара. Гость проснулся в суровую зиму, прогревшись в углу за батареей, и лениво вылетел из берлоги, по-весеннему шелестя крылами. Визит-Мухтар был породистым самцом огромной черной мухи, полеты которого я за три рабочих дня скорректировал указательным пальцем, обмазанным медом. На четвертый день дрессировки способный ученик на зов «Ко мне, Мухтар» вылетал из укрытия и, сделав контрольный облет, приземлялся на мой указательный палец без приманки!

Я не без оснований ощущал себя третьим братом Запашным.

Расхристанный алкоголик и многоженец Макс явился ко мне в яркий зимний полдень в крайне перевозбужденном состоянии: после трехдневного отсутствия он обнаружил перед дверью четвертой жены, с которой иногда делил ложе, хозяйственную сумку с нательным бельем и партикулярными штанами. Замок в двери был заменен.

И сумку, и совесть к полудню по пьяни он уже потерял и был зол на весь мир во всем мире. В это время у Визит-Мухтара по расписанию был второй завтрак, и он, весело жужжа, прокрутил петлю Нестерова перед носом Макса. Озверевший человеконенавистник с криком отчаяния:

— Мухи Макса тоже заебли! — хлопком в ладоши умертвил беззащитное животное.

Смерть Визит-Мухтара отразилась на наших отношениях с душегубом — он вылетел из моего дом как муха. Навсегда.

ХУРЕН-МАХН-ГУЕРТЯГАН

Самым доступным отдыхом для нас, счастливых обладателей «москвичей» и «жигулей», были летние автопутешествия в недоступные места. Палатки, спальники, столы, стулья, водка и тушенка компактно помещались в два багажника — задний и на крыше. Проблем с ночевкой потому не было. Почти.

Когда мы собрались перевалить через Кавказский хребет к Черному морю по Военно-Грузинской дороге, выбор пути пришелся на трассу Саратов — Волгоград — Элиста — Минводы. Выехав в две машины рано утром, мы уже к вечеру мчались по жаркой калмыцкой степи с телеграфными столбами и верблюжьей колючкой такой же высоты по обе стороны дороги.

Попытка встать на ночь на обочине близ столицы республики Калмыкия Элисты не увенчалась успехом. Только мы стали распаковывать палатки, заливисто залаял Кони.

Лжетибетский терьер по явно фальшивой ветеринарной справке, Конифуций Лхасин был хоть и непотомственным, но образцовым дворянином в обоих смыслах этого слова. По первому смыслу он был служивым, а по второму Кони дословно понимал человеческую речь, в то время как его высокогорные китайские родственники — только собачьи команды. Степенный философ Витя Хасин гордился этим и в доказательство как-то оставил пса-однофамильца у меня на даче на неделю, уведомив служивого, что на это время он будет моим вассалом.

Кони приступал к несению службы с того, что ровно в шесть часов утра залезал под мою раскладушку и с частотой пятьдесят герц чесал блох, попадая коленкой правой толчковой ноги в провисающую почти до пола спину. А после пробуждения сюзерена беззвучно лизал ему нос в соответствии с предписаниями предыдущего хозяина. На второй день мне это разонравилось, и я сказал в сердцах:

— Кони, слушай приказ! Отныне ты будешь будистом Сани Кредера. Он, как и Витя, жаворонок, а я — даже не сова, а филин. Саня не чужой, а известный тебе Витин собутыльник. Саня живет через четыре дачи и очень будет любить, когда его будет будить буддист Кони.

Умный пес послушно завилял хвостом и убежал на задание в указанном направлении. Оставшиеся пять суток собачьей командировки Конифуций ровно в шесть долбил жопу и лизал нос не мне, а одуревшему от нечаянной животной любви доктору исторических наук А. А. Кредеру. Человеку, между прочим, знающему неимоверное число всяких историй. Кроме подобной.

Откровенно говоря, этот самый Конифуций и был предтечей выбора калмыцкого направления.

Марксист Хасин на самом деле тайно исповедовал махаяну. И мечтой его было достижение нирваны под сводами пагоды.

По непроверенным слухам, в расхристанной тибетско-буддистской Калмыкии еще не все ритуальные памятники дальневосточного идолопоклонства были перестроены в амбары и конюшни, и романтичный преподаватель набившего оскомину единственно верного учения задумчиво предложил на прощальном заседании нашего клуба винопутешественников:

— А неплохо бы старика Конифуция свозить в священные места. Быть может, в предыдущей жизни он был самим далай-ламой?

Так вот, Кони залаял не случайно. В торжественную минуту доставания зеленого змия нашу стоянку со всех сторон буднично окружили змеи черные, и похоже, что гадюки. Дико завизжали дети и жены.

— Только в гостиницу! — заорали матери.

Впервые мы послушали женщин и не поступили наоборот.

До столицы социалистической Калмыкии было полчаса душной езды. Неказистая гостиница называлась «Советская». Этикетка полностью соответствовала содержимому. Лунолицая девица на вопрос, есть ли свободные номера, не поднимая глаз от журнала «Мурзилка», ответила:

— Нет, и не будет.

— Почему? — поинтересовался я.

— Завтра республиканский съезд чабанов.

— А сегодня до завтра переночевать можно?

— Нельзя. Все места забронированы. А сколько вас?

— Четверо взрослых, двое детей и Кони.

— Сколько?

— Я же сказал: четверо взрослых, двое детей и Кони.

— Коней сколько, мужчина, я спрашиваю.

— С собой ни одного, — поперхнулся я догадкой, что нас приняли за чабанов, — это собачку нашу маленькую так зовут — Кони. Полное имя — Конифуций Лхасин. Мы за него как за взрослого платим.

— Значит, всего семеро. Так-так-так. Есть свободные койки в общежитии на шестнадцать человек, — сменила фазу Луна. — Делегация прибудет завтра вечером.

— Понял. Беру оптом.

Я не прогадал ни в чем — здоровенная в три окна комната с восемью двухярусными тюремными шконками стоила в сутки восемь рублей ноль копеек — по шестьдесят копеек нижние

места-люкс и по сорок верхние — эконом-класса.

Пока мамаши стелились и укладывали детей на попечение блохастого стражника, мы с Витей спустились в ресторан. Было после семи. Государственный антисемитизм — запрет на продажу спиртного после семи вечера — в напуганной недавним геноцидом Калмыкии распространялся и на питейный общепит.

Те, кто заказал водку до часа быка, были уже пьяны и под заунывные песнопения дружно пили лимонад. Тем, кто наивно пришел после отбоя, из крепких напитков предложили плиточный калмыцкий чай с молоком. Утомленный солнцем Витя заплакал: он очень не любил плиточный калмыцкий чай, тем более с молоком, а без стакана водки на ужин не представлял себе ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Я зубом поклялся другу, что водку нам продадут.

Буфет располагался в вонючей раздаточной. Там же стайкой околачивались официантки в отутюженных вместе с лицами чепчиках-наколках. Я вошел в тесное помещение, вежливо поздоровался и попросил бутылочку водки. Если вы когда-нибудь видели, как вышел месяц из тумана, то узнать в лицо пораженных калмычек не составило бы труда. На лбу улыбчивого чужеземца слюнями был приклеен имевший хождение наравне с привычной для этих мест разменной никелевой монетой полновесный советский червонец. Такого в забытом богом и забитом полубогом товарищем Сталиным степном захолустье прежде не случалось!

Водку нам принесли вместе с едой. В бутылке из-под лимонада.

Еда называлась хурен-махн-гуертяган — вкусное жареное мясо, может быть, конина, на куче вареной лапши. Очень рекомендую!

ШКОЛА МУЖЕСТВА

Календарно стояла весенняя оттепель, но на зимних еще ветвях застойно сверкала снежная андроповская изморозь. Поэтому вердикт суда пристяжных членов педсовета был суров и справедлив: «За пропаганду фашизма и сионизма рекомендовать выставить учащемуся девятого класса "А" Глейзеру Илье годовую оценку за поведение — 2 (неудовлетворительно)».

О чем вовсе не огорченный приговором сионацист и сообщил родителям — жене и мне.

— Все кончено! — через пять минут, поднимаясь с пола, прошептала ушибленная известием жена. — Они нас добили!

— Это ты во всем виноват, — приняв тройную дозу валерьянки, продолжила она, лежа на диване, — за девять лет можно было хоть раз тебе сходить в школу?

— Еще не поздно! — с наигранной бодростью сказал я. — Но есть же и объективные обстоятельства.

— Какие? Что наш сын действительно еврей и антисемит одновременно?

— Да нет. Куда я пойду, если у меня нога второй месяц по пупок в гипсе! На костылях, что ли? Я и в машину не влезу!

— Да хоть ползком, змей подколодный! Надо срочно спасать сына!

Столь ответственный военный поход безусловно требовал не менее ответственной артподготовки. Дело в том, что в школу я ходил только в ту, в которой учился сам, да и ее часто прогуливал. И был уверен, что должен в семье сидеть на кормлении, а жена — на воспитании. Каковому принципу не изменял до сей поры. Понимая, что проблема носит в первую очередь юридический характер, я вызвал на допрос потерпевшего.

— Илюша, — весело, разыгрывая доброго следователя, обратился я к сыну. — Что за херню тебе навешивают эти макаренки? Объясни родному папаше содержимое этого компота. Пожалуйста.

— Откуда я знаю, — пошел в несознанку терпила. — Это русачка Мезенцева. Считает, стерва, что книжки не те я читаю!

— А какую-такую литературу ты там цитировал, чтец-декларатор?

— А ту, что у тебя и взял: «СС в действии» с полки и «Архипелаг ГУЛАГ», который на мятых листочках в обложке от твоей диссертации.

— Так, семидесятую статью, Павлик Морозер, для папани готовишь. И какие же публичные выводы ты сделал из

прочитанного?

— А то, что вышки с вертухаями можно поменять: гестаповцев в ГУЛАГ, а чекистов в Дахау. И те, и другие — одинаковые сволочи.

— Здесь члены педсовета правы, деточка, это явная пропаганда коммунофашизма. А сионизм в чем?

— Да козлы из восьмого класса в день рождения Гитлера на еврейском кладбище могилы покурочили. Их поймали и на классном собрании в присутствии мента строго предупредили. А я с Карлом Берсудским после уроков хотел во дворе им Карлушкиной бритвой (он всегда с собой опасную носит, для самообороны) обрезание яиц без наркоза сделать.

— А что помешало-то?

— Да убежали, гады, а потом завучу настучали.

Я твердо решил идти в школу.

Лучшей школой нашего района руководил заслуженный учитель РСФСР Самуил Рувимович Недлин. Муля, а именно так, по-кошачьему, его звали все от мала до велика, принадлежал к той самой когорте вечно молодых и румяных комсомольцев-добровольцев, которые поднимали в атаку массы, не выходя из окопов. Если они были инородцами, то обязательно карикатурными. А уж если евреями, то рьяными антисионистами. Эдакие местечковые генералы драгунские, профессиональные изменники исторической родине.

Муля всегда действовал по принципу: лучше инициативно перебздеть, чем безынициативно не добздеть. А судя по тому, что школой он руководил при Сталине, Хрущеве, Брежневе и теперь при Андропове, это ему удавалось.

Мой возмущенный разум кипел, когда я, весь мокрый от трудностей передвижения, по предварительному звонку появился у него в кабинете.

— Садитесь, — предложил мне кучерявый карлик. — Слушаю вас.

— Насколько я понимаю, Самуил Рувимович, у нас с вами одинаковая задача: воспитание детей. Не так ли?

— Так, — важно подтвердил надутый лилипут.

— А какая у вас как у директора школы зарплата?

— Какое это имеет значение, товарищ Глейзер?

— Очень большое и принципиальное с математической точки зрения. Сейчас объясню. У меня, доцента вуза, жалованье с надбавками пятьсот рублей. И двое детей. То есть я могу тратить на них в месяц до — пятьсот поделить на два — двухсот пятидесяти рублей на душу и тело. Ваша зарплата — триста рублей, а учащихся в школе — тысяча. Так что вы тратите на

воспитание чужих детей подушно — триста поделить на тысячу — не более тридцати копеек в месяц или копейку в день. Если к тому же сам бездетный сирота. Поэтому я тебе, приютский копеечник, не товарищ, как ты меня назвал. И разговор с тобой вести буду, не сюсюкая. Вот мое заявление в письменном виде. Читаю: «В связи с фашистской и сионистской пропагандой, ведущейся в средней школе номер тридцать семь среди учащихся при попустительстве директора «коммуниста» Недлина С. Р., прошу выдать мне на руки документы моего сына Глейзера И. для перевода его в другую, советскую, школу. Подпись и число». Будьте любезны, зарегистрируйте цидулю в канцелярии.

— Вы что, с ума сошли, товарищ Глейзер, я участник войны, политрук!

— Когда по моему доносу, а это, безусловно, донос, причем на взрослого человека, а не на ребенка, тебя будут по-черному ебать на партячейке, первый вопрос, какой я задам, если буду присутствовать в качестве потерпевшего, на чьей стороне, мразь, ты воевала и от кого шкуру свою поганую защищала. Я за сына своего ответчик и хребет тебе переломаю, сталинская сволочь, чтобы ты мальчишке жизнь не успел поломать походя!

И метко бросил в него костылем.

В общем, заявление мое заактировали, костыль вернули. И, опираясь на крепкие плечи двух здоровых балбесов — Ильи и Карла, ожидавших меня во дворе на куче мусора прямо под окнами директорского кабинета, я поплелся домой.

— Пап, а я на тебе трешку заработал! — сказал сынок. — Мы с Карлом поспорили там, на куче, оттуда, как в театре теней, все видно было, бросишь ты в Мулю костыль или нет. Я выиграл.

Шум был большой, но тихий. Муля даже извинился передо мной, хоть и не сразу.

Сынок из политических плавно перешел в уголовники: после первого курса университета загремел в армию, где и совершил первое преступление: скрытое дезертирство с отягчающими обстоятельствами.

Я имел к нему отношение. Дело в том, что для призывников 1985 года не применялась студенческая отсрочка. Восемнадцатилетние были в дефиците — второе послевоенное поколение. Предполагая это, я отдал ребенка в десятом классе не репетиторам по физике, математике, древнегреческому и латыни, а на курсы машинисток-стенографисток. Подростку это понравилось не потому, что профессия оказалась интересной, а потому, что в окружении одних девок значительность его несовершеннолетней двухметровой усатой фигуры удесятерялась. Но редкой профессией он все же овладел. И с дипломом

«машинистка-стенографистка первого разряда» приступил к срочной воинской службе на базе стратегических бомбардировщиков в городе Тапа Эстонской ССР, откель грозить мы были шведам и в чем летали через Пяндж. И не кем-нибудь, а спецписарем штаба округа.

Моя цель была достигнута. Шла афганская война, но не только в Тапе, но и в Кабуле моджахеды в штаб округа не прорывались. Они оттуда вырывались — начальником сынулиной базы был перспективный генерал-майор Джохар Дудаев!

«Хороший генерал, — писал с фронта интеллигентный писарь. — Ну, чисто бандит одесский — в морду тычет, а обращается на «вы!»

Через полгода службы — короткое письмо за подписью замполита полка: «Ваш сын, рядовой такой-то, временно находится в сумасшедшем доме. Если хотите, приезжайте. Примем как положено. Майор Генатулин».

Неудобно отказывать, едем.

Приехали.

Сначала добились свидания. Сынок в белых кальсонах, чистой рубахе, бодр, не очень сыт, но весел, на психа не похож. Слава Богу! Что со здоровьем, спрашиваем.

Показывает прямой указательный палец правой руки. Паралич, говорит, на почве переутомления пишущей машинкой. Не сгибается вторую неделю.

Выводит гостей во двор.

— Ну их в жопу, папа! По двадцать часов на ундервуде отчеты стучу. Из казармы в час ночи на дудаевской черной «волге», как мешок с говном, в штаб возят. А чтоб на передовую не загреметь, я редкое заболевание придумал: стойкое несгибание указательного пальца. Ни стрелять, ни печатать. Поставь вечером бутылку замполиту, я с ним уже договорился, переведет на запасной аэродром кочегаром. А то и вправду палец окоченеет!

Ну и сынок! Ген с хреном! Повесть о настоящем человеке с ружьем «Прощай, оружие»!

— А ночью-то ты как за пальцем следишь? — радостно спрашиваю. — Вдруг загнется?

— А я, как сова, днем сплю, папаня! Штабная служба жить через жопу приучила.

Оставив внутреннего дезертира в палате номер шесть, выпили в гостинице сначала с замполитом, потом командир полка как бы случайно присоседился. Выше них по званию ни с кем не кирял. И без Джохара получил сынок желанную должность.

В день дембеля воспользовался наш альтернативщик

служебным положением и сжег в топке парадную форму с аксельбантами. Приехал домой в трикотажном тренировочном костюме законченным пацифистом, исключенным из комсомольских рядов за ряд серьезных нарушений. В частности, за калымную разгрузку жидкого навоза, замарав им боевую солдатскую форму, у фермера-эстонца и распитие с возможным «лесным братом» четверти самогона под их довоенный государственный гимн. Красную Армию никогда не вспоминал, на пишущей машинке никогда не печатал. Окончил зачем-то университет, освоив ко всему прочему прикладную математику, и ушел в малый и средний бизнес «челночить» по всему миру.

Тоже мне, О Генри Киссинджер!

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

Имеретинский «сиятельный князь» Нугзар Абашидзе в голом виде не казался голым. Это была черношерстная десятипудовая горилла с не присущей этому примату осанкой бывшего солиста детского танцевального ансамбля Зестафонского дворца пионеров. Тщательно пробрив щеки и крылья носа, князь надевал белоснежную сорочку под костюм любимого цвета «электрик», открывал шлюзы своего природного обаяния и выходил в общество.

Общество князь делил на два пересекающихся множества — просто друзья и друзья по работе. Если с первым подмножеством все понятно, то по второму даю пояснения: Нугзар был цеховиком и не мог работать с недругами по тяжелой статье Уголовного кодекса «Частное предпринимательство» под угрозой лишения единственного, что князь любил в жизни, — свободы!

Его представления о ней были вполне марксистскими: материя первична, сознание вторично — поэтому, тратя на развлечения несчитанные деньги, Нугзар никогда не напивался до бессознательного состояния, был стражем порядка в любом беспорядке и выносил на себе всю тяжесть сломленных алкоголем собутыльников. Это был подлинный чемпион круглосуточного застолья и рекордсмен мира под оливками!

Он стал моим другом сразу после короткого знакомства и остался таковым навсегда.

— Ебал Гордеевич! Вот наш столик! — раскатистым баритоном позвал входящего в зал человека сидящий позади меня жгучий брюнет в костюме «электрик».

Мы были в ресторане с дамами, и нам резала слух ненормативная лексика. Я обернулся и сказал весело улыбавшемуся кавказцу:

— Как вам не стыдно, здесь же дамы!

— Вы, наверное, имеете в виду кавказского товарища Мамедова? Ебал Гордеевич, — обратился Нугзар к подошедшему приятелю, — предъявите, пожалуйста, гражданину свой паспорт для открытого показа этим высококультурным женщинам. Которые, к сожалению, не знают не только наших горских обычаев, но и наших гордых имен!

В паспорте действительно оказалось произнесенное вслух скандальное имя! Все дружно засмеялись, и наши столики сами собой сдвинулись воедино. На прощание мы обменялись телефонами.

Шли годы застоя и застолья. Нугзар рыскал по европейской

части державы в поисках честных друзей, с которыми было бы можно безнаказанно воровать у государства лимонную кислоту — стратегический компонент для фальсификации фруктово-ягодного сока.

Но большинство цеховиков-соковиков, как результат проводимой лимоново-бананным государством кампании, уже сидели на воде. И бедный (в основном значении этого слова) князь решил отсидеться тоже. Но не за привычной решеткой, а в славном городе Краснодаре с женой, детьми, тестем и тещей — более убедительного алиби у очарованного наживой странника и не могло быть!

«В грустии полной дни проходили, ночи казались исчадием тьмы». Но настоящий друг всегда придет на помощь! По первому зову я с физкультурником-культуристом Левой Циркулем вылетел на выручку узнику семьи и нечистой совести в не по-зимнему солнечный город Краснодар.

Экстренной помощи сопутствовали уважительные обстоятельства: моя жена с детьми уехала на школьные каникулы к родственникам в Москву, и я мог на всякий случай скрыть от любимой свое недолгое отсутствие.

Для приличия всласть попив домашнего вина и попев староказачьих песен с въедливым старикашкой-тестем, три товарища на старом жигуленке решили совершить короткое путешествие туда и обратно по местам недавно открывшейся боевой славы пятижды Героя Советского Союза генсека Л. И. Брежнева — на Малую землю курортного городка-героя Новороссийска. И только!

Но до этого я успел стать нудистской легендой Кубани. Остановились мы с Циркулем в гостинице «Мотель», и рано утром в день отъезда князь в сопровождении местного авторитета, седого международного вора на пенсии батоно Котэ, появился в нашем номере на первом этаже. Батоно с подачи князя охранял на общественных началах наш покой.

— Бандитский город этот Краснодар, — пугал нас Нугзар, — мой тесть, не абрек, а старый пердун, и тот в сундуке ржавую казацкую шашку держит!

Котэ по специальности владел двумя европейскими и всеми закавказскими языками. Нугзар был выпускником Плехановской академии. Я с культуристом Левой — университетчики. Поэтому иного разговора, как о доминантах, у нас и не могло состояться.

Итак, насколько же главенствующая идея превалирует в обыденной жизни над стереотипами поведения? Спорили мы под свежее пиво. Я отстаивал с таранькой на устах всеобщность сего утверждения, грузины упрекали меня в чопорной академичности.

На ярком бытовом примере я взялся доказать свою правоту:

— Через пятьдесят шагов по коридору в холле за стойкой сидят администраторы, высокомерно презирающие приезжих, не могущих дать достойную взятку. Несчастные гости Кубани сидят на узлах в том же холле в ожидании чуда размещения. Их мысли и поведение обращены только на это, окружающая жизнь их вовсе не окружает — они доминантны в моем понимании, и я на пари сто к одному сейчас вам это докажу!

Пари тотчас было заключено — бутылка пива с двух грузин против пяти ящиков с моей стороны. Я разделся догола, оставшись в одних носках, вышел из комнаты, на глазах размещающихся подошел к стойке, извинился, спросил, когда можно расплатиться за номер, получил скучающий ответ и при полном оцепенении присутствующих вернулся к ошалевшим спорщикам, даже не успев покрыться от вестибюльного холода мурашками. Князь вскричал в восхищении:

— Котэ, батоно, как же нужно знать предмет, чтобы так отлично сдавать по нему экзамены! Ты, наверное, подумал, что мой друг Валодия — цинический хулиган, а он кандидат математических наук, профессор, и это — его доминанта!

— Он всего Пушкина наизусть знает, — тотчас польстил мне Нугзар, — а в Арзрум не путешествовал, а? Стыдно, Валодия, ой как стыдно!

— Но Арзрум — это в Армении! Ты же грузинский патриот, у вас с армянами война в анекдотах нескончаемая!

— Я не такой культурный товарищ, как ты и Лева, всего Пушкина не до конца читал, но в этой книжке — все про Грузию, и с правильной точки зрения великого русского человека. Поехали, генацвале, уже недалеко, по пушкинским местам — все не покажу, но хаши покушаем, а?

Нашей первой остановкой был погранпост на въезде в винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо», на мое удивление давящий лозу прямо на черноморской границе родины. Видимо, из-за кромешной темноты пограничники приняли врученную им хрустящую трехрублевку за официальный пропуск и запустили честную компанию в запретную зону.

В Абрау мы тотчас нашли замдиректора Тенгиза, быстро отдегустировали слабоалкогольную продукцию, а уже под утро остановились на базаре поселка Лазаревское, где в этот ранний час бойкой торговли не было. Преждевременно явившийся с мешком мандаринов похмельный инвалид сразу же после нашего отказа приобрести у него за бутылку оптом весь субтропический товар поднял дикий скандал по приписываемому нам скопом кавказскому национальному признаку. Буйство слов убогий

сопровождал прицельным мандаринометанием ненужного теперь товара.

Смиренный Нугзар для успокоения нервного инвалида забрал у него мешок раздора, повесил на забор, на высоту, недосягаемую для остальных участников драмы, и только поучительно сказал:

— Дед, знаешь лиса и виноград? Будет — козел и мандарины! — как к нему на плечи прямо через забор перемахнул вооруженный настоящим пистолетом гражданин в штатском, через десять минут после нашего ареста оказавшийся начальником местного угрозыска капитаном Балыченко. В надевании наручников ему ловко ассистировал стажер-практикант Мансур.

Доставленные в участок за нарушение общественного порядка, мы были обысканы. В результате чего на столе капитана оказались наши носовые платки и кучка денег, в основном принадлежавшая замдиректору Тенгизу.

Начальник угро на носовые платки не обращал никакого внимания, а князю сразу сказал, что его фотография на паспорте принадлежит другому человеку. И был по-своему прав — за двое суток у небритого Нугзара на носу выросла такая густая щетина, что он не был похож не только на человека с паспорта, но и на человека вообще!

Напряжение возросло, когда капитан предложил поместить Лжеабашидзе в камеру на трое суток для выяснения личности. Я испугался, что за столь продолжительное время наш друг обрастет щетиной так, что запрос о нем уйдет в сухумский обезьяний заповедник; его там, конечно, опознают и из клетки для высших приматов уже никогда не выпустят на радость любознательным детишкам. После такого достоверного прогноза сыщик задумался и еще раз не обратил никакого внимания на мятые носовые платки.

Я понял намек и предложил взятку. Капитан взялся за оружие и гневно сказал, что знает, как постоять за честь мундира, и князя-самозванца отведут в камеру уже вместе со мной. И вновь скользнул взглядом мимо платков. Я пошел ва-банк, предложив капитану скоротать оставшееся до заключения время, сыграв в шмендефер (азартная игра в угадайку на деньгах: зажимаешь в кулаке купюру и предлагаешь противнику назвать любые порядковые цифры из номера банкноты, у кого сумма больше — тот и выиграл).

— Последнее желание перед казнью, гражданин начальник, дай Бог, хоть в этом повезет!

Балыченко согласился, я взял со стола четвертак, капитан сделал заказ, я, не глядя на купюру, поздравил его с выигрышем.

Так, не беря взяток, угро заработал сто рублей и, вернув носовые платки, остаток денег и документы, вступил с нами в простые и неформальные отношения.

— Мансур, — сказал уже товарищ начальник, — купи на выигрыш водки и забрось вещдок в воронок. Мы с друзьями едем на природу!

Мерзкий туман покрывал поросшие густым репейником поэтические отроги Кавказского хребта на окраине города-курорта Лазаревское. А вещдоком оказался мешок помятых мандаринов бойкого инвалида. Не было лишь стакана.

— Меня здесь каждая собака уважает, — сказал Балыченко и побежал в крайнюю хату.

Через минуту он оттуда выбежал, но не один. Колотя его палкой по башке, за ним бежала женщина в черном одеянии и кричала:

— Сына посадил, мент поганый, тебе мало, сволочь, еще и стакан просишь!

Вмазали из горла под конфискованный источник неприятностей и, отправив взявшего на себя основной материальный и гастрономический удар винодела Тенгиза на легкую дегустационную работу по месту жительства, продолжили путешествие в Арзрум.

В гостинице «Сухуми» мы заполнили анкету, где в строке «Цель приезда» я привычно написал: «Плановая дефлорация населения». Нугзар взглянул на шпаргалку через мое плечо и осуждающе сказал:

— Валодия, я знаю это плохое слово, а ты не знаешь абхазцев — по местным обычаям нам или отрежут яйца, или заставят жениться!

— Ты уже женат, так что самое страшное из наказаний тебе не грозит, — успокоил я друга, — эту чепуху никто и никогда не читает, проверено жизнью! А выглядит солидно.

Однако администратором оказалась бывшая медсестра, и нам срочно пришлось исправлять «опечатку», заменив противодевственное «ф» на гражданскооборонное «х».

Утром нас ждал перед гостиницей небольшой эскорт черных «волг» под командованием родного брата Нугзара Заура, тоже сиятельного имеретинского князя и тоже цеховика. Брат Заур был в расцвете своей коммерческой славы, сорил деньгами, не зная, что жестокий меч Немезиды уже занесен над ним со стороны Географического общества при Академии наук СССР.

Дело в том, что изделие брата «Сок барбариса» пользовалось огромной популярностью у населения, несмотря на десятикратное отличие в цене от такой же бурды «Сока

яблочного», что вызывало понятную злобу конкурентов. Уголовное дело, возникшее по этой причине, никак не подкреплялось биохимической экспертизой: не зря Заур тоже был выпускником Плехановской академии, но с красным дипломом.

Для подозреваемого в мошенничестве брата документом, решившим его судьбу, была справка упомянутого научного учреждения. Ею всезнающие паганели и обеспечили обвинительный вердикт: «Если со всех кустарников семейства барбарисовых в Северном полушарии (в Южном они не произрастают) собрать годовой урожай и выжать из него все соки, то получится величина, в сто раз меньшая объема продукции, представленной на экспертизу»!

— С самий Первим говорил, дэнги предлагал, смеется старая лиса — мало даешь, конфискацию назначу — все отдашь! Я его маму ебал, жалко женщину, — переживал позор православный князь, по недомыслию и жадности совершивший преступление в коварном басурманском Азербайджане.

И старшего князя посадили, и с полной конфискацией! Сдержал слово самий Первий! А младший князь горько плакал:

— Дэнги никогда не считал, витязь в шкуре! Но посевную площадь почему не считал, а? О семье, детях, голодном брате подумал, а? Где мне столько лимонной кислоты взять, чтобы глупого Зурико на свободу выкупить, а?

Но и это, и то случилось позже. А тогда на смоляных лимузинах мы резво продвигались к Тбилиси с ежедневными перерывами на грузинское гостеприимство, в результате которого я наконец-то узнал, почему, в отличие от трезвых после многочасовых возлияний хозяев, пьяным был только один я (культурист Лева в отчетное время не пил, а принимал анаболики и качал трицепсы).

— Слушай, Валодия, — сказал однажды мне Нугзар, — нельзя все время на тостующего смотреть, кроме него за столом и другие порядочные люди сидят, ждут очереди. Когда тамада говорит тост за родителей, за детей — все пьют! Когда тостующий берет слово — один пьет. Раньше один, а теперь — всегда вместе с тобой! Удивляются грузинские товарищи, как ты до сих пор не умер, а?

В Тбилиси, поспешно придя в себя в воспетых Александром Сергеевичем тифлисских банях, мы как раз успели на семейный праздник к самому старшему сиятельному брату, директору гастронома Джемалу, уважаемому человеку, — исполнился год со Дня смерти его любимой жены. За столом собрались одни мужчины, человек пятьдесят, многочисленные женщины в трауре только подносили вино и еду — и то, и другое человек на пятьсот.

За полночь о «юбилее» забыли и перешли к политике. Маленький, толстый и лысый патриот поднял бокал за самого знаменитого грузина — товарища Иосифа Виссарионовича Джугашвили! Все встали — я нет. Я не хотел пить за гада и пользовался безнаказанностью, обеспеченной братской княжеской дружиной. Толстый провокатор ткнул в меня пальцем:

— Нэ будэшь пить? Пачему?

— Слушай, если твоего дедушку расстреляли, а бабушку посадили, ты бы пил?

— Сосо не расстреливал, Лаврентий расстреливал! Будэшь пить?

— Сначала за шаха Аббаса выпей, потом я за Сталина, так на так!

Иранского шаха Аббаса, средневековой целью которого было полное истребление грузин, в солнечной республике знали все лица закавказской национальности. Тенгиз, так звали собутыльника, бросился на меня с ножом. Его перехватили, провели сепаратные мирные переговоры, чего-то наболтали обо мне. Да так, что на кухне тем самым кинжалом, который должен был проткнуть мое политизированное сердце, мы с Тенгизом поочередно порезали каждому большой палец левой руки, слили кровь в бокал с вином, разлили его пополам, выпили и стали кровными братьями.

Фамилия моего единственного кровного родственника — Китовани, тогда он был только что выпущенным из тюрьмы уголовником, а потом — силовым министром новогрузинского правительства. В эту пору Нугзар выслал мне справку на бланке Министерства обороны независимой Грузии, каллиграфически написанную твердой рукой бывшего тюремного художника: «Дана Глейзери Валодии в том, что как кровному брату, ему обеспэчивается бэзпрэпятственный проезд по всей стране. Министр Китовани».

Наступило долгожданное расставание в тбилисском аэропорту. Еле достав билеты на редкий рейс Тбилиси — Саратов, мы распивали на посошок домашнее кахетинское вино. Грузины всеми доступными средствами боролись за отделение от метрополии и объявили посадку на грузинском языке.

Нугзар в это время сквозь поток крупнокалиберных слез произносил прощальный тост, и ему не было никакого дела до шума мегафона. В результате мы с Левой опоздали на самолет. Трагедия состояла в том, что я обещал завтра встретить на вокзале в Саратове свою жену с детьми, возвращавшихся из столицы со школьных каникул. И конечно же не знавших о разгульном отсутствии папаши.

Единственно правильное решение было принято мгновенно: мы вылетаем в Москву, успеваем сесть на поезд, в котором едет семья, а там что-нибудь придумаем на месте. Так и сделали. Еле успели на отходящий экспресс, я в изнеможении свалился на полку, а Леву, как непьющего спортсмена, отправил посмотреть, в каком вагоне едет жена с детишками. Циркуль явился в недоумении: семью он не нашел.

Мы проснулись, когда состав уже прибыл в пункт назначения, вышли из вагона последними, и тут:

— Пиздец, вот и Арзрум, — трусливо хихикая, сказал автор надвигающегося скандала Лева, показывая трясущимся пальцем на мою жену, детей, на коробки и картонки, сиротливо ожидающих встречающего папочку!

Как все спортсмены, односторонне развитый культурист пробежал по составу только в одну сторону, сделав неправомочное обобщение на другую.

Радость встречи была взаимной. Я еще долго не рассказывал жене о тайном путешествии в Арзрум.

ЗНАМЕНИЕ

В приснопамятные времена застойного веселья я пребывал в столице в никому не нужной служебной командировке и в коридоре Министерства образования встретил голодного коллегу Соколова, очкастого и тощего аспиранта молодого и перспективного ученого Димы Трубецкова, близкого друга и однокашника моего гениального брата Юры. Сам брат Юра жил неподалеку — в полутора часах езды на электричке в рабочем поселке Лоза, на окраине славного городка Загорска, бывшего и будущего Сергиева Посада, и вместе с нашим отцом, потомственным агрономом, держал огород. Так что на обильный подножный корм в их гостеприимном доме всегда можно было рассчитывать. Стояла душная июльская жара, денег ни у меня, ни у коллеги Соколова уже не было, а жрать хотелось. Именно на этом веском основании мы «зайцами» и прибыли александровской быстрой электричкой на станцию Загорск.

Нас поразило, что на далеко не конечной остановке на платформу вывалил весь поезд. И оказалось — не случайно! Был не просто июль, а восемнадцатое июля — Сергиев день, важнейший после Рождества и Пасхи православный праздник у градообразующей Троице-Сергиевой лавры, местоблюдения святейшего патриарха всея Руси Алексия, лет ста от роду. Куда и пер христианский люд на торжественное стояние.

Коллега Соколов от природы был и прирабатывал самодеятельным художником и фотографом и всегда таскал с собой аппарат «Зенит» с целью увековечения неожиданных великих событий, коими испокон веков полнилась наша великая и необъятная на это дело родина. Посему переход голодающих Поволжья к месту едения был временно отложен для наблюдения за местом блюдения.

На центральной площади Лавры, посередь церквей и часовен, лицом к патриаршей ризнице тихо и благостно стояла в ожидании чудесного явления старца тысячеголовая толпа верующих, маловерующих и неверующих. Говорю об этом столь категорично, так как двух неверующих из этой толпы я знал точно. Ни я, ни коллега Соколов не были ни крещеными христианами, ни сектантами-пятидесятниками ни даже вольнодумцами-шестидесятниками, а были просто наглыми, молодыми, голодными и любопытными. Пока фотохудожник выбирал подходящую точку для производства съемок как узкого, так и широкого плана, народ безмолвствовал. Мастер моментальной фиксации быстротекущей жизни выбрал ракурс на

перилах трапезной, где с трудом, этакой цаплей устроился на выступающей уголком первой балясине. Вторая нога на столь малой площадке не уместилась и инвалидно болталась на ветру.

Причиной добровольно созданной трудности был некий спор, подобающий случаю, о взаимоотношениях толпы и личности. Где в качестве наглядного примера я вспомнил рассказ молодого ученого Трубецкова о его незабываемом участии в студенческие годы в четырнадцатом съезде комсомола. А именно ту потрясшую исключительно самоорганизованного юношу часть, когда в президиуме съезда неожиданно появились все члены другого президиума, поглавнее — ЦК КПСС во главе с «дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Ура!». Истерическое ликование толпы регламентирование поддерживалось подставными ваньками, которые из разных «неожиданных» мест истошно орали поставленными голосами: «Слава родной Коммунистической партии!!!», «Народ и партия едины!!!» и другие несложные славословия в тот момент, когда вставшая в едином порыве толпа делегатов устало присаживалась на свои места. Со слов потрясенного Трубецкова, эта магия ора продолжалась около часа, и одна беременная комсомолка, попавшая на сборище то ли по недосмотру, то ли по специальной квоте, забилась в преждевременных родах и, якобы, публично родила в фойе Колонного зала Дома союзов сильно недоношенного, но чудесно здорового, пузатого и абсолютно лысого малыша.

По этой причине, а может, по другой, по уверениям рассказчика, младенца тут же дружно нарекли «дорогой Никитка Сергеевич» и вручили ему именной комсомольский билет со значком. Опять же якобы, а не наверняка, отсутствующего на фойевых октябринах мужа пресвятой комсомолицы совершенно случайно тоже величали Сережей!

Но вконец ошарашен и морально убит беспартийный и сдержанный в эмоциях будущий ученый был вовсе не этим, а тем, что неожиданно обнаружил самого себя орущим вслед за ваньками здравицы в честь всех многочленов главного президиума подряд. Столь непредусмотренная потеря невинности в процессе группового идеологического изнасилования еще долго мучила ночами бывшего делегата кошмарными эротическими сновидениями про плешивых младенцев обоего пола с комсомольскими значками на развевающихся пеленках.

Я заверил коллегу Соколова, что я — выше толпы и если она бухнется на колени (к чему явно шло), то я супругой Лота застыну над нею. И пусть фотолюбитель это запечатлеет для родных и близких, включая потомков, в назидание.

Дело в том, что определенный опыт идеологического

противостояния у меня был в недалеком прошлом. Под влиянием православной жены, а также поддавшись экуменистическим веяниям времени, я привез когда-то в Лавру своего пятилетнего сына с ознакомительной, в первую очередь, целью. Сидя у меня на руках, ангелоподобный младенец просмотрел свысока красивую службу в битком набитом храме до момента полного сценарного затишья, и в акустической тишине громко сказал, исходя из своего классического воспитания:

— Папа! Попов-то тут много, а где же Балда?

В тот раз смиренные прихожане нас не убили.

Когда под звон колоколов служки в красивых парчовых рясах вытащили престарелого пресвятейшего под мышки из ризницы вручную (папамобилей еще не изобрели), толпа таки рухнула оземь. А я — нет. Я столь гордо и одиноко позировал в объектив, изображая ведущего Клуба путешественников на лежбище тюленей, что последующее не углядел никто, кроме фотокорреспондента, — надвигаемый прямо на меня святейший был слеп, а несущим его служкам по службе было явно не до меня. Хотя я ошибаюсь, свидетель был. Но о нем — потом.

Итак, держу скалозубую американскую улыбку до ушей, глазки щурю — жду, когда птичка вылетит. А она вылетает вовсе не из камеры, а с небес. Большая синяя птица — мой голубь сизокрылый. По фамилии Покрышкин. Фрицы-извилины в башке предупреждают: «Ахтунг, ахтунг!» Поздно! Пикирует ас прямо на меня, на бреющем полете открывает бомболюк и сбрасывает на цель тонну жидкого помета в сероводородном эквиваленте. Вся публика — влежку, а я над ней во всем белом!

Знаете, почему цапля на одной ноге стоит? А потому, что если и ее подогнет, то в болото свалится! Так и рухнула, давясь от хохота, с балясины в толпу моя одноногая цапля с «Зенитом» в руках. Потому и получился последний архивный фотокадр прицельного пометометания смазанным. А я по молодой несдержанности заржал до упаду в прямом смысле слова и очутился задом вверх среди аналогично расположенных прихожан и им сочувствующих. Как Дима Трубецков на комсомольском съезде. Оглушенные регламентированным малиновым звоном со всех колоколен, коленопреклоненные делегаты православного съезда точно так же не обратили никакого внимания на мое грехопадение — мало ли на папертях юродивых!

А черный монах, который сзади в дверях часов ни стоял, все видел, в серебряном кувшине водицы (упаси, Господи, не святой ли?) мне подал для омовения и говорит:

— Нехристь, что ли?

— Даже еврей, — отвечаю.

— Это Господь наш всемилостивый душу твою заблудшую с небес благословил. Креститься тебе надобно, сын мой, после святаго знамения.

И я бы, ей-Богу, крестился, но больно очередь большая была и очень жрать хотелось. И мы с охромевшим коллегой Соколовым, дружно облизываясь, продолжили атеистическое путешествие к бесплатному братову огороду.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

В пору моей молодости ходил в университете такой дискриминационный анекдот: «В мясном отделе гастронома на прилавке лежат мозги двух сортов: математика по три рубля и историка по тридцать три рубля кило. С виду — одинаковые. Покупатель интересуется, почему такая разница. Продавец поясняет, сколько голов историков надо забить, чтобы этот килограмм наковырять».

Почему на этом прилавке не было мозгов политехников, я понял только тогда, когда начал с ними работать.

Мой старший товарищ по пьянкам и гулянкам, сам профессор и сын профессора Алик Кац (не путать с другими носителями этой самой распространенной после Иванова-Петрова-Сидорова фамилии в г. Саратове) по итогам добытой мною в боях ученой степени пригласил молодого кандидата наук доцентом на свою кафедру в Политехнический институт.

Предложение было заманчивым по двум причинам: значительное повышение в зарплате — раз и еще более значительное ее повышение на сказочных условиях — два. Кац чужими, то бишь государственными деньгами платит мне столько и еще полстолька за научную работу, в которой я не буду принимать никакого участия!

Принципиальный отказ от университетского правила работать головой на оборону за гроши вовсе не был проявлением моего пацифизма или тайного служения мировой закулисе, а следовал из полного и окончательного разочарования в надобности этого занятия.

В последнем я убедился на примере тягомотной попытки по молодости и горячности использовать на практике результаты своих исследований. Которые, по самым скромным подсчетам, экономили родине миллионы, но не давали ни рубля заинтересованным не в этом чиновникам оборонных министерств. Вот почему на самом деле я и согласился уйти из университета.

После достижения принципиальной договоренности с работодателем я высказал сомнение в самой возможности моего прохождения в должность: как ректор Политеха, небезосновательно подозреваемый в жидоморстве, согласится еще на одного еврея на кафедре Альберта Каца?

Не по дипломам наивный баловень судьбы, которого взяли из

секретного оборонного НИИ в Политех только из-за катастрофической нехватки в этой богадельне докторов наук, и не по какой другой причине, в горячке заорал:

— Спорим на бутылку, что нашему ректору нужны кадры, а не чистота расы, сионист пархатый! Пиши заявление, заполни листок учета кадров, и я лично к нему пойду!

Так и сделали. После визита Кац явился ко мне взъерошенный, как мокрая кошка, — ему отказали по прочтении учетного листка. Однако несостоявшийся антирасист за так сдаваться не хотел:

— Понимаешь, в чем дело? Я же беру тебя доцентом по кафедре высшей математики, а твое базовое образование — физика! А ты все свое — еврей, еврей! Прошли эти времена!

Тут взорвался уже я:

— Спорим пять к одному, что я еврей, а ты — осел! Ну, ладно-ладно, не осел, а карась-интернационалист. Доказываю. Я срочно переписываю учетный листок, оставляя все как было, меняя только «еврей» на «русский». Ты же через неделю идешь к своему русопяту, как будто вышел на новенького!

И снова Кац явился с визита как мокрая кошка:

— Ты выиграл пари. Этот славянофил посмотрел на анкету и сказал: «Вот это другое дело — нам, в политехническом, не нужны задроченные математики, эту науку в силу нашей специфики должен читать именно неяйцеголовый ученый-патриот!» Но как ты изменишь пятую графу в куче документов, если он бьет не по роже, а по паспорту?

— Это не твоя забота, — гордо сказал я. И я знал, что говорю!

Через три дня мой родственник, художник-халтурщик Самара, используя только ему известные ядохимикаты и колонковую кисточку с двумя волосками, сделал из меня документально чистого русского парня, и я был принят в политехнический!

Так с меня была смыта врожденная соломонова печать иудаизма, и я почти два десятилетия работал в арийском тылу, читая с эстрады вопиющий в пустыне наук курс политехнической высшей математики.

Отличие этой математики от математики вообще заключается в том, что в политехнических вузах фундаментальных наук не изучают, а до мозолей на заднице зубрят справочники, созданные всем предыдущим человечеством. Местная поговорка «Сдал сопромат — женись!» абсолютно жизненна: сопромат — это самый толстый справочник в мире после Британской энциклопедии!

С неожиданным изобретением в 1943 году компьютера в пику

привычной логарифмической линейке надобность во всех многоумных технических справочниках постепенно, но верно отпала — консоли и шпиндели рассчитываются с той поры простым нажатием кнопки, что, безусловно, должно было привести к естественному отмиранию политехнических атавизмов. Но только не в нашей стране мира, счастья и непроизводительного труда. На радость армады патриотических толкователей справочников.

На кафедре физики и математики работали, естественно, выпускники университетов, хотя осетрина была и не первой свежести. Другие кафедры, а с ними и факультеты, почему-то носили названия из трех букв — ТМС, ПГС, МПС, ГТС и т. д. и т. п. Дешифровать эти аббревиатурные абракадабры не брался тогда и не берусь сейчас. (Между прочим, название популярной телепередачи КВН родом из политехнического института!)

Звоню коллеге по внутреннему телефону, в ответ:

— Заведующий кафедрой Козлов слушает!

— Это кафедра КПК?

— Нет, МХП. А что это за кафедра КПК?

— Кафедра политехнических козлов, как я понял из вашего четкого ответа.

Деканом нашего факультета ТХВ была пожилая красивая тетка, конечно, профессор и доктор каких-то трехбуквенных наук. Она, подобно американцу Гудийру, который тридцать лет подмешивал в каучук всякую пакость, пока случайно не насыпал в него серу и не стал знаменитым изобретателем вулканизированной резины, что-то подливала в полимеры, каждый раз получая новый (а какой же еще?) материал. Это были постоянные научные достижения, которые публиковались в соответствующем трехбуквенном журнале. Вы не поверите, но у тетки было до ста «научных» публикаций в год! За это тетку уважали и ценили коллеги. Ведь на кафедрах, где навинчивали гайки на болты, такого интеллектуального раздолья не было!

Абитуриенты в богадельню набивались с самых дальних окраин тогда еще необъятной родины. По-русски они не только не писали, но и не говорили. На математике, как раз наоборот, четко читали именно по-русски. Например, «икс» и «игрек» называли «хе» и «у», а над «зет» надолго задумывались.

Засилье некоренных национальностей было на нечистую руку членам приемной комиссии, так как только эти — с трудом поступавшие — могли быть источниками наличных личных поступлений в застойно недоборном вузе. В отместку басурманы регулярно срывали текущие занятия пятиразовым намазом, и перед этим атавизмом и партия, и комсомол были бессильны.

Кац собрал преподавателей и конфиденциально сообщил им о тайном решении парткома и ректората, по которому всем-всем-всем следует заняться активной агитацией местных школьников-десятиклассников подавать заявления в наш замечательный институт. Кто будет увиливать, тот будет строго наказан летней ссылкой в руководители студотрядов.

Во избежание неминуемого возмездия я на следующий же день зашел в незаметную школу № 38 по соседству с моим домом. Завуч долго возражала, но я подарил ей одеколон и был допущен в выпускной класс. Моя пламенная речь закончилась поголовным согласием покорных детишек учиться только в нашем институте. С двадцатью пятью лично подписанными заявлениями я вышел в лидеры агитпропа и стал живым примером четкого и беспрекословного выполнения поручений парткома и ректората.

Однако в окончательном списке абитуриентов не оказалось ни одного выпускника школы № 38! Кац вызвал меня на разборку. Я клятвенно подтвердил, что все заявления подлинные и попросил к барьеру ответственного секретаря приемной комиссии, благо тоже сотрудника нашей кафедры. На вопрос, в чем же дело, ответственный секретарь честно ответил, что все двадцать пять выпускников приходили вместе с родителями, но в приеме документов им было отказано, так как школа № 38 вовсе не средняя, а десятилетка для умственно отсталых детей.

Кац, как всегда, начал было тихо орать, но быстро успокоился и сказал глубокомысленную гадость:

— А ведь мы не знаем, не такие ли школы в дальних аулах и кишлаках ежегодно транспортируют нам учебный контингент?

Отставной полковник, секретарь парторганизации и наш доцент вдовый дядя Федя Лощинин нашел свое второе счастье не где-нибудь на средне-волжской равнине, а в горной кавказской стране Сванетия. Многонациональный состав учащихся стал сильно укрепляться лучшими представителями малочисленного, но гордого народа. Под лозунгом «Агропролетарии всех сван, соединяйтесь с дядей Федей!» абреки и кунаки стали бодро скупать зачеты и экзамены, которыми не торговал только я, и из принципиальных соображений — за все годы служения политехническим идолам я не поставил ни одного «неуда»!

Поэтому все каникулы у меня начинались на месяц раньше других преподавателей, нещадно и неоднократно все лето обрывавших «хвосты» у ими же затравленных безнадежных двоечников.

Дядя Федя был тоже принципиалом и не мог позволить нарушения неумолимого закона гор: если он платит калым за

«племянников», то исключений быть не может!

— Вениаминыч, — сказал мне в углу белый вождь темнокожих, — по четыреста рублей за Анзора и Гиви тебя устроит?

— Конечно, дядя Федя, только надо оформить этот платеж документально.

— Ты что, умом тронулся, ведь это же взятка!

— Правильно, дядя Федя, а я взяток не беру. Поэтому оплати денежный взнос в сумме восьмисот рублей в местное отделение Фонда мира, принеси мне квитанцию, и Гиви с Анзором сделают еще один шаг по извилистой горной тропе высшего образования.

Три дня секретарь партии мучился сомнениями, а на четвертый дунул, плюнул, заплатил и представил мне квитанцию. Так с моей помощью дело мира во всем мире снова сильно восторжествовало.

Расовое отличие дядифединой родни от местного населения привело к неожиданному этнографическому парадоксу.

В местной, а потом и в центральной прессе появились сенсационные сообщения о снежном человеке в городе Энгельсе (именно в этом пригороде Саратова и находился наш факультет).

Многочисленные свидетели описывали появление в зимних предутренних сумерках бегущего вприпрыжку огромного, голого, поросшего шерстью йети. Я громко смеялся, так как лично знал этого снежного человека! Им был хевсур Буба Абвгдзе, двухметровое чудовище с пятого курса. Как обычно, муж вернулся из командировки, и Буба традиционно выпрыгнул в окно в одном презервативе. Воля к жизни и густой волосяной покров на теле позволяли чудовищу выдержать любой мороз, но ноги, точнее ступни, единственное место, не покрытое шерстью, продиктовали ту смесь рыси и галопа, которой Буба и смутил суеверных аборигенов, когда вилял переулками по сугробам на пути в родное и холодное, как высокогорная Сванетия, студенческое общежитие.

Как в любой казарме, раз и навсегда утвержденные правила неукоснительно соблюдались в Политехническом. Когда пришло время избирать меня доцентом на ученом совете, мне было предложено подписать характеристику «треугольником» — администрацией, профкомом и парткомом.

Взяткодатель дядя Федя честно в углу предупредил меня о том, что есть «мнение» — характеристику мою не подписывать в связи с занятой мною позицией не отличаться от коллектива только в совместных пьянках. Поэтому я заготовил правообразующий документ за подписью не «треугольника», а «отрезка», вычеркнув автограф партии, в которой я никогда не

состоял и устава ее гарнизонной службы не придерживался.

Поднялся тихий шум — очевидно здравый поступок оказался для боязливых политехников беспрецедентным. Кац велел мне не выебываться, а выпутываться. Что я и сделал. Собрав папочку необходимых документов и будучи проездом в г. Москве, я записался на прием к академику Виноградову, известному математику, дважды Герою Соцтруда и одновременно начальнику математического ведомства в ВАКе — высшей аттестационной комиссии при Совмине СССР. Известен мне он был лишь по легенде, по которой якобы поставил на заявлении «прошу принять меня в аспЕрантуру» резолюцию — «в п Езду!».

А коли так — свой в доску!

После краткой шутовской беседы с образованными и смешливыми референтами я вне очереди предстал перед светилом.

Чисто математическая идея конформного отображения треугольника в отрезок привела академика в телячий восторг, и он на бланке ВАКа написал мне свой домашний телефон, подписавшись под ним крючком с расшифровкой, с настоятельной просьбой позвонить ему по окончании сей комедии. С этой бумажкой я и появился у завороженного парадоксами начертательной геометрии профессора Каца.

— Теперь действуй, Алик! Главный инквизитор Московии отпускает твои грехи! — сказал я торжественно и утомленно.

— Как ты попал к корифею? — поразился воспрянувший духом Кац.

Я нежно шепнул ему на ухо, что светило — мой родной дядя по двоюродному брату матери и чтобы он в это никого не посвящал. Альберт не послушал меня и на первой же встрече с политректором поведал ему чужую семейную тайну. На ближайшем ученом совете доцентом кафедры высшей математики, несмотря на пресловутый отрезок, я был избран пожизненно и единогласно.

Вообще-то, единогласие в этом заведении было напрямую связано с единоначалием. Этот самый ректор (конечно же, доктор трехбуквенных наук) был бессменным градоначальником города-героя Глупова-16, и население его страшилось, а значит, уважало.

Когда, вернувшись еще не реабилитированным из мест предварительного заключения, где проторчал изгнанником два долгих месяца (не года!), я в день счастливого освобождения на доследование из-под стражи в зале суда похудевшим и наголо стриженным криминальным доцентом явился на свою лекцию согласно расписанию, коллеги забаррикадировались дипломами и зачетками в праведном шоке. С нар — на пару! Без ректорского

благословения? Ату его, каина, ату!

Друг Алик с поля боя тактично и стратегично бежал и позвонил мне вечером домой по телефону:

— Володька, я рад тебя видеть на свободе!

— Видеть или слышать, гражданин начальник?

— Не придирайся к словам, а лучше скажи, что мне делать? Ректор в гневе!

— Ну, он в гневе, а ты — в говне? Так, что ли?

— А где же еще? Он строго-настрого сказал, чтобы и духа твоего в институте не было! Хотя ты знаешь, что никаких законных оснований для твоего увольнения нет.

— И для твоего тоже. Так что не тужи и не тужься, и тогда нам будет хорошо вместе. И по отдельности.

На следующее утро перед лекцией меня зажал в любимом исповедальном углу политрук дядя Федя:

— Вениаминыч, дружище, надо что-то делать. Положение аховое, народ в напряжении, партком должен отреагировать.

— На что, Петрович?

— Как на что? Ты же из тюрьмы явился, а дыма без огня не бывает. Может, ты временно отпущен под подписку?

— Дядя Федя, да у нас полстраны коммунизм до тюрьмы, в тюрьме и после тюрьмы с энтузиазмом строит! Как в песне-то поется — сегодня я, а завтра ты! Чего тебе от меня надо?

— Не хочешь по-хорошему, тогда в устной форме передаю вам официальный вызов в партийный комитет на разбор вашего персонального дела!

— Петрович, да я же не коммунист, что мне у вас на ячейке делать, я даже устава не читал, чтобы не признавать. Вы что, меня в большевики принять хотите? Для укрепления их уголовных рядов?

— Не оскорбляй партию в лице ее члена, кат!

— Федя, знай, что для партии ты — член, а для меня ты — хуй! И никому об этой занимательной анатомии не рассказывай, а то засмеют.

Чтобы не быть вторичным посмешищем, я, не отходя от кассы, тотчас заключил в преподавательской пари с шестью коллегами о том, что партай-полковник не вынесет на плечах груза военной тайны, а наш мальчиш-кибальчиш примет меры. Через десять минут в зал ожидания ворвался пионер Алька:

— Тебе что, уголовщины мало, на политику нарываешься?

— В чем дело, Альберт Маркович?

— В чем дело? Ты зачем Петровича хуем партии обозвал?

Взрыв хохота снял высокое напряжение. Трех честно заработанных литров хватило на проведение тематического

банкета по картине народного художника СССР Б. Иогансона «Допрос коммуниста». Беспартийный, но охочий Кац, как всегда, принял в обсуждении соцреалистического шедевра достойное личное (бутылка коньяка с лимоном) участие. Дядя Федя в одиночку тихо напился в обезлюдевшем парткоме.

Уволили меня по сокращению штатов, а через полгода по суду восстановили с выплатой всех денег за незаконное отстранение от труда. Хотя от него я не отстранялся: наверное зная конечный результат и ожидаемые денежные поступления, быстро построил на берегу Волги чудесную дачу с баней. Где за безудержным пьянством со злостными единомышленниками и дождался неминуемой реабилитации за отсутствием состава преступления.

За это время двусмысленная кафедра Каца естественным образом разделилась, и мой курс лекций попал на отпочковавшуюся с другим названием — кафедра высшей математики. А восстановили-то меня на прежнее место — к другу Альберту, на кафедру физики!

Я потребовал неукоснительного выполнения решения суда — читать высшую математику на кафедре физики, что являлось, конечно же, театром абсурда, а не судебной ошибкой. Но наша страна была именно этим театром, а мы были в нем актерами. Я отменно отпарился от жизненных невзгод и впечатлений и просто не мог отказаться от с неба упавшего развлечения.

Два месяца я, не работая, получал зарплату, отправляя ежедневно на адрес института отпечатанный на ксероксе в ста экземплярах жалостливый текст: «Прошу привести в исполнение приговор народного суда о чтении мной лекций по высшей математике на кафедре физики. Доцент Глейзер».

Наконец дело сдвинулось с мертвой точки, и мне домой звонит сама секретарша ректора.

— Товарищ Глейзер, ректор Политехнического института может принять вас по личному делу!

— По чьему личному делу?

— По вашему, о восстановлении в прежней должности.

— А я на нее и не рвусь, мне и так хорошо — солдат спит, а служба идет. Вы передайте, пожалуйста, товарищу ректору, что мое личное дело уже давно стало его наличным и что принимаю я в любое время. Все и вся подряд. Я вам писал. Чего же боле? Теперь ваша очередь — пишите и обрящете!

И я получил письмо за подписью ректора: «Передать, в соответствии с решением народного суда, курс лекций по высшей математике, читаемый доцентом Глейзером В. В., с кафедры высшей математики на кафедру технической физики. Доценту

Глейзеру В. В. незамедлительно приступить к выполнению своих текущих трудовых обязанностей».

Не верите, а я еще десять лет все это проделывал, в чем-то оправдывая мое почетное двойное звание кандидата физико-математических наук! Пока не уволился по собственному желанию стать бизнесменом.

Но что я все время о себе, любимом! За народ надо радеть-скорбеть: о потомках, бродящих в потемках. Об отцах и детях, и кто за кого в ответе. Все-таки удивительно, что интеллигентные папы и мамы, направляющие своих отпрысков в политех, не интересуются: а что же это такое? Хотя простой перевод на русский язык самого названия говорит все: «много навыков (приемов)»! И больше ничего. Наука не предполагается!

Поэтому трехбуквенные ученые степени в этой конторе изначально веселы — доктор строительных навыков или кандидат токарных приемов. А в нашей стране лучше лома нет приема! Вот и ломятся народные умельцы по простоте душевной в академики навык-наук.

Так, небеспричинно, в будние дни наш Политехнический напоминал разворошенный муравейник: профессора, доценты, ассистенты, лаборанты и вахтеры в руках, карманах и багажниках тащили с кафедр все, что не было монументально отлито в металле или бетоне. Как один, обладатели золотых рук, они изобретательно ваяли из унесенного с ветром утиля разнообразные предметы домашнего и садово-огородного уюта. Поэтому фундаменты их дачных домиков чем-то напоминали электромоторы, а столы, стулья, окна и двери — контуры лабораторных верстаков. В этой кулибинской ползуновщине был и позитивный элемент: в институте естественным образом поддерживалась убогая монастырская чистота, радующая зоркий глаз министерских комиссий и делегаций дружественных политехнических заведений.

А вот и конец анекдота: «Покупатель спрашивает: «А из политехников у вас ничего нет?» А вежливый продавец отвечает: «А это добро — напротив, в магазине «Хозтовары», отдел «Умелые руки». Недорого».

Гаудеамус игитур!

И СНИТСЯ МНЕ ТРАВА АЭРОДРОМА

Рядовая командировка в подшефный плодово-овощной совхоз «Новый» в качестве командира отряда первокурсников — бывших абитуриентов кончилась для меня очень хорошо: юные студиозы меня полюбили, а руководство возненавидело. Да так, что в знак презрения больше никогда уже на летние сельхоззаготовки не посылало.

Поместили меня с остальными отцами-командирами в трехэтажную хрущевку, специально выстроенную для этих прикладных целей, а ребятишек — в пока еще не достроенные бараки. Все вместе называлось «Лагерь труда и отдыха «Ровесник»». Утром кормили, везли в автобусах на поля, а вечером привозили. Это был труд.

С отдыхом было не так просто. После двух часов езды туда-обратно и восьми часов болтания под раскаленным солнцем отдых для большинства недавних домашних детей заключался в мертвецком сне до следующего «рабочего дня». Почему в кавычках? А потому, что работой то, что предлагалось, называть можно только в победных отчетах. Село, если и отличалось в чем-то от города, то лишь бескрайними просторами для всеобщего ничегонеделания.

С собой я захватил в качестве постельной книги «Кодекс законов о труде», предполагая заранее череду конфликтов как с аборигенами, так и с пославшими мя политехническими грамотеями. В первую же ночь любви к законам о труде я прочитал, что лица, не достигшие восемнадцати лет, являются несовершеннолетними и должны работать не восемь часов, а четыре — за зарплату совершеннолетних за восемь часов.

Утром я отделил от несовершеннолетних абитуриентов переростков — бывших второгодников и солдат запаса, которых передал по предварительному сговору коллеге Гильману, отцу-командиру второкурсников. После чего заявился с заложенными страницами к местному начальнику совхозного отделения. Он безотлагательно меня принял. За идиота. И в простых и доступных выражениях отправил восвояси. На прощание я предупредил, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра малолетки на работу не выйдут. А на четвертый день отдыха в лагере беззаконного труда «Ровесник» распрощаются с рабским филиалом политехнической альмы матери. Всю ответственность я благородно взял на себя, зная, что кодекс труда чудесным и неожиданным образом открывает мне путь к кодексу чести.

Назавтра, пронаблюдав веселый детский визг забастовщиков

на лужайке перед совхозной конторой и принародно изругавшись матом, малый начальник, фамилию которого я не только не помню, но и не знал никогда, телефонировал большому начальнику.

И тот прибыл на место преступления ровно по моему плану — на третий день.

Малый начальник, выставив совсем не овощную по калорийности задницу на обозрение забастовщиков, долго что-то объяснял не вылезавшему из автомобиля шефу. Потом отодвинулся, дав ему возможность высказаться.

Я бы никогда не вспомнил и фамилию докладчика, если бы не короткий диалог с ним перед конторой.

— Ты, ученый хуев! — заорал пузатый сельскохозяйственник, не вылезая из служебной «волги». — Я член бюро обкома Лопач. И я здесь командую, кому и сколько работать!

— Вы перепутали мою фамилию, я — ученый Глейзер, а не Хуев, уважаемый товарищ Жопач!

— Что ты сказала, сволочь?

— Я сказаж: товарищ Жопач — дежо в том, что я с детства твердое «эль» не выговариваю!

На этом прения внезапно прекратились — аргумент оказался убойным, и членовоз, подняв облако пыли, умчался в райком, а может быть, и в сам обком без ясной резолюции малому начальнику, что же ему делать с укороченной наполовину рабсилой.

На следующий день бригада малолеток была откомандирована на синекуру — помогать корейцам пропалывать лук. Участок у узкоглазых шабашников из дружественного Таджикистана был маленьким и ухоженным, так что в помощи они по большому счету и не нуждались. Час туда, час обратно: трудодень из четырех часов пролетал быстро и не утомительно. На радость юным батракам. А каким горем луковым занимались кимирсены и лисынманы, я понял чуть позднее.

В нескольких километрах от лагеря труда и отдыха «Ровесник» Политехнического института располагался лагерь отдыха и труда «Энтузиаст» госуниверситета. И отцы-командиры последнего зазывали меня, своего старого собутыльника, заехать к ним как-нибудь на товарищеский ужин с воспоминаниями. Что однажды мы и проделали с коллегой Гильманом, малопьющим, но легким на подъем.

Было это в вечер выходного. Водку я закупил в городе, загрузив ее в багажник своей «копейки», захватил по пути коллегу Гильмана с горячей домашней помывки под пивко и без промежуточной остановки в месте нашего предназначения

прикатил непосредственно в лагерь «Энтузиаст» по забитому автотранспортом шоссе. Воспоминаний об ужине с воспоминаниями о днях минувших у меня не осталось — ужин как ужин. Но возвращаться в подпитии по трассе было несерьезно. Тем более что плохиш Гильман открыл мне военную тайну: от лагеря до лагеря можно проехать по взлетно-посадочной полосе секретного аэродрома стратегических бомбардировщиков, базирующихся за околицей совхоза и лагерей. Ни ментов, ни охраны. На всякий случай возьмем полбутылки — и охрана самоликвидируется!

Попрощались. Поехали. Беспрепятственно въехали на взлетно-посадочную полосу. Набрали скорость. Пьяненький Гильман визжит:

— Не бери руль на себя, Коккинаки, а то взлетим!

Полоса ровная, железобетонная, вся в цветах метровой высоты. Красотища!

Вдруг коллега Гильман как заорет:

— Остановись, Володька! Свети на обочину! Это же Papaver somniferum! Мак опиумный! В промышленном масштабе! Во дают!

Вышли из машины. При свете фар картина потрясающая: разноцветье от белого до синего, в алых пятнах. И ни души.

Бывший пионер-мичуринец Гильман с видом знатока-наркодилера отковыривает с верхушки куста уже поврежденную кем-то цветочную коробочку.

— Атас, Володька, жмем отсюда по-быстрому — это настоящая наркоплантация, честное слово старого юнната!

До лагеря «Ровесник» мы домчались без тормозов. Единственное, что мы засекли, — это щелки глаз сидящего в сизых кустах мужика в тюбетейке. Может, от света он прищурился, а может, он просто был азиат.

Лопача я встретил лет семь спустя в отстойнике саратовского следственного изолятора. Меня, тогда пышноволосого, а ныне наголо стриженного, он, естественно, не узнал, да и его узнать было трудно: от пуза остался только обвислый кожаный мешок. На вопрос, как здесь очутился, бывший член бюро не ответил.

Уже в камере старожилы мне сказали:

— Это его космонавты усадили. Андропов дал задание аэрофотосъемку посевных площадей провести. Оказалось лишка чуть не половина. Неучтенного. Да еще люди говорят, на военном аэродроме анашу, падла, выращивал. Может, и врут, да что от коммуняк жадных ждать-то!

НАСЛЕДНИКИ

— Тоже мне Арраго! Считать надо уметь! — орал Макс под бурные аплодисменты.

Цирк понял, что его не разыгрывают, что на двадцатом месте третьего ряда партера вопит нечеловеческим голосом не подсадная утка, а похожий на клоуна настоящий гений быстрого счета. Макс сдержал обещание: мнемотехник Хорошевский был повержен, представление было сорвано. Купив водки и закуски, Макс вел своих молодых друзей в гостиницу «Волга», где он снимал номер-люкс всегда, когда приезжал в командировку в родной Саратов.

Фокусы Макса были нам давно известны, да и сам Макс Николаевич Ритов тоже уже два года не был для нас загадкой.

Я познакомился с ним в доме своего товарища и одногруппника по физфаку профессора Иманюэля Рабиновиц, университет Альбукерке, Нью-Мексико, США, а в те годы — Мишки Белова-Рабиновича. На самом деле дома никакого не было, а была маленькая двухкаморная квартирка в ветхом клоповнике, правда, в самом центре города. Через сорок лет трещавшее уже в шестидесятые годы здание сломали, и на его месте возвели памятник Столыпину. Мы не без оснований называем его памятником Рабиновичу, тем более что усы и борода усиливают сходство.

Меня, на то время бездомного, приютили по доброте душевные Мишкины родители Моисей Юдлович и Роза Соломоновна, интеллигентные люди старой закалки. Круг их друзей был не таким широким, но значимым: от знаменитого физика-весельчака профессора Степуховича, Розиного однокашника, до поэта Бориса Белова, родного Розиного брата. Степуховича звали Александром Давидовичем, а Солженицына Александром Исаевичем. Женой сидящего Солженицына была аспирантка Степуховича Наташа Решетовская. И однажды она перепутала адресатов: новогоднюю открытку с Кремлевской башней получил в бараке будущий великий романист, а треугольное письмо на тетрадном листке — на кафедре вольняшка-профессор. Обоих вызвали в одно и то же время и, хотя и по разным адресам, в одно и то же место. Писатель от вещдока так возревновал, что впоследствии, уже на свободе, с письмописательницей развелся. Профессор же в последущей жизни хвастал почти адюльтерным знакомством с великим зэком.

Чем занимался на своем заводе старший Рабинович, я не припоминаю. А вот неоценимый вклад Моисея в международное

рабочее и национально-освободительное движение производился на моих глазах. Дело в том, что, как и библейский тезка, наш тоже был пророком. Каждое утро нэпмански лысый, вальяжный Моисей Юдлович будил нас с Мишкой раскатистым горловым бульканьем, что означало конец утреннего туалета, и емкой короткой фразой, всегда новой.

— Морис Торез! — басил он прочищенными связками.

И через неделю вождь французских трудящихся играл в ящик.

— Пальмиро Тольятти! — рокотал злодей.

И через считанные дни уходил в название города на Волге лидер итальянской компартии.

За короткое время моего обитания на Острове провидения на нечистой совести пророка Моисея среди прочих: вождь восточных немцев Отто Гротеволь, хинди-руси бхай-бхай Джавахарлал Неру и, в порядке оплошности, ни в чем не повинный начальник ООН Даг Хаммаршельд.

Мы с Мишкой пытались заказать у Кассандра наших коммудил, но тот в вежливой форме, но твердо отказывался, помня о лично пережитых тридцать седьмом годе и деле врачей-вредителей. Случай с отставкой Никиты-кукурузника Моисей на себя не брал, так как случайные отклонения от генеральной линии в свой актив не засчитывал, а уместное и желанное «хру-хру» объяснял чисто профилактической прочисткой гласа божьего.

Старый друг семьи Макс Ритов работал главным специалистом того министерства, которое ведало в стране строительством мостов и тоннелей, а Макс в этой конторе ведал расчетом этих мостов и тоннелей. Точнее, проверкой этих расчетов. Проверки Макс Николаевич производил не на работе, а в спальном купе скорого поезда с момента сдачи проводнику билетов до подачи чая перед прибытием на станцию назначения, где строился подозрительный объект. Расчеты проверялись в уме без привлечения каких-либо вспомогательных средств: Макс был чудо-счетчиком.

Простые граждане того времени с линейками и таблицами логарифмов, да и теперешние господа с суперкалькуляторами должны сначала пройти курс молодого бойца, чтобы, как говорят члены партии власти, «вписаться в вопрос».

Хотите узнать, чему равен корень пятой степени из 248832? Пожалуйста — 12.

А девятой из 8589934592? Конечно же, 8.

А 123456 умножить на 654321? А что тут такого — 80779853376.

А сколько слов в написанном выше тексте? 493.

А букв? 2910.

А если это вам говорят через три секунды, ни разу не ошибаясь? Не слабо?

А если вы горстями из двух рук кидаете горох на скатерть, и вам говорят сразу, что 138 остались на столе, а 22 скатились, и вы полчаса проверяете ответ, считая эти чертовы горошины по одной, штука за штукой, и ищете на полу эти подлые 22? Как вам это?

Да вот так: это десятая часть фокусов Макса. Кроме этого, напоследок, покажешь ему на мгновение разворот телефонного справочника, а он все номера телефонов с фамилиями, инициалами и адресами, не закрывая глаз, повторяет. Только успевай следить!

Ошарашенный циркач из начала повествования до неожиданного провинциального фиаско зарабатывал деньги на этой самой штуке, но не знал, что ученики великого Арраго водятся в такой глуши.

— К Роману Семеновичу меня привели в московский цирк прямо после войны, — хвастался Ритов. — Старик уже перенес инсульт, но на арену выходил. Я продемонстрировал в уборной всю его программу, и дед сказал: «Юноша, даю вам путевку в жизнь». Взял свою афишу и написал на ней: «Максу Ритову, калькулятору высшей пробы и моему наследнику на арене. Роман Арраго (Левитин)». Но в нашей семье меня осмеяли и засунули в автодорожный институт. Работа не пыльная, и досуга много — соревнуюсь с вычислительными машинами на ВДНХ и во Дворце пионеров. Выставка дает мне грамоты, а пионерская организация зачислила в почетные пионеры с вручением алого галстука и медной трубы. Остались лишь испытания на огонь и воду — вот жалкий жребий мой, жребий гения, признанного гением! И я справляюсь с судьбой! По-своему.

Непризнанным гением Макс считал себя лишь в педагогике. Он был абсолютно уверен, что его необычайные способности есть результат усердной и многолетней работы над собой и могут быть переданы любым ученикам средних способностей и усидчивости. Мы, молодые бездельники последующего поколения, и служили ему бесплатным подопытным крольчатником.

В своих уроках-проповедях Ритов был неподражаем. До перехода к обучающим системам Трахтенберга и Гольдштейна Макс Николаевич садился за пианино на винтовой стульчик, который почти полностью скрывался под его необъятными рыхлыми ягодицами, ерошил свои негритянские кудри и во всю мощь шепеляво орал под три аккорда оперетту:

Моль — ядовитая букасечка,

Моль — это слая таракасечка,

Моль — это маленький сверек.

На субку скок. На субку скок!

Причем его тестообразная задница выдавала такие балеты, что публика просто валилась на пол. Тут Макс резко останавливался и как вождь и учитель произносил речь:

— Дорогие братья и сестры по разуму! К вам обращаюсь я, человек, который всему научился сам, и может и хочет научить вас. Первое — это тренированная память. Кто из вас помнит Краткий курс истории ВКП(б)? Никто. А как это объясняют? Зачем мне эта чепуха нужна? А мне она нужна, по-вашему? Нет. Но эта книга была везде в нашей стране, как Библия в американском мотеле. И я проверял на ней свои успехи. И до сих пор она со мной. Откройте ее на любой странице и прочитайте первое попавшееся предложение. И если вы меня не остановите, я наизусть и без ошибок прочту всю книгу до конца. Что это, врожденное? Нет. Мои папа и мама до моего зачатия эту херню в глаза не видели. Я *выучил* этот текст. И вы можете его *выучить*. Приступим к занятиям. Пять, четыре, три, два, один. Пуск! Так сколько слов в сказанной мною речи?

Из вежливости мы потакали гуру и называли наугад числа. Макс не отчаивался, приговаривая: «Уже лучше, уже лучше!» Мы тоже радовались столь легкой учебе. Тем более что часовой тренинг всегда оканчивался двух-трехчасовой выпивкой уготованной гению судьбою огненной воды. Ритов считал, что крепкий алкоголь расширяет мелкие сосуды головного мозга и способствует развитию памяти.

Грушевидный жизнелюб Макс Николаевич был записным обжорой, набивая свое немалое пузо странными сочетаниями: водку он пил под пирожные, а чай закусывал селедкой. Быть может, это его и погубило — он умер, не прожив и половину положенного срока. Но мы — те, кто не считает генетику продажной служанкой буржуазии, — знаем, что Макс и ныне жив в осуществленном виде.

Его родной внук Максим Длуги, президент американской шахматной федерации, является чемпионом мира по БЫСТРЫМ шахматам!

ГОРЕ ОТ УМА

В отличие от мужиков, все пьющие бабы — алкоголички, и имя им — легион. Учет бессилен: советская женщина, особенно мать, пила в одиночку. С похмелья, ополоснув водой из-под крана припухшую физиономию, бедолага рисовала детскими карандашами глаза и губы и бежала на службу попить чайку с непьющими товарками, внешне от нее неотличимыми. Творческие алкоголички были понахальнее: в них нуждались, и им было море по колено.

Моя дружба с адвокатом Светланой Демьяненко произросла на уголовной ниве.

За год до встречи я познакомился с неким Шохиным, книжным жуком, преферансистом и мошенником на доверии (ст. 147 УК РСФСР). И вот как. На книжном развале я увидел… себя: рост и комплекция, мелконосый и белозубый, пышные усы и черная шевелюра до плеч.

— Извини, тебя Володей не окликают?

— А тебя Валерой? — отпарировал двойник. Дальнейшее приятельство осложнялось только тем, что двойник не был полным: как зашитый алкоголик Шохин уже два года не употреблял. Но тяга к настоящему чаю и черному кофе без сахара еще сближала.

Был он, в отличие от меня, доцента, начальником ЖЭУ и злоупотреблял своим служебным кабинетом по ночам в качестве игорного дома, лично участвуя в соревнованиях. Однако в любимом виде спорта его достижения не были пьедестальными — в долгах он был как в шелках.

Шохин считал, что до мастера спорта ему не хватает теоретической подготовки, рассчитывая на меня как легенду клуба знатоков прошедших сезонов (я завязал с коммерческим преферансом много лет назад, но слухами земля полнится). К несчастью, уроки на пользу не пошли. Задолженность росла, а Шохин, торпедированный и закодированный, из последних сил защищал честь и достоинство джентльмена путем отдачи карточных долгов.

Жэутворные источники денежных средств иссякали на глазах: все обрезки водопроводных труб и рубероида закончились, а поборы с вечно пьяных сантехников были ничтожны: работяги, в основном, брали натурой и выпивали ее на месте преступления.

— Где бы взять долгосрочную ссуду? — ломал голову Шохин, вглядываясь с надеждой в свое отражение.

Сижу в качалке, чаек прихлебываю, бисер мечу:

— Будучи лордом-хранителем печати государственного учреждения, ты имеешь право оформлять справки на покупку товаров в кредит. Без предварительного взноса. Так торгуют дорогими телевизорами, достаточно сдать в магазин какой-нибудь видеоутиль. Покупка в рассрочку, — витийствовал я, — законченная сделка: товар сразу становится твоей собственностью. Вот и делай с ней, что хочешь. Например, продай бедным людям чуть дешевле. Вот тебе и долгосрочная государственная ссуда! Выплачивай ее хоть всю жизнь — больше двадцати процентов зарплаты у тебя невозможно взять по закону! Право первой ночи беру себе, скидка чисто символическая — один процент (см. уголовное дело № 10-175, т. 2, лист 24). Тем более что покупка у меня намечена.

И Шохин пустился во все тяжкие, я сам лично по его просьбе трижды подвозил покупателей и отвозил счастливцам товар домой. О лукулловом размахе я и не догадывался.

Уголовное дело на робингуда было заведено, как только он перестал выплачивать кредиты — хищение социалистической собственности в особо крупных размерах путем мошенничества. Его взяли под стражу.

Месяца через три пришли за мной:

— Вы в курсе уголовных деяний своего дружка?

— Не вижу ничего уголовного, это чисто гражданское дело. Пусть магазины составят нотариальные надписи, по ним арестуют имущество, продадут на торгах и соберут долги.

— Вы явный соучастник преступления и сядете лет на десять!

Смеюсь, дурак образованный:

— По гражданским делам даже у нас сроков не дают! Сам помощник присяжного поверенного решением ВЦИК и Совнаркома отменил долговую яму и гражданскую казнь.

Зря потешаюсь. «Задерживают» на семьдесят два часа и везут воронком в наручниках в изолятор, «закрывают» в камеру. Я требую прокурора и начальника тюрьмы — объявляю голодовку. Между прочим, приходят и оформляют, как положено. Торжество недавно восстановленных М. С. Горбачевым норм ленинской законности.

Держусь до следующего вечера — ничего страшного, тем более что кормят отбросами. Ночью везут на допрос — в Ежова без рукавиц играют! Железный Феликс все еще ржавел на Лубянке.

Опустите последующие строки опуса, дорогие читатели и зрители ментовских телесериалов! Я сейчас правду скажу.

С десятками ментов имел я дело и утверждаю — все они как один дуроебы. Или ебадуры. Может, что изменилось, не знаю.

Хорошенькую дуру Людмилу Генриховну Козлищеву начальники доебли до капитанши и как лучшему по совместительству следователю райотдела подкинули перспективное «Дело № 10-175».

Привозят. Ночь. Обстановка просто романтическая — от сапог капитана пахнет духами, от меня парашей. На рабочем столе наборный портрет Есенина в кудрях и с трубкой.

— Здравствуйте, Владимир Вениаминович!

— Здравствуйте, Людмила Генриховна!

— Присаживайтесь, Владимир Вениаминович!

— Спасибо, Людмила Генриховна!

— Тут вам жена покушать принесла, не дождалась. Не хотите ли?

— Хочу, да только насухо после изолятора не полезет.

— А я вам стопочку налью. В нарушение.

— А две можно? За чудесный вечер.

— Только обе вам, я при исполнении.

— Огромное спасибо, Людмила Генриховна!

Подносит стопарь, литровую банку двигает — курица с макаронами. Хлопаю — коньяк! На жратву накидываюсь.

— Вот и кончилась ваша голодовочка, Владимир Вениаминович! Сейчас понятых вызову, актик составим.

Поперхнулся я, на глазах слезы, второй стопарик попросил. Подносит радостно. Хлопаю:

— Нет, Людмила Генриховна, не кончилась голодовочка. Придут понятые и зафиксируют запрещенный законом ночной допрос, а вас за это в казарму к солдатикам. Так что ты, милочка, гандоны уркам штопай, а мне, интеллигентному человеку с ученой степенью твои, бля, фокусы — по хую. Давай понятых!

Столь неожиданный переход от романтического барокко к тяжелому року, как ни странно, привел к взаимопониманию, и меня тотчас отконвоировали в изолятор временного содержания «доголодовывать». На следующий день меня освободили «под подписку». Это был мой второй (после фиксации «голодовки») и финальный автограф в пузатом деле № 10-175. Больше я не подписал ничего!

Последний раз я переночевал дома через неделю. Вечер (не ночь!), идет допрос «подозреваемого». А по УПК подозреваемый может: давать показания, не давать показаний, давать ложные показания — лафа! Я никаких показаний не даю, сижу, травлю с майн либен Генриховной баланду. Лицом к окошку. Вдруг в нем отражается опер Макаров на цыпочках, в карман моего пальто, что на вешалке у двери, что-то сует. Ну-ну.

Подошло время прощания:

— До свидания, Владимир Вениаминович!

— До свидания, Людмила Генриховна! Прохожу мимо вешалки, пальто не беру.

— А пальто, Владимир Вениаминович?

— А не мое оно, Людмила Генриховна! Я ведь живу неподалеку, сегодня так пришел!

И по обледенелому тротуару, стуча зубами от февральского мороза, пробегаю спринтерскую дистанцию до родных пенатов, где хряпнул в профилактических целях стакан и улегся в теплую кроватку под бочок к жене — яйцами чувствовал долгую разлуку, а умом — нет.

На следующий вечер меня арестовали наглухо и поместили в СИЗО, по-простому — в тюрьму.

О советском остроге писали и зэки (Солженицын), и вертухаи (Довлатов), и даже одна немецкая овчарка (верный Руслан). Так что на этом поле мне пахать нечего. И не буду.

Через две недели стандартных запугиваний привезли к Козлищевой — адвоката нанимать. Впускают бабу. Видом — буфетчица из забегаловки. Средних лет, обрюзгшая и оплывшая, прическа — воронье гнездо набекрень, один глаз неровно накрашен чем-то синим, второй, некрашеный, смотрит в сторону. На кофте пуговиц не хватает, изо рта на метр воняет селедкой. Эффект известный — советский «антиполицай»! Красотка! Но этот прямой глаз один светит умом за два в очках!

— Владимир Вениаминович, я от вашей жены и Вани Птичкина.

Какой еще Ваня, соображаю. Понял — конспирация: не хочет засвечивать ментам рекомендатор Галкина, друга моего друга Вити и большого судейского чина, кирял с ним как-то на Витиных именинах, неглупый и осторожный. Баба подмигивает продолжает:

— Один вопрос: как долго вы собираетесь сидеть?

— Года полтора, не больше.

— А по какой статье освобождаться?

— Пять — два, за отсутствием состава преступления.

— И ни по какой другой?

— Исключено.

— Все. Берусь. Подписывайте договор!

Как она работала! И вечный бой, покой им только снился! Провела собственное расследование, накопала все подробности фальсификации протоколов, вернула в дело украденные дураками-следаками материалы. Закрывая дрожащим от удовольствия телом Козлищеву, заставила меня, на всякий случай, вырвать из прошнурованного тома две страницы и съесть

их насухо, считая, что им не место на суде.

А очные ставки со свидетелями обвинения? Титьки выпадали из лифчика адвокатессы от еле сдерживаемого смеха: меня-то обрили вместе с усами, а Шохин за три месяца разлуки допосадочно оброс! И честные очевидцы, как один, признавали за меня Валерку, любезного моему сердцу двойника!

После суда идет «доследование». Я на воле дачу строю, Шохин — на тюремной баланде. Новый следователь — «важняк» (по особо важным для чинов делам) на допросы не вызывает — все равно я показаний не давал и не даю — сам разбирается шесть месяцев. А мы с Демьяненкой ждем звездного часа.

Дело в том, что в том деле была бумажка прошитая — протокол обыска в моем доме, когда я почивал на нарах. На бланке типографском, а в нем напечатано подряд «описано и изъято» про все мое имущество. Менты ничего не «изымали», а слово не вычеркнули! Сами подписались, понятыми заверили, копию жене оставили.

Наконец «важняк» нас вызвал, извинился, дело закрыл за отсутствием состава преступления. А мы заявление на стол — бух: «Требуем возвратить изъятое при обыске имущество, протокол такой-то, лист дела — такой-то»!

«Важняк» в шоке:

— Да ведь ничего не изымали!

Светка:

— А как докажете? Дело-то уже закрыто, обыск не назначишь! А подзащитный — в своем уме и в свой дом без постановления ни одного мента не пустит. Скидывайтесь по рублю, мы и деньгами возьмем!

Месяц уговаривали подметное заявление забрать, обоих оперов из протокола — уволили за служебное несоответствие, подставных понятых из бригадмила выперли, общих знакомых с мировой подсылали. Ну никак!

Пришла официальная делегация — два больших полковника. На лестничной клетке перед дверью прощения просят устно. Неискренне — их генерал послал, которого я первым послал на хуй по телефону не своим голосом. Для магнитофона. Жена из дома мятую бумажку чистую вынесла. Попросили прощения письменно. Под диктовку. Для архива.

Простил я бедолаг, порвал заяву. Да и зачем мне два имущества?

О «важняке» — лирическое отступление.

Усатый майор милиции Нина Михайловна Чекалова, со слов Демьяненки, присутствовавшей на всех следственных действиях, представляла редкое исключение из описываемой ментовской

братии. Она выполняла жесткий приказ «найти хоть что-нибудь!» предвзято, но профессионально. Из одного тома козлищевой белиберды (двадцать два эпизода преступления с единой формулировкой — ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ! — «купил, похитил, реализовал»!) она составила девять. И что ж?

Со мной как бы все было ясно — очевидная фабрикация, но Шохин? Двойник, при всем своем размахе, за рамки Гражданского кодекса тоже не выходил! И она это доказала — превышение служебных полномочий! Все! Ах, менты поганые! Боевой народ прямо на посадку по УК идет — статья «незаконный арест и содержание под стражей», части вторая и третья: в преступном сговоре, группой лиц.

Ай да Светка, ай да плевакина дочь!

Повалила она ментов поганых и из грязи два года не выпускала: одиннадцать милицейских козлищ, начиная с одноименной капитанши, испили говна полной чашей, блея на служебных расследованиях и трясясь от неминуемого применения к ним забытой в СССР уголовной статьи. Посадить их, конечно, было невозможно, но от должностных рокировок и неприсвоений очередных званий они натерпелись.

На сорок третьем году жизни Светлана, трудоголик и алкоголик (две вещи — совместные!), перезапила и умерла во сне от острой сердечной недостаточности законных средств борьбы с произволом. Из-за псевдоэстетического отвращения к дешевой селедке я так ни разу не обнял ее. Но любил, люблю и помню.

Шохин юзом из двенадцати лет, предложенных прокурором, вместо штрафа отсидел год.

Потом по специальности «ЖЭК-потрошитель» — еще один.

В настоящее время находится во всероссийском розыске по подозрению в хищении двадцати четырех тонн просроченной гуманитарной пищепомощи для сирых и убогих.

Если встретите непрерывно курящего седого усатого джентльмена потрепанного вида, похожего на Глейзера, срочно сообщите в ближайшее отделение милиции!

Особая примета: не пьет.

Чем и опасен.

ЧУМА И ХОЛЕРА

Борцы-шестидесятники, к самой негероической части которых я относил себя тогда, не только читали самиздатовские книжки и обсуждали на кухнях, доживет ли СССР до 1984 года, но и сильно выпивали. Причем часто — в изощренной форме. Химики и медики творили чудеса с похищенным на работе спиртом-«калошей». Историки и филологи подпольно гнали самогонку. Остепененные физики-ядерщики, скидываясь, покупали дешевую водку и превращали ее в вермуты, аперитивы и кальвадосы, настаивая на ней полевые травы по опубликованным под маской художественных произведений самогонным рецептам странника-иконосборца Солоухина. Ах, сколько нам мгновений чудных готовил просвещенья дух!

Так, ученый-химик и медик Боб Старцев спирт в производство вообще не допускал, а наклеивал на стеклотару череп с костями и ставил ее для обзора любопытных посторонних посетителей на самый верх дальних полок. Остальные химикаты валялись как попало, с надписями на латыни, понятными специально образованным сотрудникам.

Но однажды случилась беда — лопнула канализация, и в заполняемую дерьмом лабораторию были вызваны сантехники в количестве двух крепких мужиков. Убийцы в белых халатах, а именно такую роль в этой истории сыграли бежавшие с поля вони сотрудники лаборатории, радостно пошли в буфет распивать компот из сухофруктов.

А мужики стали судорожно обнюхивать оставшиеся без присмотра пузырьки с абракадаброй на этикетках на предмет обнаружения и тайного изъятия спиритуса вини, терпкий запах которого профессионально перебивал привычную им по работе вонь. И они нашли искомое — беспримесную на язык прозрачную жидкость большой градусности!

Разлив четырехсотграммовый пузырек в два граненых стакана всклинь и для сокрытия преступления заполнив образовавшуюся пустоту водопроводной водой, мужики под припасенный к случаю соленый огурец вмазали счастливую находку. Вопреки ньютоновским законам, противодействие в этом эксперименте было не равно действию. В течение минуты из всех дыр только что здоровых мужиков полилась химическая жидкость, которая на фоне сточных вод, заполнивших лабораторию, напоминала газировку без сиропа. Теплые источники били, как в долине гейзеров, не прерываясь. Один из извергателей из последних сил по-пластунски дополз до буфета с мольбами о неотложной

помощи и туалетной бумаге.

Для постановки диагноза ученый-химик и доктор Б. Я. Старцев, рискуя башмаками, вошел в холерный барак, прочитал надпись на источнике: «PHENOLPHTALEINUM» — и вызвал «скорую». В пересчете на таблетки незадачливые дристуны выпили враз по сто упаковок аптечного пургена!

А преклоннолетний советский писатель К. по причине непрекращающейся тяжести в боку мужественно бросил пить и начал лечиться от вполне предполагаемого по образу жизни цирроза печени — как у врачей, так и у знахарей. Знакомый колдун из родных яицких степей порекомендовал страдальцу ежедневно потреблять меру пророщенного овса, который даже для столь значительной фигуры — члена бюро обкома коммунистической партии — являлся дефицитом. Но другие члены бюро обкома, понимая, что цирроз печени — их профзаболевание, скинулись блатом, достали товарищу по письменной борьбе за дело пролетариата два огромных мешка чудодейственного злака и привезли медикамент на дачу, где обессиленный прозаик уже в коме злобно строчил в стол толстый исторический роман про хороших белогвардейцев и плохих большевиков под рабочим названием «Опущенная целина».

Прорастить одновременно центнер зерна было негде, и трехпудовые мешки были отданы на ответственное хранение великовозрастному писателеву сыну Андрюшке, остепененному философу, альпийскому стрелку в отставке и темному пьянице с детства. А также — моему соседу по даче на волжском берегу и безотказному собутыльнику. Под крутой горой за моим нужником (в целях неразоблачения по разным причинам непьющими родственниками) Андрюшка зачистил площадку от ветвей и мусора, привез на лодке-гулянке сорокаведерную дубовую бочку и замесил в ней брагу. Ожидаемое зелье получило название в честь крылатого овсоеда мировой литературы — пегасовка.

Корчажничал Андрюшка по только ему неизвестно откуда известной народной кулинарии: неделю варил солод, замачивая на брезенте овес с горохом, потом молотил смесь в ручной кофемолке, перетирал в ступе, как Баба Яга, и только потом бросал закваску в бочку. Параллельно сложному органохимическому процессу брожение проходило и в уме нашего третьего соседа — новейшего историка, доктора наук Сани Кредера, человека пунктуального и тщательного. Работа в архивах и собственная биография немецкого ссыльнопоселенца приводили его к мысли, что богоугодное дело самогоноварения в среде голожопых научных работников, кроме правоохранительной тайны, требует технологически превентивных деяний как для

сохранения собственного здоровья, так и избежания пьяных зачатий — актуальной трагедии шестидесятников, после которых, как известно, природа отдыхает до сих пор. Пользуясь своими обширными международными связями, Саня приобрел контрабандный самогонный аппарат чешского стекла и промышленного типа — с тройной очисткой с помощью сертифицированных ядохимикатов, дающей в результате чистый спирт без запаха и цвета. Но ожидаемого результата мы не получили.

Из-за сортира повеяло благолепием. И к корчме потянулись знатоки и сопьющие. Особенно стайки слабозамужних девушек-интеллигенток в очках и с сачками в телесном диапазоне от 60х60х60 до 90х90х90. Их неимоверное количество объяснялось перегруженостью штатов закрытого противочумного научного института «Микроб», где просиживала рейтузы старший орнитолог по секретному научному направлению «Перспективы развития соколиной охоты на болезнетворных тушканчиков» гостеприимная супруга корчажника, греко-римская красавица Наташа К — о (в далеком девичестве — Фемилиди).

Страна советов за бубонную вредность платила чумовым девицам не деньгами, а четырехчасовым рабочим днем и двухмесячным отпуском.

Ах, если б милые девочки все садились на сучочки, а не на пеньки и травку за сортиром, быть может, пойло добродило бы до перегонки. Бражку выпили по-научному — априори. Всю. Все, человек пятьдесят, — и мы с предусмотрительным Саней тоже. Сорок ведер. Подчистую. Ну, и хрен с ней! Зато все, как и холерные мужики-сантехники, живы и здоровы. Жаль, писатель умер. Не от того лечили старика лекари и знахари, сволочи! Пил бы — жил бы.

Вскрытие показало, что в совершенно здоровой печени могучего старца умудрилась расположиться на ПМЖ финна — очень крупная личинка паразита эхинококка, которая несколько лет пила из классика соки вместе с алкоголем в биологическом симбиозе. Когда литератор неожиданно для сожителя бросил пить, бедная безответная финна умерла с горя и начала выделять трупный яд, сведший в могилу хозяина.

Чешский аппарат «Дер кредер шнапс» безотказно прослужил делу нашего самоочищения лет десять с лишним, несмотря на гарантийный срок в один год зарубежной фирмы-изготовителя.

РУКА МОСКВЫ

Комната № 56 в НИИМФе СГУ пользовалась дурной славой: в ней безнаказанно пьянствовало ядро оргкомитета. Для справки: НИИМФ — Научно-исследовательский институт механики и физики, СГУ — Саратовский государственный университет. Оргкомитет — общественный орган управления «Диминой школы», раз в две зимы собираемого в санатории на Волге научно-учебного семинара под патронажем бывшего ректора Шевчика и руководством будущего ректора Трубецкова, с подачи которого я бессменно членствовал в оргкомитете в должности связиста с общественным питанием и тамады.

Заведовал комнатой № 56 ученый великан Толя Зборовский, на двух письменных столах вымучивали диссертации будущий профессор Безручко и будущий народный избранник Исаев. Аспирант Четвериков снимал угол с тумбочкой. На хозяйстве находился старейшина НИИМФа старший лаборант и народный умелец Тименков.

Бывал там и я, причем довольно регулярно: дважды в месяц в аванс и получку (касса была в соседней комнате), а также по торжественным дням — в чьи-нибудь именины (именины, а не дни рождения!) и предпраздничные дни. Пунктуальный и благообразный Толя держал святцы и численник, в котором кроме всесоюзных дней международной солидарности и Великой Октябрьской революции красным карандашом были отмечены дни шахтеров, работников лесной промышленности и т. д. Хозяйственный Тименков держал для меня табуретку.

Безнаказанность наших застолий была абсолютной, причем недоброжелатели знали только половину причины вопиющего безобразия: гуляют люди Димы Трубецкова (бери выше — Шевчика)! Я и Толя знали всю: нашим тайным покровителем был сам начальник режима — чекист Кравцов!

Повязаны мы были с органами семейными узами. И вот какими.

Откомандированный из Системы по выслуге лет подполковник попал в систему вузовскую, о которой если что и знал, то понаслышке. Однако профессиональная наблюдательность и природное чадолюбие навели старика на мысль, что его безработной невестке Вале самое время стать студенткой филфака. Школу она закончила давно и так себе, а значит, без бульдозера на престижный факультет ее не пропихнуть. Бутылочной простоты решения вопроса органист в штатском не представлял и обратился к старшему по званию и

должности начальнику режима всего университета полковнику Назарюку. Последний имел не только значительный стаж внутривузовской подковерной интриги, но и реальный опыт поступления на физфак своего сына, вступительную контрольную по математике которому писал я. И не только ему.

Дело в том, что единственной в моей жизни профессией, нужной людям, была ежегодная сезонная работа решалыциком конкурсных задач. Я щелкал их как семечки еще со школы и добился удивительных результатов за годы вынужденного безделья в СГУ.

Организатор мероприятия всеобщий любимец Вова Степухович тайно приносил, а потом заносил через общий сортир нашей с ним лаборатории и опечатанного зала абитуриентов мое стопроцентное решение вступительного конкурса для всех желающих. Причем делал это бескорыстно, чем многих удивлял и радовал.

Так вот, более главный чекист сдал меня менее главному, и тот через Толю обратился ко мне за подмогой. Дело это в те годы было плевое, пузыревое — сказал собутыльникам, они сделали. От неожиданной простоты решения крупной семейной проблемы чекист Кравцов расслабился до должностного преступления.

Он вызвал нас с Толей по отдельности. Что он наговорил дружку, не знаю: Толя — мужик железный. А вот что мне, поведаю. Как написал генерал Лесли Гровс об американском атомном проекте: «Теперь об этом можно рассказать». Я, правда, и тогда рассказывал, но мне мало кто верил.

Проводит в служебный кабинет. Дверь изнутри запирает. Открывает сейф в первый раз, достает бутылку коньяка. С подоконника — закуску легкую.

— Спасибо, — говорит.

Выпиваем.

Открывает сейф во второй раз, достает бутылку коньяка, разъясняет, за что спасибо. Выпиваем. О жизни поговорили, допиваем.

Открывает сейф в третий раз! Достает спирт и какие-то бумажки. Выпиваем под рассол. Переходим к преступлению.

— Володь, а ты знаешь, что в НИИМФе стучат?

— Догадываюсь.

— А сколько их?

— Не догадываюсь.

— Много, Володя, много! И на тебя стучат.

— Да хрен бы с ними! Я безобидный, только языком молочу.

— Вот об этом и стучат. Смотри, я вот тут подпись пальцем прикрою, не могу по службе псевдонимов разглашать. Но ты и так

поймешь!

Показал три бумажки. Все начинаются присказкой: «Источник сообщает». Дальше — полная херня, но с датами и описанием места встречи, где я трем источникам три составные части про лично Леонида Ильича рассказывал. Точно излагают, культурные люди, с передачей художественных особенностей. Ну, одного-то я просто по почерку узнаю. Двух других — по обстоятельствам места и времени. Чуток охуеваю: зачем?

— А затем, — говорит предатель ВЧК, — что на этом у нас вся Система держится. Но ты не дергайся, дальше меня не уйдет! Гуляйте с Толей, развлекайтесь в народной традиции, я и подслушку от пятьдесят шестой отключил. Давай на посошок и на брудершафт одновременно. Спасибо вам сердечное от всей семьи! Мысленно с вами, ваш Кравцов.

Вот такой зонтик держал над нами сентиментальный гэбэшник.

Защитились Толины сотрудники, зазнались, забурели. Больше, говорят, мы водку не пьем, переходим для сохранения разума на сухое. Да и дешевле оно для семейного человека. Правильно говорят, изменники, но обидно. Что ж мы, я да Толя и старик Тименков, как уличные, — на троих с Четвериковым соображать, что ли, будем? Нет, стыдятся исправленцы, мы с вами, вот и вино принесли.

— Я «Абрау-Дюрсо» буду пить! — говорит Исаев и выставляет чуть ли не литровую бутылку.

— А я — «Молдавское», — вторит Безручко и выставляет тоже ноль семьдесят пять.

И уходят по делам до вечера. Ну, и слава Богу! Есть время для физиологического эксперимента! Достает народный умелец Тименков шприц огроменный, мы с Толей одобрительно киваем, юный Четвериков в ладоши хлопает. Старейшина, не повреждая пробок, отсасывает из обеих бутылей по трети, брезгливо в раковину выдавливает. Набирает в шприц из опечатанного загашника гидролизный спирт «галоша» и купажирует им дары Бессарабии и Кубани. К барьеру, дезертиры!

Вечером мы втроем из стаканов пьем водку, аспиранту через одну рюмку наливаем — воспитываем, закусываем колбасой краковской и огурцами. Абстиненты из чайных кружек «сухое», как бабы, причмокивают, на язык — по изюминке. Кейфуют! Недолго ждали мы гражданской казни, вторую кружку пила уже полная пьянь. Домой поверженные сухопийцы уползли на автомате — прежняя закалка не подвела. Сутки в ваннах отмокали, но не обиделись, посмеялись. А слово лжемужское сдержали — перешли на сухое!

Разошлись пути-дорожки диссидентов-собутыльников! Б. П. Безручко начитался научных книжек, самого ученого великана Толю обскакал этот ученый, сухим моченый, стал завкафедрой. А Исаев В. А., воспитанный на авантюрно-художественной литературе из «Библиотеки приключений», сделал крутой поворот.

На дворе стоял бархатно-революционный 1990-й. Россия вспрянула от сна и на обломках самовластья вписала чудо-имена: Ельцин, Бурбулис, Гайдар и его команда, пятьсот дней, которые не потрясли мир, и прочая, и прочая, и прочая.

Все пошли на выборы. Исаев пошел ко мне:

— Вовка, хочу избраться в местный совет по экологии. Помоги, а!

Исаев действительно любил природу и отшагал с ружьишком и рюкзачком полстраны в ее поисках. Посмотрел я на друга, оглядел всесторонне, как на ярмарке, — видный парень, лет под пятьдесят, коренной русак, зубов штук сорок, улыбнется — все девки наши!

— Мелковато пашешь, природовед! Давай в Верховный Совет залезем: ты народным депутатом, а я твоим помощником. Большую политику крутанем. Шансы огромные: конкуренты — дрова гнилые! Ну, товарищ, ярче брызнем?

Почесал мой избранник нос, штаны подтянул, большим пальцем левой ноги через дыру в носке пошевелил со значением. И согласился.

Избирательную кампанию я провел с блеском. Выдвинули его трудовым коллективом на профсобрании, понесли документы на регистрацию. А их завернули! Пошел, говорят, отсюда подальше, кто ты такой, где у тебя, беспартийного ньютона, опыт советской и хозяйственной работы?

А избранник-то бывший боксер, удар держит, уже и победить хочет в соревновании. Предлагаю ему нокаутом. Как? А вот как. Звоню с дивана в Москву, в Центризбирком товарищу Казакову Василию Ивановичу, сто раз его по телевизору видел насквозь. А он меня — нет. Ору на секретаршу по системе Станиславского по-старопартийному. Зовет начальника. Представляюсь:

— Александр Трубников, председатель объединенного комитета профсоюзов Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Блядство, Василь Иваныч, в регионах творится, форменное блядство. Сами не справляемся, примите меры.

Интересуется блядством в подробностях — партийная косточка! Излагаю их — матом, со ссылками на параграфы закона.

— Телефончик оставьте, товарищ Трубников. Минут через двадцать перезвоню!

Обманул минут на десять. Звонит:

— Ваш вопрос решен положительно. Товарищ Исаев Владимир Алексеевич зарегистрирован. Спасибо, товарищ Трубников, за сигнал с места.

Выборы мы выиграли не нокаутом, а по очкам, опередив красного директора и серого партийного бонзу. А по-другому и не могло быть: памятливый Исаев так начитался книжек смолоду, что говорил сколько хочешь и о чем хочешь без бумажки. И скалил зубы девкам.

Определились мы в Комитет по законодательству, четырнадцать поправок в новую Конституцию пропихнули, с Ельциным Б. Н. подружились, в подавлении путча и руцкого мятежа участвовали: Исаев на баррикадах в Москве, я — на диване в Саратове. Биополитический симбиоз по бесплатному телефону туда и обратно за счет законнодательной ветви власти.

Теоретическое воплощение своих творческих сил помощника нардепа я осуществил, написав статью на разворот в областную газету «Коммунист».

Друг Борис назначил Исаева своим доверенным лицом на всю Саратовскую область на президентских выборах номер один. Газетная статья за подписью доверенного лица называлась «Ельцин — НАШ президент» и содержала, в частности, физиологические доказательства этого факта. А именно: «рост Ленина — 152 см., рост Сталина — 154 см., рост Хрущева — 148 см., а рекордный рост наркома Ежова — 130 см.! Ельцин же — двухметровый. Долой лилипутскую власть ЦК семи гномов! Большое плаванье — большому кораблю!»

Так громче, музыка,

играй победу!

Мы победили,

и враг бежит, бежит, бежит!

Так за царя Бориса —

Гулливера

мы грянем

громкое: ура, ура, ура!

Обескураженный редактор газеты обкома КПСС, сам метр с кепкой, потребовал у меня по телефону доказательств. Я принес в редакцию рулетку.

— А это зачем? — спросил печатный чиновник в ожидании неминуемого скандала.

— Езжай в Мавзолей и меряй! Если нардеп хоть на сантиметр ошибся, снимай заметку!

Не знаю точно, почему Ельцин выиграл, но приведенные выше «абсолютно точные» цифры народ взахлеб цитировал в трамваях и автобусах. Такова была сила партийной печати!

Практическому применению высокого звания помощника депутата сопутствовали некоторые треволнения. На личном автомобиле модели «копейка» я припарковался в самом центре города у магазина «Дом книги» под запрещающим стоянку знаком, чтобы зайти напротив в видеосалон «Мечта», который на паях с другими бывшими научными сотрудниками держал уже плешивый культурист Л. М. Циркуль. Я выпил из вежливости чашку дурного кофе (за рулем!), и облезлый богатырь вышел меня проводить.

О ужас! Машины не было! «Ауди» перед пустым местом и «вольво» после него стояли как ни в чем не бывало. «Копейки» между ними и след простыл! Странно, подумал я, очень странно. Небогатый собственник Лева начал валиться набок. Приведя его в чувство дружескими шлепками по лицу и заднице, я потащил психопата в милицию как свидетеля.

— Операция «Беркут-два»! — после настойчивых расспросов объявил дежурный. — Принудительная эвакуация беспризорных автомобилей. Езжайте на платную коммерческую стоянку Обл ГАИ, заплатите сколько нужно и заберете свой дришпак.

Циркуль воспрянул телом и духом и даже предложил оплатить выкуп, принимая вину на себя по линии навязчивого гостеприимства, выходящего за нормы запрещающего дорожного знака. Я резко отверг заманчивое предложение, вернулся в видеосалон и позвонил Исаеву:

— Вова! Гаишники уперли у меня автомобиль. Я стоически переношу краткую, как мне кажется, разлуку, но твой и мой друг Циркуль показательно впал в транс и просится к маме. Представляешь, как себя чувствуют другие убогие владельцы утилей? Ведь гады не берут дорогие модели, боятся новых русских, а наживаются на страхе сирых и бесправных. Еду к начальнику ГАИ. От него буду звонить Шахраю. Ты его либо

предупреди, либо сам посиди на телефоне Комитета.

Приехали. Еле пробились к начальнику. Встретил нас стоя, надевая фуражку:

— Что там у вас? Быстро. Я тороплюсь на облисполком.

— Не стоит торопиться. Я помощник народного депутата В. А. Исаева, члена Комитета по законодательству Верховного Совета РФ. У меня незаконно эвакуировали автомобиль ВАЗ двадцать один ноль один, госномер Р-четыре-один-один-четыре-СА. В автомашине находилось триста шестьдесят два грамма зубного золота, привезенного мною официально со всеми документами сопровождения в управление здравоохранения. По пути я сделал остановку, чтобы оправиться и причесаться, в видеосалоне товарища Циркуля, свидетеля происшедшего преступления. Да-да, именно преступления, так как ваш коммерческий альянс с частной фирмой с последующим дележом наживы таковым и является.

— Какое еще золото, какое преступление?

— Мне не нравится развитие нашего разговора. Чтобы вы не приняли меня за самозванца и тушинского вора, позвоните по своей вертушке, узнайте номер телефона председателя Комитета Сергея Михайловича Шахрая, и продолжим беседу с его участием.

Наложил в штаны, ничего не понимает, звонит, дают московский телефон, рука трясется, набирает.

— Комитет по законодательству, приемная Шахрая.

— Передаю трубочку саратовскому помощнику депутата Исаева!

Беру. На другом конце — Вова!

— Сергей Михайлович! — балагурю. — Здравствуйте, это Глейзер.

— Здравствуйте, Владимир Вениаминович. Рад вас слышать, — отбалагуривает Исаев. — Что случилось?

Излагаю происшествие, обвиняю ГАИ в незаконной коммерческой деятельности, говорю, что машину с золотом буду вскрывать только в присутствии понятых, передаю трубку хозяину кабинета. На наших глазах подполковник усыхает до младшего лейтенанта. Участвует в диалоге с Лжешахраем эмоционально, по-военному повторяя только одно слово: «Слушаюсь!» Оттенки — от рапортности до трагедийности. Кладет трубку. Мне:

— Ваша машина будет в неприкосновенности доставлена на трейлере по адресу, указанному товарищем Шахраем. Приношу свои извинения. Незаконную фирму закроем. Полный доклад Верховному Совету по этому вопросу передам вам лично через неделю.

По пути ко мне домой на машине с мигалкой (а именно этот

адрес указал «товарищ Шахрай») мы подцепили двух знакомых понятых выпивох, купили жигулевского пива и разместились в креслах-качалках на лоджии моей квартиры на седьмом этаже.

Торжественную церемонию разгрузки «копейки» с эвакуатора мы встретили дружеским залпом откупориваемых бутылок. О золоте ни один зуб не вспоминал. Чего не было, того и не было.

В отличие от древнегреческого скульптора Мирона, изваявшего знаменитого «Дискобола» путем отсечения от каменной глыбы всего лишнего, я своего пиздобола не досек, и утомленный одной думой Исаев перевыборы на второй срок вульгарно проспал, опоздав на теледебаты с основным конкурентом — состоятельным жириновцем.

Не Чацкий — Вова к тетке в глушь-Саратов не поехал.

Друг Борис не потерял доверенного лица и пристроил выпавшего из гнезда кукушки простофилина на неприметную должность в своей администрации.

Рука Москвы отсохла.

ЦИРК

Очаровательный аферист Адольф Вайденфельд, не изменяя своей харизме мошенника на доверии, начинал свою трудовую деятельность секретарем комсомольской организации магаданских приисков. Жестокий приступ аппендицита свалил кабинетного золотоискателя во время дележки неучтенных самородков с секретарем партийной организации. В результате чего дольщик был отправлен с запущенным перитонитом на Большую Землю в теплом больничном халате голым как сокол и при смерти.

Вернувшись с того света идейно разложившимся, Адольф в сердцах сжег все мосты, начиная с партийного билета. О чем горько сожалел, перейдя на скромную, но не менее золотоносную хозяйственную деятельность в родном по матери городе Саратове. По отцу — покойному шуцбундовцу Якову Ивановичу — Адольф, как и его знаменитый тезка, был австрийскоподданным и сыном чудом уцелевшего героя социал-демократического февральского вооруженного мятежа. Из школы Адик, балбес и второгодник, после окончания седьмого класса в семнадцать лет попал в учащиеся монтажного техникума. И сразу по получении справки о завершении образования старшая сестра Анька увезла его к мужу-геологу на Колыму со словами: «Лучше самоходом, чем по этапу!»

Наша многолетняя дружба началась с увлечений. На манеже саратовского цирка проходил аттракцион под названием «Первенсссство Сссовет-ссского Сссоюза по класссичесссской борьбе сссреди борцов-профессионалов». Именно так ежевечерне выкрикивал эти «ссслова» шпрехшталмейстер зрелища дядя Ваня Карелин, выводя на арену еще крепких, но сильно помятых годами и образом жизни мужиков, нелегким физическим трудом зарабатывающих деньги в соответствии со своими концертными ставками.

В партере работал запрещенный законом тотализатор. Ставки принимал напомаженный а-ля Кларк Гейбл и внешне с ним схожий замдиректора по административно-хозяйственной части родного монтажного техникума Адольф Вайденфельд. Своей неизбывной наглостью я так понравился букмекеру, что за десять дней «сссоревнований» на подставе заработал около трехсот рублей — и это были всего двадцать процентов от выручки Адольфа! Адик знал результаты всех поединков заранее с точностью до минуты победного туше — со слов магаданца, дядя Ваня пять лет сидел у него на приисках.

В жилищном кооперативе ветеранов труда «Север» через

несколько лет мы оказались соседями. Ветеран солнечной Колымы к тому времени воровал старшим диспетчером в седьмом строительном тресте — подрядчике новостройки, так что его льготное появление в рядах застройщиков было даже более естественным, чем мое за взятку.

Въехал Адольф в большую трехкомнатную квартиру на четвертом этаже после двухгодичного ремонта за счет усушки и утряски трестовских стройматериалов уже без своей правой руки — жены, продавщицы Райки, сбежавшей в столицу с десятилетней дочерью к новому мужу. И без своей правой ноги, отрезанной по случаю гангрены, запущенной еще с отморожения конечностей на северном курорте.

Адольф и до, и после был мужественным человеком и азартным игроком. В самый разгар ремонта мы втроем играли в «секу» на нейтральном поле — в пустовавшей квартире его матери. Третьим был старший преподаватель мехмата Юрий Иванович Терентьев, умница и пьяница по кличке «Теркин», честнейший даже в картах человек. «Проиграл — не украл!» — было его девизом. Нам с Теркиным не везло, Адольфу перло, как из помойки. Нога у везуника распухала и чернела на глазах, но деньги у нас еще не кончились. «Скорую» мы с Теркиным вызвали, когда победитель был без сознания, а мы — без средств к существованию. Магаданский облом не повторился, так что на нас инвалид был не в обиде.

Самое место сказать похвальное слово игральным картам как средству интенсивной реабилитации.

Похудев на сорок кило (включая ампутированную конечность), Адольф вернулся из больницы законченным морфинистом, и не по своей вине. И хирурги, и терапевты сразу же поставили на нем крест и вместо лечения два месяца вводили обезболивающие, чтобы, приходя в сознание, пациент не орал. А мама работала заведующей аптекой. Когда чудом выжившего Адика привезли домой, она, видя неимоверные страдания прикованного к кровати изможденного ломкой одноногого сына, конечно же, подкалывала ему «лекарства».

Адольф между постоянными болезнями пил, курил, трахался, то есть вел нормальный образ жизни. Поэтому становиться наркоманом не хотел. Он как мог держался, царапая ногтями штукатурку и стеная, но силы покидали его. А мама с марафетом была тут как тут.

— Вовку зови! — кричал взмыленный Адик.

И я приходил. Вскрывали колоду и рубились в «терц», «белот» и «рамс» до Адольфова перехода к Морфею без морфия. Жизнь без наркотиков налаживалась картотерапией.

Адик вообще не держал ни на кого зла. Кроме как на изменщицу Райку. И вот как он ей отомстил.

После получения аттестата зрелости ни о каком московском вузе для смазливой куклы Наташки Вайденфельд не шло и речи. Райка созвонилась с отцом дочери и бывшим мужем, дабы выяснить аферные возможности Адольфа по пристраиванию общего ребенка в какой-нибудь саратовский институт.

Таковые, конечно, были: партнерами по зеленому сукну был не только честный старший преподаватель Теркин, но многие вороватые доценты. Среди них и должники.

Один из них за погашение долга в двести рублей обещал протащить дочурку кредитора в экономический институт со стопроцентной гарантией. Мстительный чадолюбец тотчас позвонил беглянке и сообщил, что за обещанную «самому ректору» взятку в четыре тысячи рублей (пополам с московской мамашей) берется за поступление. То ли для Москвы это была не сумма, то ли мать посчитала положение дуры-дочки безнадежным, но Адольф нажил на родной кровинушке ровно тысячу восемьсот рублей (с учетом погашения кредита)!

Новоявленной студентке было не скучно в папиной квартире за мамины деньги (принцип «пополам»!): в ней уже снимали комнату погодки брат и сестра Джанашвили, умницы и отличники, в отличие от хозяйской куклы. Юные Джанашвили учились в мединституте вдалеке от родины — Южной Осетии, где их отец Моисей держал частный проволочный завод в городе Цхинвали, официально служа на нем государственным директором. Моисей был одновременно азартным картежником и очень богатым человеком. Его вместе с остатками денег вывезли силком и уговорами саратовские профи Мишка-Аспирант и Милый из города-курорта Сочи, а точнее из пятого аэрария платного пляжа «Ривьера», известного на всю картежную страну игорного дома под открытым небом. Моисей как клиент был им нужен в Саратове постоянно.

Это Адольф придумал поступление его гениальных детей в Саратовский мединститут!

Богатей Моисей сам расплатился с институтскими взяточниками, а с партнерами по ломберному столу расплачивался теперь регулярно раз в месяц. Когда навещал с мешками еды и денег своих деток, ведущих под неусыпным взором Адиковой мамы предельно добропорядочный образ жизни.

Адольфа, кроме бывшей жены, любили женщины всех профессий и размеров. А он любил цирк. Звонит мне поздно вечером на седьмой этаж:

— Володя! Спускайся — сюрприз!

Захожу. Перед накрытым столом напротив зардевшегося от удовольствия хозяина на кучах подушек на диване сидят лилипут и две лилипутки. Хорошенькие, сантиметров по семьдесят, и водку пьют!

— Познакомься, Володя! Юля, Оля и Коля. Артисты из труппы Анны Русских. Еле уговорил в гости после представления зайти. Сказал девчонкам, что для компании у меня второй мальчик есть — ты. А Коля от девочки отказался — его право.

— Мы как большие, — говорят Юля, Оля и Коля, — нам и пить тоже можно. Но мало — на килограмм веса!

Через десять минут не известная нам норма была превышена. И мы с Адиком поперек односпальной кровати, придвинутой боком к стене, рядком аккуратно уложили отрубившихся артистов бай-бай.

— Цирк, да и только! — подытожил несостоявшуюся вечеринку режиссер-постановщик.

Прошло много времени, в сорок четыре года похоронили жизнерадостного Адольфа, под забором сгинул его ровесник честнейший Теркин, дал дуба тысячелетний советский рейх, и почти умерли мои воспоминания о генацвале из Цхинвали, как порванная нить истории неожиданно связалась узелком.

В 1995 капиталистическом году мы с женой совершали путешествие без Чарли в поисках Америки. Из Лос-Анджелеса позвонили своим саратовским знакомым — эмигрантам Сафоновым — и договорились с ними, что они закажут нам русскоязычную экскурсию в Вашингтон. После чего и прилетели к Сафоновым в Нью-Йорк.

Нас встретили, привезли домой, и мы с гостеприимным хозяином Вовкой с шести до двенадцати afternoon пили водку. Ровно в полночь раздался телефонный звонок. Турфирма подтвердила заказ: в пять утра туристы Глейзер должны сесть в автобус в Бронксе, адрес такой-то, ориентир — магазин «Моня и Миша».

Обязательный до бесстрашия драйвер Сафонов в момент завалился спать, рассчитывая за четыре часа прийти в норму, чего, разумеется, не произошло. Но, взяв в качестве штурмана жену Риту, из Манхеттена в Бронкс к месту встречи удачно доехал по безлюдному ночному Нью-Йорку вовремя.

Стоим под вывеской «MONYA & MISHA», в дрожащих руках — сигареты. Подъезжает длинный черный лимузин, из него выходит водитель — тощий коротышка в безупречном черном костюме, белоснежной сорочке и черных же лакированных туфлях на высоком каблуке. Если поверх них были бы белые краги — вылитый итальянский гангстер из кинофильма «В старом

Чикаго». Покручивая брелоком с ключами, подходит к закрытой двери магазина. Ломая для родившейся хохмы английский язык, вежливо здороваюсь:

— Гуд моня!

— Я не Моня, а Миша! — с явным грузинским акцентом отвечает американка.

— Неужто грузин?

— Нет. Еврей из Цхинвали.

— Из Цхинвали? А семью Джанашвили знаешь?

— Хаима или Моше?

— Моше. Я его друг!

— А Хаим умер. Два года назад в Тель-Авиве. Богато хоронили. А где Моше?

— Живой! Сбежал за границу, в Петербург, после войны с грузинами. С деньгами. Все у него хорошо.

— Спасибо. Пошел магазин открывать.

— Пока, Миша. Очень рад был тебя встретить!

— Я тоже. Гуд бай!

И заходит в магазин.

Сафоновы в шоке. Глазам и ушам не верят. Уж не розыгрыш ли? За пять лет в эмиграции никого не встречали, кроме близких родственников, а тут такое — тать в нощи!

— Света, — говорят жене, — он это всё на месте придумал?

— Да нет, — отвечает жена, — у него ВСЁ — ТАК!

ХУК ПОСЕРЕДИНЕ

Есть правда жизни, есть правда искусства, но истина, несомненно, в вине.

Совершенно не задумываясь о последствиях, я рассказал о своем случайном знакомстве с популярным джазменом Игорем Бутманом своему другу, коллекционеру джаза Жоржу Покровскому. И забыл об этом.

Но однажды в наш город с антрепризой «Играем Стриндберг-блюз» в постановке Михаила Козакова приехал этот самый Бутман! И Жорж просто вцепился в меня, чтобы я познакомил его с джазовой знаменитостью.

Потакая страдальцу, я не только просмотрел спектакль, но и по окончании отвел Жоржа на фуршет в кабинет директора. Выпили, закусили, я провел обряд знакомства, но тут господин Бутман засуетился и сказал, что опаздывает на главный банкет, где застольем руководит САМ Михал Михалыч Козаков, и из вежливости предложил другу Жоржу присоединиться к ним по-английски — чуть позже.

Жорж только-только начал возбуждаться, а девушку увели из стойла! Чуть не на коленях он упросил меня поехать в тот кабак, где бы и продолжился плановый допрос музыканта.

Мне не очень-то и хотелось куда-то ехать, так как положенную дозу я уже принял, на улице было мерзко, здесь я был в своей компании и тарелке, но, вспомнив одну необычайную историю с участием артиста Козакова, отправился на чужой пир.

Машина доставила нас в заведение под названием «Камелот». Мы разделись и спустились в подвальчик, где за круглым столом уже пировали рыцари. Во главе с великим и ужасным, высоким и громогласным, пьяненьким далеко не с одной рюмки Михал Михалычем Козаковым!

Чтобы не быть хуже татарина, я в образе большого поклонника таланта Михал Михалыча поздравил маэстро с выдающимся успехом постановки, супругу маэстро с замечательным мужем, артистов труппы — с чудесной работой и предусмотрительно занял место за столом поближе к выходу. Очарованный Жорж пролез в самую середину для клинча с джазменом.

Великий и ужасный вел застолье, не держа паузу. Но я все же улучил момент и взял слово.

— Михал Михалыч, — сказал я, — хочу восстановить наше знакомство с вами, прервавшееся для меня столь неожиданно. Вы позволите напомнить вам в присутствии ваших поклонников и

друзей один эпизод тридцатилетней давности?

Мне высочайше было позволено, и я продолжил:

— В те годы я был простым провинциальным советским ученым и в составе довольно большой делегации приехал в столицу на некую конференцию. В культурной программе имело место посещение театра. А именно МХАТа, где настоящим бульдозером сносили пивной ларек в пьесе «Сталевары». Мы с своим другом, ученым великаном Толей, были принипиально против актов вандализма над пивными ларьками, так как пользовались ими постоянно и с довольствием. Посему я предложил Толе оторваться от коллектива, попить пивка и пойти на настоящий спектакль. Например, в Театр на Малой Бронной, где Анатолий Васильевич Эфрос поставил «Дон Жуана» с Козаковым в главной роли и Леонидом Каневским в роли Сганареля, слуги Дон Жуана.

Михал Михалыч величавым кивком подтвердил состав действующих лиц и исполнителей. Я приступил к заключительной части:

— Взять билеты перед началом спектакля удалось с трудом, но какие билеты! Первый ряд, места пятнадцатое и шестнадцатое! Уселись. Сцена покатая (художник Давид Боровский), прямо перед нами в рамках постановочного решения устроились на бивуак главные герои. И в непосредственной близости от зрителей первого ряда начали выпивать как бы вино из огромного штофа. Великан Толя, не знакомый с деталями системы Станиславского, предположил, что в бутылке компот или подкрашенная вода, и по провинциальной непосредственности, мягко извинившись перед сценическими собутыльниками, протянул руку, взял бутылку и отхлебнул из горла содержимое. «Болгарское сухое!» — радостно отметил Толя под злобные взгляды заслуженных артистов и возмущенное роптание соседей.

Михал Михалыч насупился, явно ожидая подвоха в сценарии, но снова кивнул в знак согласия.

— Следующим в спектакле был новаторский проход героев между первым рядом и сценой. «Ты что хамишь, придурок?» — внятно прошептал Дон Жуан Козаков, отжимая к креслу Толины коленки. Толя обиделся и вытянул ноги, тем самым затруднив мизансцену. «Ответишь в антракте!» — прочревовещал разгневанный Козаков, преодолевая препятствие.

«Толя, — сказал я, — ты что с ментами связываешься?» — «Какими еще ментами?» — пробурчал обиженно Толя. «Как с какими? Один — майор Томин из «Следствие ведут знатоки», а другой — сам Феликс Дзержинский из «Рожденных революцией!» — «Ладно тебе», — успокоился Толя — и был не прав! Сдали нас

эти «менты» как миленьких, и после первого отделения мы попали в сто второе отделение милиции города Москвы, так и не дождавшись шагов Командора.

На этом месте Михал Михалыч вскочил и заорал:

— Что за хуйню ты несешь? Спектакль семьдесят второго года, а Дзержинского я играл в восьмидесятом!

— Правда искусства важнее правды жизни, — возразил я.

— А ты еще и умный! Ты, бля, не знаешь, какой у меня хук слева! Чтоб тебя через минуту тут не было!

Мы явно перешли на «ты». И за мной оказалось последнее слово:

— Дядя Миша! — не без патетики высказал я. — Я-то уложусь и за полминуты, но ты анатомический урод, а я нет — у тебя хук слева, а у меня висит посередине!

До выхода мне было два шага, а Жоржу побольше, да и увлеченный беседой о прекрасном он не заметил, что хуксер дядя Миша, поняв, что я уже недоступен, полез именно на него с кулаками:

— А ты что сидишь, сука, мой салат жрешь! Уебывай вместе с дружком, а оливье возьми на память!

С этой гнусной отсебятиной он водрузил на голову бедного Жоржа остатки салата, и если бы руки маэстро художественно не заломили соратники, не избежать было ни в чем не повинному любителю джаза знаменитого хука слева.

Мокрый снег замел на голове очумелого Жоржа следы уголовного преступления, и я сказал с умилением:

— Жорж, а ты видел, кто держал за фалды распоясавшегося хулигана? Нет? Лично сам маэстро Бутман! Значит, ты ему понравился и вечер, в общем, прошел не зря!

УРОКИ ПОЛЬСКОГО

Начало семидесятых: в стране тишь, гладь, благодать, холодная война за мир во всем мире и всенародное построение чуши на шестой части суши. Потом этот отстой горбачевские умники назвали брежневским застоем.

Но жизнь на месте не стояла. И даже перемещалась на личном транспорте. В частности, в нашей компании постоянно тарахтел десятикопеечным бензиновым паром отечественный автоурод голубой рейтузной масти «москвич-412». Его наследственный владелец — мой единственный (что с удивлением выяснилось через пятьдесят лет) дружок Дядя-Вадя — был весьма предусмотрительным шофером. В то лето он пригласил меня с женой совершить небескорыстное путешествие в северно-солнечную Прибалтику. В складчину.

Эта практически терра инкогнита тогда для советских невыездных граждан была этакой безвизовой Европой, в которой все города назывались приезжим людом Магазинскими за непривычный набор дефицитного товара типа обуви, одежды и постельного белья. Чего в Неприбалтике не водилось со времен НЭПа.

Командором автопробега Дядя-Вадя назначил себя, а девизом предприятия рациональную мысль: «Ничего с собой не берем, остальное все купим!» Неуклонное соблюдение этой аскезы легко улеглось в багажник в виде двух пар носильной одежи на ячейку общества, четырех трико отечественной выделки типа «выкини меня», алюминиевой посуды той же судьбы, рюкзака консервов и шести флаконов водки на случай осознанной необходимости. Ночевать предполагалось в латаной брезентовой палатке и салоне «москвича» на сменку попарно. Готовить — на костерке, кипятить воду — на бензопримусе «Шмель».

После незабываемого для местных комаров первого бивуака я уговорил командора остановиться хотя бы на одну ночь в придорожном кемпинге, не доезжая до попутного города Минска, в котором недорого сдавали домик на четверых постояльцев с парковкой близ пристанища.

По соседству разместились прибывшие в двух белых «фиатах» (тех, которые вскоре стали у нас «жигулями») иностранцы, на вид — очень приятные. Примерно наши ровесники: две миниатюрные дамы, очень хорошенькие, явно семейные пчелки, и два крепких мужичка, все в американских джинсах. Интуристы бойко тараторили на каком-то близком, но непонятном наречии.

Да это же поляки, догадался я! Что, мы с ними общий язык не

найдем? Небось с Речи Посполитой русский в школе лет сто учили! Правда, если как мы английский, то разговора не получится точно.

Так, и какие же речи товарищам из Речи толкать будем? Умничать без подготовки? И что я вообще-то знаю про старинных соседей, кроме того, что и Россия, и Советы порубали их королевство-царство-воеводство и генерал-губернаторство в разное время на мелкие части?

Из поляков известных одна мразота на память приходит: Дзержинский, Менжинский, Вышинский — но эту сволоту на ее исторической родине и не знает никто! Двое Сикорских, как бы не перепутать: один наш, который американец, другой их, который лондонское правительство? Люблю фантаста Станислава Лема, сатирика Ежи Леца, поэта Юлиана Тувима. Но все они почему-то оказались евреями, а бывший сталинский сиделец премьер Гомулка еще пять лет назад эту инородную нечисть из народно-демократической Польши вымел поганой метлой. Как бы не влипнуть по этой интернациональной линии! Ведь известных со школы Николая Коперника и Марии Склодовской-Кюри для затяжной застольной беседы было явно маловато.

Думай, Барабашкин, думай! Мицкевича Адама знаю, даже «Дзяды» его антирусские под одеялом на папиросной бумаге в студентах читал, но не помню даже имен главных героев! Фридерика Шопена знаю, точнее его «Революционный этюд», но это не романс — не напоешь! Стоп, есть что намурлыкать: «Полонез Огинского», он же «Прощание с Родиной»! Где же это его на всю катушку прокатывали? Вспомнил, Матка Боска Ченстоховска! «Пепел и алмаз» Анджея Вайды, с Цибульским в главной роли! Мировой киношедевр всех времен и народов, двухсотпроцентная гордость любого стопроцентного поляка! Эврика!

— Разрешите представиться: мой друг Вадим, его жена Таня, моя — Света, и я сам — Владимир, можно Вова. Все мы ученые-физики, кроме Тани — она ученый-биолог. Прибыли любоваться чем попало из города Саратова, с реки Волга.

— Я — Казимеж, то мой пржияцол Лех — мы лекарцы. Моя жона Гонората — архитектка, жона Леха Алиция — просто жона. Мы з Кракова. И тро-че знамо росийску мову. Вы дюже нам в радосчь.

Ну, если и мову нашу троче знают, то вперед, заре навстречу, товарищи в гульбе, врачам и архитекторам расскажем о себе!

— А нам, мало-англо-русско-язычным, с польским языком не повезло — чего не знаемо, того не понимаемо. Мой сосед, царство ему небесное, пан Янек Мотыльский, старичок портной

сибирскоссыль-ный, приговаривал в усы: «Польска мова бардзо подобна до француской: падво, быдво, повидво!» Это не очень грубая лингвистическая шутка, Панове? А то извините! Sorry, так сказать. Как, кстати, по-польски «sorry»?

— Пржепрасжам.

— Как, как?

— Так, — смеется Казимеж, — пржепрасжам!

— Все, миль пардон, медамс и месье! Наврал покойный Янек, французскому до польского ой как далеко!

И мы со страшной силой начали дружить. Поляки пошли к «фиатам», мы — к «москвичу». Поляки вытащили из багажника сундучок со столовыми приборами, к ним мельхиоровые стопарики и бутылку поганой польской водки с закуской в плетеной корзинке — краковску киелбасу (не путать с одноименной и несъедобной нашей) и варживу (овощи домашнего консервирования).

Мы из своего — четыре железные кружки с четырьмя железными ложками, охотничий нож-кладенец, шматок сала в вощеной бумаге, толстый нарезной батон и пузырек настоящей «Столичной», купленной не где-нибудь, а по большому блату. Сюрпризом для пржияцолей была банка настоящего, то есть не индийского, а ленинградского растворимого кофе, чего в краковских чертогах отродясь не водилось: Польша тоже сидела в соцлагере, хоть и не так, как мы — на голых нарах, но «добрая кава» и в ней была дефицитом.

Архитектка Гонората расстелила на столик в общей беседке цветную скатерку, пан Лех раскупорил свой денатурат, просто жона Алиция изящно разложила еду на тарелочки, а пан Казимеж достал из чехла гитару. Дядя-Вадя споро порубал обоюдоострым клинком сало и подошел к Казику:

— А мне гитару дашь? Я тоже умею!

И соревнование началось: на музыкальном ринге у Вади с Казиком, на питейном — у меня с Леше-ком, на кулинарном — у паней с дамами. Проигравших не было — главным было участие, а не победа: еще Польска не сгинела, и не умер русский дух!

Как я и предполагал, важнейшее из искусств — кино — полностью оправдало свое ленинское определение! Я витийствовал по поводу «Пепла и алмаза», что Вайда — проповедник достоевщины и в своем шедевре смешал в одну кучу «идиотов» и «бесов», что только таким гениальным актером, как Збигнев Цибульский, этот микст удалось воплотить в одном герое. Это соображение было вовсе не озарением, а следствием моего длительного словоблудия в саратовском элитном «Киноклубе» продвинутых в разные стороны врачей братьев

Штернов. Старший как был, так и остался земцем, а младший неожиданно проявился шведским иноземцем. Недаром проницательные чекисты считали киноклуб гнездилищем разврата.

Пани с дамами вспомнили знаменитых польских кинодив — двух Барбар, Брыльску и Крафтувну. Паны тут же перешли к острокритическому разбору шедевра Войцеха Хаса «Как быть любимой». С теми же Крафтувной и Цибульским в главных ролях. Фильма, скажу, на очень скользкую тему: что же это за такое — военное геройство, подвиг ли это только, черт побери? В широком прокате у нас он не шел, а в местном Доме кино для обкомовских и клубных из-под полы показали.

Вспомнили мы дружно также польско-советскую ленту «Прерванный полет», и как там Эльжбета Чижевска учила на сеновале нашего Белявского семипадежному польскому языку — «дробина с повыломынывыми щербинами», то есть — «лестница с выломанными ступеньками».

Умничали мы долго и естественно, как дома на кухне: польское кино того времени для совка было приоткрытой форточкой в Европу, а поляки искренне восхищались своими киногениями.

Так что в целом поговорили хорошо — «была ладна дискуссия». А также хорошо выпили. Что, как известно, одно другому не мешает. И решили завтрашний день провести в совместной экскурсии. Куда ехать? Утро вечера мудренее.

За легким, в сравнении с ужином, завтраком я предложил на двух машинах смотаться чуть в сторону от трассы — в мемориальный комплекс «Хатынь».

— Катынь? — удивился Казик.

— Нет, Хатынь, там немцы сожгли белорусскую деревню со всеми жителями, только что памятный музей открыли, — объяснил я.

— А у нас проблем, — вмешался Лех, лучше остальных, как этнический украинец, знавший русский язык и особенности восточного быта, — мы едем на Смоленск по консульскому маршруту, скок вправо, скок влево — розстржеливание. Так у эсэсэрцев?

— Ошибаешься, Лешек, в нашей стране — закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло. Разумеешь, пан иностранец?

— Так, — перешел в волнении Лех на родную польскую мову, — а гжие ест постерунек полици? Пиесжечь на мапу поставить.

— Сидите-ка, паны, на лавочке с девочками, а мы с Дядей-Вадей в участок сбегаем и о печати на дорожную карту с

полицией как-нибудь договоримся. Будет вам полный пиесжечь!

Отошли за угол, покурили и вернулись.

— Все в порядке, шановные паны. Пиесжечь не надо, мчимся на объект по устному разрешению в сопровождении верных друзей полиции из бригадмила, то есть нас с Дядей-Вадей! По коням, кавалеровичи!

Через час мы были в Хатыни — музей под открытым небом, помпезно, но торжественно, сняли шапки, постояли и уехали восвояси без приключений. Гаишников в Белоруссии сроду не водилось — народ вокруг бедный, отбирать нечего, чай, не Москва. По дороге свернули на местный базар, купили там зелени, солений, местной ряженки и печеной бульбы — картошки в мундире. Обиад, то есть ужин, был обеспечен! И он состоялся.

Пани дефилировали в вечерних платьях, наши дамы в отглаженных ковбойках навыпуск поверх закатанных тренировочных штанов — ноги у них были не под стать польским, почти до шеи. Все четверо — завитые и подкрашенные. Паны явились в пиджаках, мы с Дядей-Вадей в чистом нательном белье мужественно изображали без грима степных разбойников с Гуляй Поля.

Стол полн был яств. Про кино уже не говорили. Тема оказалась более серьезной.

— Вот бывали мы в Хатыни, — с грустью сказал Казик, — а едем в Катынь, обок Смоленска. У нас специальний маршрут. Ты, Вовек, значе сие Катыньский лас?

Я, как вы понимаете, был всезнайкой.

— Конечно, знаю. Там, в этом лесу, фашисты в Отечественную войну пленных польских офицеров расстреляли.

— Ниепрaвда то, Вовек! Ние фашисты, а акция росийского гестапо, и провадзичена она до вашей войны с ниемцами — в тыщенц джевеньчьсэт чтэр-жещчем року, когда Сталин с Гитлером пржияцолствовал. Там замордовачены наши ойчиецы: мой — надпоручник Шептицки, и Лешека — капитан Засядько. И ежсже пеньчь тыщёнцей. Вот мы и едем плакачь на их гроби. А их там — ние ма! Будемо на ровну землю гождзики кластчь.

Так я, дурак, узнал не только про Хатынь, но и про Катынь. К своему и нашему позору! Без перевода его с советского на немецкий.

Поутру наши экипажи разъехались по сторонам, каждый по своему маршруту…

Прошла треть века, жизнь вывернулась чуть ли не наизнанку, и стоят уже католические кресты в опоганенном Катынском лесу, и документы об этом невероятном злодеянии рассекречены. Но покаяния от нас как не было, так и нет.

А значит, нет и покоя душам невинно убиенных.

ЧИСТО ЕВРЕЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Однажды меня наградили. Заслуженно или нет, не в этом дело. Главное — кто наградил! Томить не буду, скажу прямо: Первый всероссийский съезд раввинов.

Зрелище — экзотическое. Кто видел когда-нибудь живого раввина в его неописуемых одеждах, во-первых, должен умножить свое впечатление на сорок, а во-вторых, представить всю компанию за длинным столом президиума на скромной сцене клуба культуры Саратовского университета.

Зал битком был набит местными неверующими евреями с высшим образованием. Они пришли нарядно одетыми посмотреть на пейсатых раввинов в униформе — лапсердаках и широкополых черных шляпах — по причине неистребимой национальной любознательности.

Меня как деятеля городской национально-культурной автономии подвели к раву Пинхасу, председателю раввинского суда, гражданину дружественной Швейцарии, который на приличном русском сказал:

— Мы хотим сделать тебе сувенир, а потом ты выступил с благодарностью.

Я не возражал и начал судорожно думать о содержании ответного слова в безусловно комплиментарном для почтенных священнослужителей духе.

После долгой последовательности достаточно кратких выступлений сорока раввинов зал сонливо притомился и требовал хоть каких-то развлечений.

Тут меня пригласили на сцену и торжественно вручили некий религиозный презент с надписью на неизвестном, но очень близком языке. Я подошел к микрофону и сказал речь. Вот она:

— Уважаемые господа раввины! Уважаемый зал! Знаете ли вы причину, по которой самый первый съезд самых выдающихся евреев состоялся в городе Саратове? Нет, вы этого не знаете, и до вчерашнего дня не знал и ваш покорный слуга. Точнее, до вчерашнего вечера, когда в одном тихом и уютном ресторане я оказался за одним столиком в компании некоего влиятельного татарина и уважаемого местного краеведа коренной национальности, который и задал остроту беседе. Влиятельный татарин сказал, что наш город вырос из старинного татарского поселения Сара-тау, что в переводе означает «Желтая гора». Краевед же сказал, что это натяжка, что желтой горы у нас нет, а есть одна Соколовая для нефтедобычи, другая — Алтынная для сумасшедших, да третья — Лысая для антиправительственных

шабашей. И тут меня осенило! Я вспомнил, что нашу библейскую прародительницу звали САРА. И что на иврите «хорошо» звучит «ТОВ»! Соединив эти слова воедино, я не только получил название нашего города, но и потряс татарина с краеведом явно историческим фактом древнейшего переселения наших кочевых предков с берегов Иордана на берег Волги! Все, что сложно, то не нужно, а то, что нужно, — то не сложно. И даже если уважаемые ученые раввины и не так учены в краеведении земель не обетованных, Бог их всегда ведет по правильному пути! Да здравствует древний еврейский город Саратов, далеко не случайное место проведения Первого съезда раввинов России!

Сорвав заслуженные аплодисменты, я вместе с раввинами отправился на фуршет, где меня зажал в угол раввинский судья Пинхас.

— Глейзер, — сказал он, — ты нас расшутиваешь: «Сара» — женская форма. Надо говорить «Сара — това», а не «Сара — тов».

— Пинхас, — сказал я, — ты просто не знаешь, как велик могучим русский языка. Как по-швейцарски «Я из Цюриха»?

— Ани ме Цюрих, — на чистом иврите с выражением сказал Пинхас.

— А я — ни бе, а я — ни ме, я из САРА-ТО-ВА! — подвел я окончательный итог.

КАНАЛ «ВОЛГА-ДОН»

С профессором Доном Рейли, университет Чепел-Хилл, Северная Каролина, US, в самом конце восьмидесятых годов меня свела «Жизнь».

Так называлось рукописное сочинение Елизаветы Дмитриевны Урюпиной толщиной в одиннадцать толстых тетрадок, написанное в мирные годы чернилами школьной ручкой, а в военные и послевоенные — остро заточенным твердым карандашом. Это был дневник сначала девочки двенадцати лет, потом — и до конца — девушки: Лиза не выходила замуж. Она была на три года моложе беспощадного двадцатого века, и тот в своей провинциальной нехудожественности пробушевал на ее глазах, разбив походя ее сердце: на пятидесятом году Лиза умерла от инфаркта.

Двадцать пять лет спустя Лизины тетрадки притащил мне в пожухлом газетном свертке мой закадычный дружок — черный следопыт Витя Малек, человек тяжелой судьбы и легкого поведения, специфический нюх которого распространялся на все, начиная с древних икон и кончая подпольным печатным станком бывших социал-демократов. В этой чудесным образом уцелевшей типографии мы с Мальком чуть было не закончили свой извилистый жизненный путь как марктвеновский разбойник индеец Джо, умерев от голода и жажды в абсолютно скрытом от общественности подвале-бомбоубежище. Туда мы проникли под шорох легкого бытового скандала между Мальком и очередной его подругой — сумасшедшей нимфоманкой Машкой, наследственной хозяйкой этой пещеры Лейхтвейса (помните знаменитый роман Редера с подзаголовком «Тридцать лет любви и верности под землей»?). Подпольщица, как вы понимаете, спустилась в нее (и не впервые) не с антикварными, а с несколько иными целями. Наше сексуальное недомогательство и детские визги восторга от увиденного в тусклом луче карманного фонарика вблизи от Машкиного рабочего топчана, чугунного станка-красавца, не остались безнаказанными: глубокий и темный подвал исчезнувшая Машка заперла снаружи!

Выйти из толстокаменного узилища с вековыми дубовыми дверями никакой возможности не было, и мы просидели в нем ровно одну рабочую смену — восемь часов без обеденного перерыва. Пока с нарядом милиции на воронке к темнице не подъехала в поиске справедливости Машкина мать, которой дура-дочка в злобных слезах все же поведала, что в семейное типографохранилище проникли неизвестные грабители-

импотенты, а она, убегая со страху, заперла их на засов на месте практически уже совершенного преступления.

Выходя из чуть было не поглотившей нас братской могилы под дулами пистолетов с поднятыми вверх руками, мы поразили ментов неожиданной радостью от встречи с ними. Назад нам после составленного милицейского протокола ходу уже не было. Два месяца мы с Мальком обивали пороги краеведческого музея и областных культуроначальников, умоляя вывезти чугунное чудо немецкой техники с полными наборными кассами на свет Божий, отчаянно спекулируя на ее очевидном участии в борьбе за освобождение рабочего класса, но в данных учреждениях не обнаружилось ни любви к отечественной истории, ни подъемного крана. Типография вскорости была засыпана строительным мусором и сровнена с землей имевшимися у более богатого комитета по строительству бульдозерами, а на образовавшемся пустыре бойкие кооператоры возвели столь нужный простым людям многоэтажный жилой дом.

По сравнению с описанным приключением дневники бедной Лизы были для Малька совершенно незначительным эпизодом: он обнаружил их на чердаке старого деревянного дома, в котором за небольшое вознаграждение переклеивал обои и красил окна. Другой бы мастеровой на пыльный захламленный чердак и не полез. Но Витек был прирожденным искателем древностей.

Единственным жильцом этой траченной временем и нищетой квартиры была тогда родная племянница Елизаветы Урюпиной Лариса — мрачная молчаливая женщина, врач по профессии и несчастная одинокая алкоголичка по быту. Разрешение на безвозмездное изъятие связки старых бумаг Малек от хозяйки получил и принес их мне в качестве подарка ко дню рождения. Витя понимал толк в хороших презентах и никогда не дарил одеколонов!

Начальная тетрадка не вызвала интереса: к девичьим писулькам с рисунками кудрявых принцесс и засушенными ромашками и васильками между страничками я был равнодушен.

Первое, что насторожило меня, было описание Февральской революции: «В гимназии прошел слух, что на Театральной площади рабочие кричат «Долой царя» и бунтуют. После уроков мы с девочками побежали на площадь, а там никого не было. Папа сказал, что к обеду все разошлись». Если вы думаете, что революция октябрьская чем-нибудь отличалась в дневнике от февральской, то вы ошибаетесь: через полгода текст повторялся дословно, кроме смены лозунга на «Долой министров-капиталистов!».

Обыватели города Саратова в судьбоносном семнадцатом

году не заметили двух революций! Вот это да! У нас мраморные доски висят где попало, в честь незабываемых событий, а простые миряне лениво профукали мировой пожар! В общем, дневники меня уже заинтересовали явно нетривиальным подходом.

Дальше было еще интересней. Восторженная девочка-мещанка не заметила столь сильных изменений, как неминуемое для тех лет лишение прав отца, крупного подрядчика РУЖД — Рязано-Уральской железной дороги, домовладельца со своим выездом, свое непоступление в университет по линии классовой чуждости, непрерывных неприятностей старшего брата, офицера и военного медика, сначала белогвардейца, а потом красногвардейца. Задели, и навсегда, смерть старшей любимой сестры от туберкулеза, поразившего молодую женщину-врача в полевом лазарете, и долгая, изнурительная болезнь матери. Коснулась и непривычная бедность, наступившая сразу после того, как вся большая дружная семья была изгнана из собственного дома и переселена в худой холодный домишко.

Где Малек впоследствии и нашел рукопись.

Будучи доброй и воспитанной дочерью, Лиза никак не могла понять отца. Почему этот не старый еще и сильный мужчина не работал и даже не искал работу, а, воспользовавшись связями своих детей-врачей, выхлопотал себе инвалидность и занимался только домом? Лиза так и не поняла, что так отец — по ее мнению, скряга и ворчун — протестовал против новых порядков, сломавших всё. В частности, и его, счастливую до их прихода, судьбу.

А Лизина «Жизнь» продолжалась. Она, грамотная девушка с гимназическим образованием, устроилась кассиром в управление РУЖД, где на мизерной зарплате и проработала до самой смерти. Она ходила в кино и театры, читала книги, слушала грампластинки, большим собирателем которых был и отец, знакомилась с молодыми людьми, впрочем, абсолютно безрезультатно, — все они не блистали интеллектом и раздражали ее своей безграмотностью.

Но у Лизы не было комплекса неполноценности! Она видела и записывала все, что считала нужным! И она была смелым человеком — в дневниках, которые она особенно и не прятала, не одна страница тянула на стопроцентную Колыму! Субъективный по своей сути взгляд был приговором рядового обывателя той жуткой эпохе, на которую пришлась ее «Жизнь».

Я считал, что подобное свидетельство, по счастливой случайности попавшее в мои руки, обязательно должно быть опубликовано. Обязательно! Но где? Не в нашей же стране недоразвитого социализма!

Рукопись необходимо было передать на Запад, а как — подумать надо. «Жизнь» не была злобным антисоветским, тем более диссидентским опусом, и вообще, наступила перестройка, и коротичевский журнал «Огонек» печатал для своих многочисленных читателей хрен что придумаешь.

На Запад, на Запад, на Запад!

И тут мой друг, историк-американист Саня Кредер, знающий про мою идефикс, приводит ко мне свободного американского гражданина Дона Рейли, ученого — специалиста по истории Саратова времен Гражданской войны, нашего ровесника и антисталиниста! То, что с русскоязычным Доном мы спелись через полчаса — такая же правда, как то, что через два часа мы не спились. Хотя откушали за литр.

И до того, и после того мне приходилось разделять трапезу с господами иностранцами. Но такого умельца, как Дон, мне встречать не приходилось. Он говорил:

— Володя, наливай — я уже обрусел!

И не врал — даже многолюдные мероприятия мы заканчивали один на один, что свидетельствовало о странном отсутствии на сборищах жрущих спецтаблетки чекистов-профессионалов.

Вывезти рукопись впрямую Дон боялся — советской тогда еще стороне в лице ее доблестных органов давно казалась подозрительной «челночная дипломатия» мистера Д. Рейли в тогда еще «закрытый город», и давать им дополнительный повод для отказа в визе Дону не хотелось. Решили действовать веками проверенным спецслужбами способом. Дон созвонился со своим другом — консульским работником в Ленинграде. Операция получила кодовое название «Канал «Волга — Дон»». Я поездом приехал в город трех революций и спокойно передал на вокзале узнанному по цветному шейному платку мистеру Майклу N. аккуратный пакет с дневниками.

Через две недели «Жизнь» диппочтой попала в Штаты, а через год на грант, полученный на ее исследование, была переведена на английский, научно откомментирована и опубликована малым тиражом в издательстве Университета Чепел-Хилл. Политической сенсации этот факт не вызвал, да и не ее я ожидал.

Просто дорогая моему сердцу Елизавета Дмитриевна Урюпина вдруг начала жить новой и заслуженной ею «Жизнью».

РОЯЛ ДАЧ

Если для немки триадой счастья было сочетание «kirchen — kinder — Kiichen», то есть церковь, дети и кухня, то для самодостаточности совка — «квартира — машина — дача». О духовности и воспитании сытого поколения в крылатой формуле не было и намека. То есть диалектическое противоречие между развитым социализмом и загнивающим капитализмом являлось очевидным и принципиальным. А главное, честным!

Кооперативную квартиру я построил еще студентом-пятикурсником на «бешеные» гонорары за цирковые репризы и тексты театральных песен, машину выменял на «Острожскую Библию», а дачу начал строить на трудовые доходы — на четвертом десятке я считался официальным высокооплачиваемым работником умственного труда: стал доцентом. Нюансы в финансах, по правде, имели место, но не о них речь.

Дело в том, что в обществе, в котором я мыслил и на это существовал, счастье было не в деньгах, и даже не в их количестве: купить на них было нечего и негде! Кроме участков в дачном кооперативе, в отношении которых по явному недосмотру органов чудом уцелела базарно-рыночная экономика. Нам с моим закадычным другом — будущим знаменитым американистом и уже доцентом Саней Кредером — сказочно повезло: за сущие копейки мы не просто купили дачные участки, но купили там, где давно хотели!

На моем участке была землянка в два наката, на Санином — и вовсе чахлая пустота. Но неоглядно на три стороны перед нами простиралась Волга! Как много в этом слове для сердца русского слилось! Неважно, что я был евреем, а Саня немцем — мы оба были сильно русскоязычными и стишок этот (правда, про Москву) знали с детства.

Саня, как вы уже поняли, тоже был высокооплачиваемым работником умственного труда, и мы занялись в складчину домостроительной научно-изыскательской работой. Будучи не только высокооплачиваемыми, но и начитанными, мы объявили своим женам о создании «Роял Дач Билдинг Компани Ltd», в переводе «Компания по строительству королевских дач с ограниченными возможностями», по аналогии с голландским нефтяным монстром «Royal Dutch», ни с дачами, ни с датчанами, ни с нами ничего, впрочем, общего не имеющим.

Искали мы необходимые стройматериалы везде, включая лесоторговые базы. На них на самом деле никаким лесом не торговали, но там по блату можно было оформить любую

покупку. И мы воспользовались лазейкой!

В описываемое время неожиданно для всех советская власть полюбила один отдельно взятый репрессированный народ. А именно крымских татар. И по мудрому распоряжению партии и правительства в местах, не столь отдаленных от мест их многолетней ссылки — в таежной Сибири, — был реализован гуманитарный проект: унифицированное изготовление бесстеновых, бескрышных домов для квадратно-гнездового возведения саклей на исторической родине упомянутого истерзанного народа, то бишь в Крыму. Стены по проекту предполагалось возводить из местного материала, предположим, из известняка, а может, из кизяка, а может, из чего другого. А крыша у традиционной сакли всегда глино-соломенная.

Однако глупые татары в Бахчисарай и Джанкой дома эти без стен и крыши не везли, а в остальных частях СССР нетатарам по негласной разнарядке воплощение таежной гуманности не продавали. Непокупаемые изделия поэтому стоили дешево, с бешеной скидкой, и мы с Саней с небескорыстно возникшим чувством пролетарского интернационализма — бисмилла иррахман ирахим! — подались в татары.

Для инициации не нужно было представлять документы из мечети или справки из загса. А было достаточно телефонного звонка на лесоторговую базу от влиятельного лица. Типа «два крымских татарина, Кредер и Глейзер, направляются во вверенное вам учреждение для оформления покупки изделия Бс БкДТ 075/16 без торговой наценки». Такой звонок под реальной угрозой окончательной и бесповоротной потери потенции от удара зятевой ноги и был осуществлен моим несговорчивым тестем Михаилом Ивановичем из своего кабинета начальника отдела кадров Управления материально-технического снабжения при Совнархозе Саратовской области.

Через час мы оформили покупку и договорились о доставке ее к месту назначения.

Наш дачный кооператив «Займище» имел своеобразный ландшафт — к этим райским кущам не было подъезда! Чем, кстати, и объяснялась доступность приобретения. От дорожного тупика над обрывом до стройплощадки было метров сто пятьдесят пешего пути по прибрежным колдобинам. А привезли мы два грузовика, до краев наполненных полами, потолками, окнами, дверями, лагами, балками и чем-то еще, включая ровные палки с красивым названием «мауэрлат». Каждая деревяшка на торце была заклеймена номером, по которому, в согласии с прилагаемой толстой книжкой «Спецификация и сборка», можно было, как в игре «лего», составить из многочисленных частей

изделия Бс БкДТ 075/16 бесстеновой бескрышный дом размером 10х8 метров. Целую неделю на руках и плечах методом семейного подряда мы перетаскивали этот «юный конструктор».

Но не надо было забывать про нерабочее время. А оно было временем охраны запрещенной законом частной собственности в стране, где все вокруг колхозное, где все вокруг мое. Татями в нощи были все дяди и тети округи: они совершенно искренне считали, что взять из общей кучи доску-другую не помешает делу строительства коммунизма в одной отдельно взятой избе. Охрану держали жены: они ночевали в моей машине рядом с кучей, нажимая на гудок и освещая дальним галогенным светом разбойников с большой дороги в светлое будущее.

К несчастью, изделие Бс БкДТ 075/16 не было бесстеновым *дачным* домиком и по размерам не соответствовало железной *дачной* норме «6х6», любое отклонение от которой в длину и ширину однозначно каралось сломом по указанию проверяющего!

А пилить, строгать и забивать мы, физик с историком, были не обучены. Но в заначке у меня был «кадр, который решал все»! Это поистине заслуженное звание носил мой коллега по кафедре старший научный сотрудник Дима Глазов.

Дима от рождения был сухорук, но не совсем полноценная левая конечность была совершенно уместным подспорьем правой, которая творила чудеса как в микроинженерном, так и в макроплотничьем деле. К тому же у Димы была абсолютно главноконструкторская голова. И оттого, что он согласился нам «помочь», розовая перспектива справить к зиме новоселье становилась стопроцентной реальностью.

Дима жил через речку напротив наших дач и был владельцем быстроходного катера «казанка». Поэтому то, что речка называлась Волгой и была шириной в три километра, его ничуть не смущало. На второй день водным путем он переправил на объект тяжеленную самодельную пилораму с электрофуганком, привез готовый чертеж «6х6 вместо 10х8», и работа закипела! Два доцента и две доцентши весело, с огоньком трудились подсобниками и выполняли матерные Димины команды типа «Подай вот эту хреновину!» или «Придержи эту хуевину!» беспрекословно. И загудел, как улей, родной завод!

Но деревянные строительно-монтажные работы предварял, как и положено, «нулевой цикл», а именно рытье и укладка фундамента, в котором гений пилы и топора не мог по своим природно-производственным характеристикам принимать участие. К этому делу и, конечно, на абсолютно добровольных началах был привлечен специалист по другому билдингу — боди-: силач и культурист Лева Циркинд, для которого копание и

перебрасывание земельной массы было облегченным вариантом ежедневных тренировок по накачиванию массы мышечной.

На торжество по закладке «Роял дач» Саня где-то из-под полы достал истинное чудо — алюминиевую пятиведерную бочку (сейчас бы сказали — «кег») настоящего чешского пива. Запаянная бочка в пятнадцать галлонов и сто пятьдесят фунтов нетто была неимоверно тяжела, но закаченная наполовину пивом, наполовину пеной, в воде не тонула, и поэтому с песнями вплавь была доставлена под старую ветвистую яблоню на стройплощадке. Под бравурные звуки трофейного патефона в нее ввернули бронзовый водопроводный кран и водрузили меж сучков. В качестве кружек в дело пошли пустые литровые банки из-под просроченных консервов «Каша перловая» и «Тушенка говяжья», шесть ящиков которых на время строительства я «заготовил» у знакомого прапорщика N-ской воинской части в обмен на один ящик портвейна «Розовый». И пир удался!

Возведение бесстеновой конструкции было в самом разгаре, когда подул холодный волжский бриз, и нам захотелось хоть каких-нибудь стен. В научно-исследовательском отделе компании «Роял дач» был сделан выбор в пользу дешевой необрезной доски-дюймовки, которую на нашей пилораме обращали в вагонку, и обапола на стойки под нее.

Неизвестным нам тогда, а большинству и сейчас, словом «обапол» называется толстый горбыль, который получается при распиловке в четыре ножа бревна на шпалы, то есть сужающийся трехсторонний брус. Дважды прекрасный строительный материал! Во-первых, как брус, а во-вторых, своей ценой. На лесопилках он проходил как ничего не стоящий горбыль и по цене горбыля доставался «нужным людям».

Это почетное для советского человека звание мы запросто получили у моего почти что одноклассника Льва Петровича Каца, управлявшего строительным трестом и во всех смыслах большого человека. Он же и направил нас с сопроводительной запиской на лесопилку на речку Гуселку, впадающую в Волгу чуть выше нашего участка. Набрали мы этого горбыля три лодки-гулянки по официальной цене сто восемь рублей за все про все с документами. И этого волшебного леса нам хватило с запасом на обе дачи. Мы даже песню пересочинили на известный мотив: «Это слово новое — «обапол» — нам дороже всех красивых слов».

Так один за другим в рекордные сроки на берегу великой русской реки два «высокооплачиваемых работника умственного труда» получили право на незаслуженный семейный отдых в настоящих деревянных дачах, покрытых рубероидными крышами с блестками, искрящимися под ярким солнцем.

Как любой классический трест, «Роял Дач Билдинг Компани Ltd» лопнул, взорвавшись праздничным фейерверком с карнавалом и банкетом на берегу еще не затянутой льдом Волги-реченьки-реки.

«АНДРЕНАЛИН»

Андрюшка Мизюрев был черемисом, не вернувшимся после армии домой, а решившим посмотреть мир, который ни в своей марийской деревне Тайганур, где жили и работали традиционные плотники-срубщики, далекой даже от Йошкар-Олы, ни на ракетной точке в Забайкалье, где Андрюшка поварил, он не знал и не ощущал. Как, ободранный и голодный, он ранней весной оказался в нашем дачном поселке, дембель не понимал вовсе.

— Да как-то так, дядя Вова, получилось: сел в поезд, а потом из него вышел.

Андрюшка по крестьянской жадности на свои не пил и не курил, на чужие — только «баловался», но мог на завтрак, обед и ужин подчистую спороть с добавками все, что ему давали, не пренебрегая постоянным подножным кормом, к коему относились яблоки, груши, овощи и ягоды, бесхозно произраставшие на участке.

— Андреналина во мне не хватает, — оправдывался обжора, кем-то наученный. При этом парнишка сохранял стройность фигуры и ясность мысли.

А мысль у него была одна: разбогатеть так, чтобы появиться дома городским модным парнем с тысячей рублей в кармане и подарками близким на общую сумму триста пятьдесят рублей. У него, как у Шуры Балаганова, все было рассчитано до копейки. За осуществление этой мечты он был готов выполнять любую работу. Причем в любое время: он никуда и никогда не торопился. Может, из этого и состоит душа далекого, но близкого марийского народа?

И я купился на такого Балду, так как любому владельцу дачного хозяйства всегда нужен работник: повар, конюх и плотник, — да где мне найти такого, не слишком дорогого? Хотя, в отличие от легендарного умельца, крестьянский сын Андрюшка мог копать, а мог и не копать, но, главное, мог сторожить место своего проживания. С местными мужиками, браконьерствовавшими хилой рыбной ловлей на бывшей великой своими запасами реке Волге, Андрюшка часто уходил в ночь, пренебрегая третьим и обязательным для выполнения поручением. Потом весь улов жарил или коптил, ел сам и от души угощал хозяев и их гостей скукоженными до мизинца мальками.

Был разгар лета, на даче жили отдыхающие, и проблема охраны, в общем, не стояла. Андрюшка был мелкокучерявым, белозубым, вечно улыбающимся чистюлей, совершенно

лишенным даже малых внешних признаков деградации. И меня это устраивало.

Он, на самом-то деле, нужен мне был на осень. Когда дачники съезжали, а лихие парубки из соседней деревни начинали любимое народное дело — безнаказанно грабить дачи. Брали все, что хозяева не вывозили в город или не закапывали в огородных схронах, включая все железные изделия до крыш, сдававшиеся в металлолом. С главными махновцами, своими ровесниками, Андрюшка скоро подружился и даже нашел себе среди них девушку, которая по своим морально-техническим характеристикам парубкам давно уже была в обузу.

Договорный кошт по соглашению сторон состоял из зарплаты в размере официального прожиточного минимума, которая, за исключением небольших сумм на конфеты и одеколон, хранилась у меня до накопления «золотой тысячи», одежды и обувки добротного сэконд-хэнда, проживания в отдельном отапливаемом дровами домике при даче, калорийного питания из общего котла и непрерывного просмотра телевизора, единственного источника Андрюшкиной культуры и информации. Так что его трудовая и личная жизнь били ключами. Но, как выяснилось, не только ключами, но и отмычками.

Андрюшка начисто был лишен самостоятельности, он жил чужими командами, просьбами, советами и никогда со всем этим воздействием не спорил. Почему? Да потому что так жили все: в родной забытой и забитой марийской деревне, в «дедовской» советской армии, в придачном спившемся поселке, да и на «барской», по Андрюшкиным понятиям, даче, где все, что делал Андрюшка, кроме рыбалки, он выполнял только по моим распоряжениям. Я был для него обычным и очередным отцом-командиром, только богаче, добрее и веселее забайкальских!

Трясина дачных грабежей, при железном условии — хозяина не трогать, затянула сторожа-балду. Естественность процесса была вульгарной.

— Все побежали, и я побежал, все крышу снимали, я крышу снимал, все пировали, и я пировал. Только вина я, дядя Вова, почти не пил! У меня от него голова болеет, — объяснял мне на очной ставке подсудимый Мизюрев.

— А как баня-то моя сгорела, Андрей, ты знаешь? — спрашивал я. И тут я выслушал историю удивительного пожара.

Моя бревенчатая банька стояла на столбах у берега, в воде, и летом любители мокрого пара ныряли из нее голышом прямо в Волгу, а зимой — в прорубь перед баней. Лепота, да и только! Топилась банька дровами до ста двадцати градусов. Но за топкой надо было следить, и все парильщики знали, как. Главным

противопожарным мероприятием было не уходить домой, пока не погаснет печка, и все. Так она прожила лет шесть. Когда она загорелась, мне в город позвонили соседи. Вызвали пожарных. Они тушили не саму баню, а вокруг нее, чтобы от мощного очага не загорелись другие постройки. Кто парился в бане, точнее, кто ее топил и поджег, мне поведал кто-то из соседей, но я не поверил. Ненадежный подвыпивший свидетель утверждал, что парился в баньке Андрюшка, о котором наверняка было известно, что пребывает сторож под стражей в следственном изоляторе по делу о дачных налетах.

И вот что поведал мне на той очной ставке зэк-первоходок. На первом же допросе наивный металлоискатель искренне (то есть как умел) рассказал все, увеличив пойманных на месте преступления архаровцев ровно вдвое, и вызывали потом его к следователю только для уточнения несущественных деталей поведения подельников. С правоохранителями у Андрюшки сразу же завязались социально близкие «неформальные» отношения. Вертухаи и следаки делились с вечно голодным сыном марийского народа своими объедками, а тот — подробностями своей непритязательной жизни: ассортиментом овощей и фруктов, произраставших на даче, особенностями меню хозяйской пищи, названиями мальков, отловленных сетями браконьеров, про девку Зульку, которую, как честный человек, числил своей невестой. И конечно же незабываемыми воспоминаниями о чудесной бане на курьих ножках.

И стали менты ездить в мою баню. Под видом следственных экспериментов на месте преступления. Снимали с подследственного Андрюшки наручники, и пока шерлоки Холмсы разворачивали скатерть-самобранку, тот истово колол дрова и топил каменку. Но однажды следственный эксперимент запоздниился, пьяные запаренные менты с такими же бабами заторопились в ночи и, несмотря на бурные возражения балды-истопника, бросили баню с непотушенной печкой.

На следующем следственном эксперименте наручников с Андрюшки за ненадобностью уже не снимали.

Виновных в пожаре доблестные органы не нашли.

Новую баню я построил через год.

А еще через полгода за хорошее поведение из узилища был отпущен удивительный черемис Андрюшка. Он пришел ко мне как ни в чем не бывало, забрал из чулана сидор со своим сэконд-хэндом, завернул в тряпицу «золотую тысячу» и отбыл в не известном даже ему направлении.

Испарился, как жар от каменки.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В вялотекущем брежневском застое национальный вопрос не стоял, а лежал на необъятных просторах социалистической родины, скрючившись одноименным знаком препинания, распрямляясь изредка в знак восклицательный. Как правило, в ненужном месте и в ненужное время.

Племянник Женя был чемпионом генетики: двух метров ростом от кудрей до ботинок, с огромными голубыми глазами, он был копией своего дедушки с неслучайной фамилией Гренадер, извилинами мозга резко отличаясь при этом от покойного великана в пользу папаши Юрия Вениаминовича — моего гениального брата. Отроду побеждая на всех очных и заочных математических олимпиадах, малыш параллельно с легкостью окончил музыкальную школу подмосковного райцентра Загорск, не выезжая дальше него из поселка городского типа Лоза, где по определению был первым парнем на деревне.

Москва бурлила в семидесяти верстах, но вундеркинд ее знал только по продуктовому магазину на проспекте Мира, в который вливалось Ярославское шоссе, где на грязной обочине и прозябала его малая родина. Именно по этому маршруту на личном «москвиче-412» мой брат возил по воскресеньям сынулю на экскурсию по отовариванию семьи колбасой и сыром. Яиц не брали, так как в километре от Лозы пела и плясала всесоюзная столица курокрадства — поселок Птицеград, чье население процветало подпольной торговлей продукцией градообразующего предприятия. Предприятие это располагалось за вековыми стенами реквизированного монастыря с башнями и арками по периметру. На одной из арок из металлических прутьев была вывязана на церковно-славянский манер вывеска «УБОЙНЫЙ ЦЕХ», а под ней на жестяном листе антисоветский лозунг «Наша цель — коммунизм!».

Сам брат златоглавую не любил, расхристанных ее порядков не признавал — он по натуре был природно-пригородным. Да и хоть учился он когда-то и в престижнейшем физтехе, но тот располагался в поселке городского типа Долгопрудный, что с Савеловского вокзала. И провел-то в нем гениальный Юрий Вениаминович всего две зимы и одно лето, будучи изгнанным на все четыре стороны по уважительной причине: за лохматый хвост по истории КПСС за первый семестр. Нелады с историей книжной у брата полностью компенсировались попаданиями в истории газетные, причем не раз и с благоприятным исходом.

К примеру, обладатель значка «Почетный юннат СССР»

Юраша взялся за организацию насильственной депортации диких зайцев-русаков из муромских лесов в рощи и чащи любимой Лозы, прославившись в этом благородном деле на всю страну. Первая статья в газете «Совраска» называлась «Есть ли управа на браконьеров?». В ней с присущим только данному изданию пафосом рассказывалось, как обвешанный авоськами с полуживыми друзьями деда Мазая старший инженер НИИ «Подшипник» Ю. Глейзер с корнями обрывал форменные пуговицы лесничему, обезоруженному сбежавшими с места преступления сообщниками, и со ссылкой на «Красную книгу» увиливал от ответственности за противозаконный отлов косых. Через два месяца появилась вторая заметка в рубрике «По следам наших выступлений»: «Есть управа на браконьеров!» — в которой радостно и в то же время грустно сообщалось читателям, что преступление и наказание в нашей стране с Достоевских времен неразрывны и злостный зайцелов Глейзер получил полтора года усиленного режима — к сожалению, условно.

Признанного отличника и почетно-грамотного участника сельской самодеятельности по окончании поселковой школы папа, почти как муромского зайца, повез на электричке в Московский университет имени холмогорского провинциала для продолжения столь успешно начатого образования. Очкастый носорог из приемной комиссии отвел гордого предка в место для курения, подозрительно национально просунул указательный палец в петлю чужого пиджака и прошептал на ухо:

— Вали отсюда, убогий, хоть в МАИ, хоть в Бауманку, а в нашу контору евреев не берут.

— А ты что, хобот, сам по паспорту из полена папы Карло, что ли?

— У меня папаша не идиот, как ты, а дважды лауреат Ленпремии. Катись отсюда, деревенщина, не ломай парня.

Брат хоть и был гениальным, но на Ленпремию действительно не тянул, доброхобота не послушал и набрал с сыном семь баллов на первых двух экзаменах — пятерку на математике письменной и двойку — на устной. Команда «Лоза — Маккаби» продула матч по фолам уже во втором периоде. Дав деревенской звезде отчаянный подзатыльник, униженный и оскорбленный папашка в недоумении спросил:

— Ты что, их вопросов испугался?

— Нет, — честно ответил двоечник, — они со мной, папа, на латыни какой-то разговаривали. Я не только вопроса не понял, а ни одного их слова на русский не перевел!

— Ну и суки! — сплюнув в неположенном месте на пол окурок «Беломора», мрачно подвел итоги соревнования

незадачливый тренер и на второй день, чтобы успеть к вступительным экзаменам в провинциальный вуз, отправил горе-баскетболиста в свои собственные родные края — непуганых саратовских антисемитов.

Так моя многодетная низкорослая семья на восемь лет приросла подпотолочным приживалой, пять из которых наследник умственных начал нашей фамилии грыз как семечки базальт науки, что завершилось дипломом с отличием мехмата Саратовского государственного университета имени земляка-демократа.

Видный отовсюду племянник жил, играючи на всех музыкальных инструментах, за исключением, быть может, трембиты, и припеваючи куплеты на модную в те годы мелодию из бразильского кинофильма «Генералы песчаных карьеров»:

Зачем Герасим утопил Муму?

Муму-муму, муму-муму.

Мума, как камешек, пошла ко дну,

к самуму дну, к самуму дну.

Эх, Герасим, давай с тобой заквасим

и, Герасим, агонию зальем!

Квасили мы с Женей довольно часто по-клубному и пабному — в основном жигулевское пиво. Причем на равных — по объему я, маленький и толстый, совпадал с племянником, тощим и большим. Пиво заливалось под черноспинную воблу и беседу о жизни, в которой я разбирался значительно глубже деревенского родственника.

— Жизнь прожить — что минное поле перейти, — развратно глаголил я с пеной у рта, — или, в более мягком случае, сельский тракт после прохождения сытого стада коров. Не надо глазеть по сторонам, зри в корень. «Человек человеку — волк» — художественная гипербола. Под ногами — мелкие и подлые грызуны. Гавкнешь на них разок по-собачьи и осилишь дорогу, идущий. Твоя прямая дорога — математика, царица доказательств. А в нашей стране царица доказательств — чистосердечное признание под пытками. Учи языки и дранг нах вест под гуд бай, Раша! Твоя родня — не я с доброй тетей Светой, пускающие мыльные пузыри из вечной постирушки основ

социализма, а идеологические трутники и поганки, плесневеющие у врат амбассадорств Израиля и США. Там и только там ты должен найти свое настоящее американское счастье — толстожопую еврейскую невесту с овировской печатью на выезд при наличии отсутствия перспективного русскоязычного жениха!

Несмотря на то, что вся Лоза отродясь не любила Америку за ку-клукс-клан и суд Линча, племянник впитывал антисоветскую пропаганду, как губка пиво со стола, но в быту ею пренебрегал. Как каждому простому человеку, ему ежевечерне нравились белокурые русалки, чернобровые хохлушки и луноликие кочевницы, коими во все века славился половольный град Саратов. Взаимная любовь к ближнему преследовала жизнерадостного Гулливера на каждом шагу.

Но пора от сладкого десерта вернуться к кислым щам. Ведь именно их и подают на первое.

Принарядившись как на дискотеку, краснодипломник отправился в родной деканат на «государственное распределение», то есть на реализацию выбора места работы в рамках крепостного права страны победившего феодализма. Идущий по товарному списку как раб первой категории под номером два, отличник научно-педагогической подготовки перебирал в уме аспирантуры и НИИ, веером раскинувшиеся перед манящим взором.

Подозревая ошибочность такого наива, я остался дома на диване, предупредив воспитанника не подписывать путевку в жизнь с бухты-барахты, а, попросившись в туалет, позвонить мне для окончательной апробации.

Звонок не заставил себя ждать.

— Дядька, — чуть не плача, возопил раб СССР. — Меня заставили выбирать между Астраханским рыбзаводом и Читинской обувной фабрикой!

— Гоу хоум! — резко отреагировал я домашней заготовкой.

Заготовка лежала у меня на животе. Это был Уголовный кодекс РСФСР, раскрытый на статье «Преследование на почве национальной и расовой неприязни». Именно с этим высокохудожественным произведением в кармане и съежившимся до лилипута Гуливером на аркане, купив по пути «птицу-тройку» — поллитру водки, городскую булку и сырок «Дружба» за пятнадцать копеек, я и вошел в неказистое здание городской прокуратуры, расположенное на соседней улице.

Оставив жертву произвола в сенях вдыхать отрезвляющий нашатырь кошачьей мочи, я открыл первую попавшуюся дверь, где обнаружил двух скучающих мужиков, на челах которых не

отражалось ничего, кроме похмельного ожидания конца рабочего дня.

— Доцент политеха Глейзер, — представился я. — По делу. По уголовному делу. С бутылкой на случай согласия или отказа.

И я приоткрыл полу пальто, чтобы не показаться голословным. Ребята заметно оживились и вежливо пригласили к письменному столу. Один из них сразу очистил его от груды бумаг, привычно преобразуя стол в обеденный.

— Слушаем вас, — почти официально сказали прокуроры. — Какие проблемы?

Я вынул книгу, раскрыв ее на закладке: Статья такая-то, часть вторая — «Преследование на национальной почве».

— До свидания, — огорчились прокуроры. — В нашей стране она не применяется.

— Не надо печалиться и отступать от буквы. Мы ее и не применим. Мы просто воспользуемся ее печатным существованием путем цитирования по телефону. После чего весело отметим содеянное.

— Не поняли, — честно сказали прокуроры, но умиравшая надежда блеснула в их померкших глазах.

Я кратко изложил состав преступления, вызвав из-под лестницы шмыгающего еврейского длинномера в качестве примера национальной и расовой неприязни.

— Что делать? — одновременно, как два Чернышевских, спросили разночинцы.

— А вот что. Один из вас, хотите — я сам, звонит по телефону мехмата и вызывает профессора Маслова, председателя комиссии по распределению. Представляется подлинным именем и местом работы и просит перезвонить ему по номеру прокуратуры из телефонного справочника, дабы исключить возможность розыгрыша. Уже наложивший в штаны профессор, как и подобает партийному интеллигенту, тут же перезванивает. И слышит: «К нам поступило заявление от гражданина Глейзера Е. Ю. о возбуждении уголовного дела по статье такой-то по признаку состава преступления — преследование на почве. Мы предварительно посчитали доказательством тот факт, что он распределялся вторым, а не двадцать вторым, а выбирать пришлось между Астраханской обувной фабрикой и Читинским рыбзаводом. Не так ли? А если так, то мы выпишем вам повестку по месту службы, Астраханская, восемьдесят три». В процессуальном результате этого звонка, ребята, я уверен.

Вышинский и Руденко так и поступили. Добротная трусливая вонь густо поперла через телефонную трубку непосредственно в прокурорский каземат.

— Это какая-то ошибка! — заверещал аппарат. — Где этот Глейзер? Ах да, у вас. Пусть срочно явится в деканат. Прямо ко мне.

Через полчаса счастливый выпускник ставил на прокурорский стол дуплет — бутылку, булку и сырки. Распределен он был, правда, не в аспирантуру, а на местный вертолетный завод инженер-математиком с окладом сто рублей, а не как задумывалось выше — иногородним ихтиандром с дратвой за те же деньги.

Гордые нужной людям профессией, пьяненькие прокуроры отправились домой. По пути в подворотне мы распили еще один пузырь, но уже на четверых, вместе с ожившим потерпевшим, как равноправные граждане СССР, объединенные математически точным юридическим образованием.

Но это был, дорогой читатель, сказка будет впереди!

Отработав положенную барщину, юный инженер овладел тарабарской специальностью — «Диф-уравнения со стохастической правой частью». Эта бредятина, как оказалось, совершенно необходима не только в вертолетном, но и в реактивно-самолетном деле!

Окончательно убедившись в невозможности разумного существования на сто рублей в месяц плюс квартальная премия тридцать процентов и вконец распропагандированный дядей, агентом международного импрессионизма, племянничек изменил вертолетному заводу-патриоту и ушел в бега — изменять крыльям родины. Толстожопые невесты из очереди в посольство Земли Обетованной произвели на предателя неожиданно мерзкое впечатление, и чистюля бросился на поиск семейного счастья в околонаучные проамериканские круги — отказную семью Аврецких. Невеста, молодой врач, была недурна собой, а теща вообще произвела феерическое впечатление. Это был бронетранспортер в обличий мисс Вселенной, а также доктор медицинских и биологических наук с удостоверением члена-корреспондента Королевского химического общества. Будущая теща Элла занималась практической психиатрией и вполне заслуженно получила отказ на эмиграцию, так как владела страшной государственной тайной. Ее пациент, психбольной Т., благодаря эллинским таблеткам и меднадзору, легко совмещал пожизненное членство в Политбюро с такой же по времени должностью Председателя Совета Министров СССР. И только когда Генеральный секретарь Г. неожиданно перестроил психически больного Т. на физически здорового Р., долгожданное разрешение было получено.

Просидев полгода на чемоданах с палехскими шкатулками

(единственная свободно конвертируемая валюта из СССР) в Вене и Риме, целеустремленные путешественники очутились-таки на земле обетованной — в солнечной Калифорнии!

Профессор Элла, доцент Илья и интерн Хелена, все психиатры и психи одновременно, засели за многолетнюю подготовку к сдаче экзаменов на американских врачей. Зятю пересдавать ничего было не надо, и, любуясь красотами тихоокеанского побережья, он наслаждался свободой в выборе пива. Тренируясь в переходе с московского английского на американский (что далеко не одно и то же), он увлекся чтением бесплатных газетных объявлений. И — чудо: «Требуется на временную работу специалист по дифуравнениям со стохастической правой частью. Адрес и телефон»!

Прямо из района Санта-Моника он прибежал на другой конец города и без каких-либо проволочек попал прямо к Санта-Клаусу. Тот вынул из волшебного мешка любимые уравнения с обожаемой правой частью, которые несколько отличались от вертолетных, так как рождественская контора работала на самолетный гигант «Макдоннелл и Даглас». Тут же подписали контракт: за «решишь» — бабки, за «нет» — гуд бай. Решил. Заплатили много. Дали еще задачу. Решил. Заплатили еще больше. Командировали на фирму-матку. Приняли в штат. Потом в граждане Штатов. Все это в непрерывном режиме. Как когда-то говаривал дядюшка Джо дядюшке Сэму: жить стало лучше, жить стало веселей!

Но тут всесильный «Боинг» сжирает и Макдонелла, и Дагласа. Решалыцика с мозгами и трехмесячным гражданством не сокращают в первую очередь из чувства патриотизма и идиотизма, а наоборот — срочно вызывают к новому начальству и, не отходя от кассы с баксами, предлагают оригинальную должность с немалыми дивидендами.

И поныне гражданин США, полковник ВВС профессор д-р Юджин Глейзер работает «математиком фирмы "Боинг"». Другого «математика» в концерне нет. Да и зачем такие огромные бабки с кем-то еще делить?

Вот такой хэппи-энд вырос из сора прокурорского надзора.

ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

История первая. Крах привратника

22 апреля 1980 года — в честь сто десятого юбилея со дня рождения В. И. Ленина — доктор Кузнецов отрезал мне половину желудка. Предоперационные обстоятельства носили более комический, чем трагический характер. Пару раз я неожиданно для себя и окружающей среды терял сознание и падал оземь, как куль с дерьмом. После чего это сознание возвращалось как ни в чем не бывало, и жизнь продолжалась. Но третий раз — а это было наутро после большого застолья — сей казус имел место в собственном сортире. Отключился я в момент вынимания из пижамы того универсального инструмента, который позволяет настоящему мужчине получать неодновременно два удовольствия. На этот раз я собирался пописать. Грохнулся я так, что, ломая двери, в сортир ворвалась с грудным ребенком на руках жена — в уверенности, что обвалились бетонные потолочные перекрытия. Как она привела меня в чувство, я, конечно, не знаю. Но поразило меня поведение вышенедоописанного органа — без моего хотенья, по щучьему веленью он сам по себе профонтанировал похмельной струей! Такое разделение функций мозга и мочевого пузыря заставило меня обратиться к ученому соседу доктору Боровскому, хотя меня и попугивало явное пренебрежение знаменитого в городе хирурга к терапевтическим методам лечения, и одна из его услуг чуть не кончилась летальным исходом.

В тот раз он лечил мне ангину.

— Вовка, — сказал доктор Боровский, — что ты маешься со своим тонзиллитом? Пойди к нам в клинику и удали гланды. Детишки после такой операции съедают порцию мороженого и бегут домой!

Про детишек Айболит не врал, а что касается взрослых тридцатилетних здоровяков, поведаю.

Субтильная операторша, заглянув мне в пасть, с укоризной сказала:

— Ну, как же, больной, можно доводить миндалины до величины голубиного яйца? Придется применить петлю.

Я из непонимания и вежливости кивнул, и ее применили. Заправив в держалку кусок стальной каленой проволоки, докторша в сделанный скальпелем надрез зацепила первое голубиное яйцо, дернула изо всех сил, проволока вылетела из

держалки и распрямилась, продырявив мне оба нёба. Пока кусачками и плоскогубцами злополучную петлю вынимали изо рта по частям, из меня вылился первый литр крови.

Удалять вторую миндалину мне уже не хотелось, но гиппократша дала клятву, что второй блин не будет комом. Он им и не был и кончился комой, так как история повторилась не фарсом, а трагедией. Было не до мороженого, и с почти полной потерей крови меня на носилках в беспамятстве оттащили в палату. Прямой укол адреналина в сердце и многодневное переливание в меня чужой крови спасли мне жизнь.

Доктор Боровский, однако, слово джентльмена сдержал — ангин у меня больше не было. Сколько я сэкономил на фурацилине, никто не считал.

И вот, не корысти ради, а только волею пославшей мя жены, я попадаю на обследование к этому антитерапевту. Товарищ ученого соседа по хирургической работе доктор Никитин заправил мне через рот метровый шланг с лампочкой, покрутил его вместе с телом испытуемого по часовой стрелке и вынес вердикт: опухоль какого-то «привратника». Немедленно на операцию! Трясущаяся от страха жена, не без участия с намеком поднятых домиком густых бровей ученого благодетеля, вскричала: «Допился — рак!» — о чем оповестила лучшую подругу, а с ней — весь город.

Жители этого города привыкли любить меня при жизни и стали стайками по два-три человека приходить со мной прощаться по старинному русскому обычаю — с бутылкой. От умиления и без уныния я никому не отказывал. Через две поминальных недели я спиртом спалил все кишки и десять дней проходил курс противопожарной терапии. Состояла она в том, что в вену мне вливали полведра кипятку, а в попу засаживали лошадиный шприц витамина В-12. По большому кругу кровообращения дикая боль из вены мчалась навстречу дикой боли из задницы до полного взаимопоглощения в районе живота. После курса такой суперинтенсивной терапии я на всю жизнь перестал бояться боли и мог идти на любую операцию практически без наркоза.

По протекции непререкаемого городского авторитета доктора Боровского меня поместили в блатную палату на два койкоместа «Для ветеранов ВОВ». Аббревиатура означала — Великой Отечественной войны. В свои тридцать шесть на участника даже непобедоносной войны в Корее я не тянул, поэтому сразу подписал в табличку союз «и». Получилось честнее — «Для ветеранов и Вов». Однако на второй койке возлежал тоже не защитник Родины, а старый нападающий нашей литрбольной

команды психиатр Вольвич, которого звали вовсе не Вова, а Коля. Доктор Коля специализировался в родном психдиспансере на лечении алкоголизма, о котором знал всё, так как им и страдал почти с детства. В данный момент ветеран любимого порока допился до язвы желудка и ожидал дальнейшей участи, глотая за койкодень, параллельно со спасительными таблетками, пять бутылок магазинного плодово-ягодного пойла в режиме самосозерцания. Меня, стойкого водочника, соблазнять таким суррогатом было бесполезно.

В стране победившего подхалимажа отношение к блатным устойчиво находилось на самом высоком уровне, поэтому нам обоим было хорошо — и сестры, и нянечки, и сами врачи, лучезарно улыбаясь, прекрасно выполняли свою работу, что впоследствии сыграло со мной злую шутку.

День, предшествующий операции, удался на славу. По результатам двух «пулек», сыгранных в ординаторской с травматологом доктором Арановичем и хирургом-дежурантом доктором Иммаевым, я выиграл семьдесят четыре рубля, из которых девятнадцать мне отдал хирург, а пятьдесят пять остался должен травматолог. В десять часов вечера, сразу по окончании преферансного матча, я явился в палату, где пьяно невменяемый психиатр, размахивая руками, кричал, что он просто не смог выговорить фамилию! И поэтому ему вместо меня вежливая, но настойчивая сестра сделала премедикацию, от которой он может заснуть и не проснуться, так как алкоголь и введенные ему в musculis gluteus препараты несовместимы. Через минуту подопытный действительно крепко заснул, сладко чмокая, как грудной младенец, что убедило меня в безопасности произведенного эксперимента, а через десять минут отошел в объятия Морфея и я.

Когда та же сестра рано утром попыталась сделать Лжеглейзеру очистительную клизму, выяснилось, что препараты и плодово-ягодное пойло вполне совместимы. По-видимому, за отсутствием в этом vini даже признаков spiritusa. Расстроенная столь грубой ошибкой сестра, во-первых, объяснила мне, что премедикация — это введение больному всяческих снотворных и успокоительных средств, чтобы он не дергался перед операцией, а во-вторых, узнав, что я проспал крепким сном всю ночь, впендюрила мне куда положено две кружки Эсмарха теплой воды, очистив операционное поле до бессорнякового состояния. Через некоторое время подъехала высокая скрипучая телега, меня раздели донага, прикрыли простынкой и отвезли на экзекуцию. Там надо мной поколдовали анестезиологи, я отключился и пришел в себя только в реанимации.

По отсутствию радости на лице навестившего меня первым доктора Арановича я понял, что операция прошла успешно и ему придется отдавать мне джентльменский карточный долг.

Доктор Кузнецов на самом деле был отличным хирургом, но вместе с тем принципиальным теоретиком. Когда на глазах расстроенного доктора Арановича я капризно потребовал закурить в реанимационной палате, доктор Кузнецов передал мне тотчас пачку «Ту-134» со словами:

— Отличный механизм для восстановления дыхательных функций!

Три дня с мешком песка на свежезаштопанном животе и трубками, торчащими из всех дыр, я кадил табачным дымом в стерильной палате, ужасая своим и доктора Кузнецова поведением сменяющих друг друга накрахмаленных медсестер.

На девятый день после моих несостоявшихся похорон доктор Кузнецов вызвал меня в свой кабинет.

— А не хотите-ка спиртику выпить, уважаемый? — неожиданно предложил он.

Отказываться было неловко, но я все эти дни как бы ничего и не ел. Спирт на голодный желудок не был моей привычкой.

— Без закуски не буду, окосею, — честно предупредил я.

— Что вы, что вы, — всполошился змей-искуситель в белохалатной коже. — Вот ломтик московской полукопченой по четыре девяносто. Дефицит. Пососете с удовольствием. Только не глотайте, вам еще некуда!

Выпили медицинского чистогона граммов по пятьдесят. Корчмарь заел, я отсосал. Повторили. Я, выполняя обещание, начал валиться на бок.

— Отлично! Значит, заработала перистальтика! — вскричал новатор реабилитации и отволок меня к доктору Вольвичу по совпадающему с ним интересу.

На следующий, праздничный день — в честь Дня международной солидарности 1 мая — я проснулся здоровым человеком.

Не буду скрывать, что до своей окончательной выписки — в честь Дня Победы 9 мая — я неоднократно проверял с доктором Кузнецовым мою перистальтику и с нескрываемым удовольствием слушал простые сентенции:

— Никогда не надо отказываться от привычек, даже если в миру они считаются вредными. Настоящий вред здоровью приносит резкий отказ от предыдущей жизни. Она, жизнь, дается человеку единожды, а начинать ее заново — первый признак глупости, — мешал он в кучу крылатые слова Павки Корчагина и маркиза де Ларошфуко. После чего выписал меня на дробное

шестиразовое питание с официальной рекомендацией — пить перед едой спирт или водку.

Через полтора месяца — в честь дня открытия Московской Олимпиады-80, злонамеренно усеченной международными пацифистами по случаю победоносной афганской войны — я поехал с друзьями, женами, детьми и собаками в длительное автомобильное путешествие на Кольский полуостров. Жена, испугавшись предстоящих тягот шестиразового питания консервированной тушенкой, побежала на консультацию к доктору Кузнецову.

— Отличное противоспаечное мероприятие! — не изменил теории практический хирург.

История вторая. Советская — значит, отличная!

Однажды в студеную зимнюю пору…

Да ничего поэтического в том, что, поскользнувшись на крошечной льдинке, я сломал себе ногу, на самом деле не было! Просто лет десять назад в то же время и на том же месте, в тех же «Волжских далях», оздоровительном пансионате под Саратовом, я сломал руку. И эпизод тот больше имел отношение к ученым-физикам, чем к ученым-медикам. Но под небесами все взаимоувязано.

Мы, группа членов оргкомитета «Диминой школы по электронике», полностью подготовившись к ее завтрашнему открытию, уже было перешли к открытию алкотары, когда я, оступившись на этой неотмерзающей миргородской луже, неловко приземлился на левую руку. Будучи от роду человеком немногословным, я не заорал, а только чертыхнулся. Ассистент кафедры электроники Фишер, оглядев конечность, поставил диагноз: подвернул — и назначил лечение: дернуть! Уверенность в своей правоте ассистент Фишер подкрепил убедительной ссылкой на свое нерабоче-крестьянское происхождение: оба его родителя были профессорами медицины.

— Я и сам бы стал династийным врачом, если бы в детстве слушал папу и маму, — сожалел ассистент Фишер. — Но так как с детсада я такой же балбес, как и вы, десять лет голодаю в физиках.

Другой балбес и физик, бывший моряк и будущий личный резчик икон местного владыки Пимена (в миру — доктора искусствоведения Дмитрия Евгеньевича Хмелевского), ассистент Полотнягин цепко захватил мой локоть, потенциальный наследник бывших врачей-вредителей от души дернул, и

конечность повисла как плеть.

На следующее утро, еще находясь под пиво-водочной анестезией, я приехал в травмпункт. Вместо ладони из-под двух ящичных дощечек, перетянутых бечевкой, выпирал во все стороны сверкающий синевой мешок с ногтями. Разглядывая мокрый рентгеновский снимок, дежуривший врач только и сказал:

— Такого продольного смещения в переломе запястья я еще не видел. У вас, больной, очень крепкая кожа — если бы не она, ваши друзья-алкаши ручонку бы вам на хер оторвали!

Так вот: именно на этой злобнопамятной луже я и сломал ногу. Слева меня подхватил под руку новый друг — доцент Левин, а под правую — друг старый, уже старший преподаватель Фишер. Ах, как много мы прощаем в жизни старым друзьям!

— Кажется, я ногу сломал, — поделился я с товарищами своими несложными наблюдениями.

— Легко проверяется, — сказал прервавший медицинскую династию потомок, — ты на нее наступи: будет больно — перелом, терпимо — вывих.

Я безо всякой страховки пошел на физиологический эксперимент. И тут же от болевого шока грохнулся лицом на пористый грязный асфальт. В результате моя физиономия, как в фильме ужасов, покрылась кроваво-земляной коростой. Не поддержавшие в беде падшего товарища коллеги Левин и Фишер, укладывая меня — обратите внимание! — абсолютного трезвого, в попутную машину, оправдывались:

— А мы решили, что у тебя на ботинке шнурок развязался!

Доставили меня в Первую Советскую больницу уже после окончания рабочего дня. В приемном отделении больше осматривали не причину — сломанную ногу, а следствие — то, что осталось от лица, взяв подряд две пробы на содержание во мне алкоголя и наркотиков. Две — потому, что в первую, отрицательную, поверить было невозможно.

Два веселых доктора-дежуранта, с которыми все было ясно и без пробы, загипсовали мне конечность аж до мужских достоинств, грубо отвечая на мое остроумное замечание про яйца в скорлупе:

— Молчи, пьянь, а то и елду загипсуем!

Переведя все мое состояние в недвижимость, меня сбросили, как бревно на лесоповале, на грязную койку общей палаты.

Вполне ожиданно появилась жена. Взглянув на свитое докторами между моих ног гнездо с перепелиными яйцами в крапинку, она тихо заплакала. Бывший орел и красавец-мужчина жалко и жалостливо просил то, что она не забыла, — водочки. Лекарств — ни снотворных, ни успокоительных — в отличие от

блатной палаты незабвенного доктора Кузнецова, в Первой Советской отродясь не водилось. Но протежерство было и здесь!

Наутро птицей-счастьем солнечного дня в палату влетела родная мама моего собрата по путешествиям и пьянкам Вити Хасина доктор Львовская — чистейшей души человек. Она же — завотделением грязной гинекологии и секретарь первосоветской парторганизации.

Взглянув на меня, она, не поздоровавшись, стала орать пятиэтажным матом, отчего остальные увечные сопалатники вжались в свои красно-бурые матрасы без простынок, решив, что нагрянул министерский обход.

Густая матерщина еще эхом гуляла по сводчатым коридорам, когда птица-секретарь, как ядовитого червяка, вбросила в палату малюсенького человечка со слоновьими ушами, гигантской бабочкой торчащими из-под полуметрового накрахмаленного колпака.

— Тебе писсец, Иосиф! — визжала грязный гинеколог. — Это университетский доцент, а не уличная пьянь! Здесь, клянусь парткомом, он будет пить, курить, жрать и срать по первому желанию и под моим личным контролем. Так и будет, Володенька, помяни мое слово!

Это не в контекст нежное воркование относилось уже ко мне.

Столь достойная речь бывшего боевого капитана медицинской службы и нынешнего мирного больничного политрука глубоко запала в душу убогих калик, но не задела проказника Иосифа. Он убежденно не верил в красоту и силу партийного матерного слова в нищем пристанище бесплатной медпомощи. Однако простынки нам все же принесли.

В шестиместной палате нас было четверо. Как шутил старейшина обители с цирковой фамилией Бенгальский:

— Двое уже умерли.

Больной Кукушкин был только ходячим. Обе сломанные в разных местах руки были прочно приделаны к проволочному кресту, и если бы немыто-небрито-нечесаный крестоносец молчал, он напоминал бы Спасителя. Но то, что оратор Кукушкин нес в массы про врачей и их близких родственников, не вписывалось даже в устно-рукописный словарь великорусской ненормативной лексики. Причиной столь редкой по виду травмы было падение пьяного монтажника со строительных лесов с высоты третьего этажа с мягким приземлением на обе руки.

— Если бы был трезвым, — рассуждал в сослагательном наклонении грубиян Кукушкин, — обязательно ноги бы в жопу вогнал!

— Пойдем поссым, сестричка, — тряся недостижимыми

мужскими достоинствами, просился в туалет распятый Кукушкин.

— Что, мужиков, что ли, нет, охальник? — слабо сопротивлялась уже немолодая нянечка, но с Кукушкиным шла, и выходил, маша крылами, извращенец из сортира с доброй довольной улыбкой и аккуратно подтянутой к пупу пижаме.

Старикан же Бенгальский был нашим человеком в Гаване — однорукий и двуногий, он был легок на подъем и знал расположение и часы работы всех близлежащих шинков. На воле Бенгальский был квартирным маклером. И даже в палате пытался поссорить меня с женой. Дабы разменять нашу трехкомнатную квартиру в центре города на однокомнатную и угол в коммуналке с доплатой. Сломал руку в двух местах Бенгальский в погоне за клиентом, так же как и я, поскользнувшись на тонком льду.

Четвертый больной в общественной жизни лепрозория не участвовал. Закованный в гипс с головы до пят, он был связан с внешним миром лишь двумя отверстиями: дыркой в районе рта и дыркой между ног. Надеюсь, все понимают их сантехническое назначение. Это был Герой Советского Союза майор Ватрушкин, попавший в ДТП — грузовик сначала его сбил, а потом переехал. Круглосуточно он стонал, так как колоть лекарства в гипс было бессмысленно, а от оральных порошков легче не становилось. Из глубины оков доносилось лишь одно слово: «Фашисты!» Относилось оно к трогательным фронтовым воспоминаниям или к паскудной действительсти, мы так и не узнали.

Первый обход доктора Иосифа Горфинкеля напомнил мне не случайную встречу с профессором усей Гольдштейном в зале для иностранцев столичного ресторана «Националь». Бывший советский скрипач-вундеркинд после долгой эмиграции зачем-то приехал в СССР. Узнав об этом от московских родственников, вдова великана Гренадера предложила мне, брату своего зятя, как самому бойкому родственнику, встретиться с Бусей, ее родственником по довоенной жизни, по деликатному, я бы даже сказал, полукриминальному делу. Суть его заключалась в том, что вдовин свекор Менахем Срульевич, пролежав парализованным в кровати сорок лет, царство ему небесное, почил в бозе, оставив после себя прогнивший матрас с тайно зашитыми еще в нашу Гражданскую войну североамериканскими долларами. Эти деньги, конечно, не пахли, но сильно подгнили. И те купюры, на которых сохранились номера, молили о замене. И хоть доллар стоил тогда по официальному курсу шестьдесят копеек, его можно было легко обменять не на кошелек, а на жизнь, что с треском и блеском доказало пятнадцать лет назад поставившее на уши всю страну расстрельное «дело валютчика Яна Рокотова».

С кучкой пожухлых американских купюр в пришитом к трусам кармане я и встретился с пожилым скрипачом. В деловой части он мне отказал с первой минуты, а поболтать о полузабытых советских родственниках пригласил за свой счет. Русская кухня, по которой соскучился эмигрант, была великолепной, и могучий старик через метрдотеля позвал шеф-повара для выражения мастеру личной благодарности. Шеф явился не один, а с целой бригадой накрахмаленных белоснежных поварих и поварят. Богатый гость не очень сильно, по моему мнению, но зачаевал каждого колпаконосителя.

Трухлявые восемьсот долларов я на следующее утро по взаимовыгодному курсу три рубля пятьдесят копеек за бакс обменял на одной из квартир моего друга, фарцовщика Борхеса, где остановился переночевать. Две тысячи я взял себе как плату за страх, а остальные по официальному курсу (за минусом командировочных) передал счастливой вдове-валютчице как лично полученные от музыканта. Для убедительности случившегося я пересказал ей услышанный за столом в «Национале» анекдот о бывшем вундеркинде Бусе. Мальчика, награжденного самим товарищем Сталиным автомашиной ЗИС-110, по всему миру на поездах и самолетах возил менеджер-энкавэдэшник. А на подаренной дитю автомашине чекист зарабатывал немалые бабки на родине, встречаясь в клубах культуры с неискушенными отечественными зрителями. Переодетый сотрудник органов показывал глянцевые фотографии 18х24 со сцены и говорил: «Вот я и Буся в Лондоне, вот я и Буся в Париже» и т. д. И якобы один зритель из зала встал и возмущенно закричал:

— А что еще, кроме блядства, такому справному мужику за границей делать. Но где же Буся?

Доктор Горфинкель вплыл в палату точно в таком же ресторанном сопровождении: две длинноногих ассистентки, строгая старшая сестра и стайка поварят, тьфу, докторят-студентов. Все белоснежные и накрахмаленные, что на фоне облезлых стен, ржавых шконок и жалких пациентов выглядело довольно вызывающе. Кратко описав по тетрадке Бенгальского, Кукушкина и Ватрушкина, доктор подошел к новичку.

— Классический перелом лодыжки правой ноги. Рекомендована операция, — важно произнес колпаконосный гуру. — Жалобы у больного есть? — обратился он ко мне в третьем лице.

— А где расположена эта лодыжка и существует какая-либо имманентная или семантическая связь ее с яйцебедренным суставом? Мне кажется, профессор (пошутил я), что ваши

дежуранты переборщили с больничными запасами гипса и марли, и бревно, натирающее мне детородные органы, следует укоротить до полена.

Студенты обмерли от бурного потока интеллигентных терминов, извергающихся из абсолютно помойной рожи. Но доктор Горфинкель был непреклонен в своих кровожадных планах. Думаю, что это была еще и месть политруку Львовской за простынки.

— Принесите медицинскую ножовку, Марьиванна, — обратился он к нарочито чопорной сестре. — В нашей клинике, больной, нет средств на дополнительные услуги слесаря. Поэтому, если желаете, можете выше колена срезать гипс самостоятельно. Слава Богу, рук вы себе, как больной Кукушкин, не переломали.

Я спокойно дождался специнструмента, вынул из-под гипса заначенную пятерку, протянул ее шутнику и сказал:

— Именем партийной организации Первой Советской больницы, ты либо за пять рублей отыщешь слесаря или плотника, либо отпилишь мне полено до колена сам.

— Вот, товарищи студенты, какой нынче больной пошел! — попробовал сыграть на публику доктор Горфинкель и начал нежно проталкивать стайку к двери.

Чутье у провокатора было отменное. Но ножовку, ножовку-то он у меня не взял! Это у пролетариата оружие — булыжник, а у психопата — все остальное!

— Ложись, лепилы! — Вспомнив подходящий синоним слова «медработник» из глосссария доктора Львовской и изображая припадочного, заорал я и запустил бумерангом сверкающее зубастое полотно в бреющий полет над гнездом Кукушкина.

Белые по-пластунски ретировались под натиском психической атаки краснорожего.

Я понял, что нахожусь далеко не в безоблачном медраю доктора Кузнецова и за жизнь следует бороться ежеминутно. Вечером при помощи шныря Бенгальского мы втроем (без Ватрушкина) надрались на чудом сэкономленную пятерку.

Утром пришел пьяненький слесарь-сантехник и без лишних слов аккуратно отпилил мне ножовкой по металлу лишний гипс. Испанский сапог превратился в модельный. Я умиротворенно почесал крапчатые яйца. До самого вечера на Западном фронте было без перемен.

Доктор Горфинкель пошел в мединститут с твердым убеждением, что познания, вынесенные им из кружка «Умелые руки» городского Дворца пионеров, замешанные на неистребимой страсти к изобретательству трехколесных велосипедов, не могут

не стать новым словом и делом в отечественной медицине. Поэтому старинных органолептических способов вправления костей он не признавал, считая, что если что-то сломалось, ЭТО нужно разобрать, отмочить в керосине и собрать заново по соответствующему чертежу. В случае с моей лодыжкой — по картинке в анатомическом атласе. Новодел туго обтягивают кожей, стягивают болтами и хомутами, и будь здоров, Иван Петров!

Я бился с адептом медицинской инженерии отчаянно, пока не использовал четкую формулу доктора Львовской:

— Если ты уложишь меня под себя на операционный стол, тебе писец, Иосиф!

На другой день тихо пришел неизвестный доктор Стариков, закатил глазки к потолку и за пять минут нежными пальчиками поставил все отвалившиеся кусочки внутри лодыжки на место без предварительного вскрытия.

Это надо было отметить! Но как всегда бывает в пьющей компании — не на что.

Мрачный Кукушкин, если бы его не уберег похожий на него Господь-Сын, обломив двойнику вовремя руки, давно бы сидел в тюрьме за вскрытие сейфов. Хотя и в данном эпизоде ему грозила ходка «за паровоза».

— В запертой на амбарный замок тумбочке в углу, — пробурчал орел-стервятник, — сестра-хозяйка прячет краденый спирт.

В три руки мы с Бенгальским отодвинули тяжелую тумбочку, перочинным ножичком отвернули шурупы задней стенки и стали обладателями двух флаконов чистейшего медицинского спирта общей емкостью четыреста граммов. Так я стал «медвежатником».

Напоенный и накормленный с рук «паровоз» Кукушкин уже мирно посапывал, когда остальные члены преступной группы, войдя в раж, ухайдакали остатки, спели майору Ватрушкину боевую колыбельную песню «Темная ночь» и улеглись почивать и скандал ожидать.

Однако заслуженного наказания мерзкое преступление не повлекло. Старшая сестра-хозяйка, понимая прекрасно, что взлом совершили местные полтора вора, приговор вынесла совершенно неповинным жертвам переломов и увечий:

— Пока не соберу добро заново, всему отделению жопы перед уколом ржавой водопроводной водой протирать будут!

Так что вышел я вскорости на свободу с нечистой совестью, но на многие годы вперед лучшим другом доктора Горфинкеля, профессионально победить которого было совершенно невозможно, а общаться вне медицины — вполне, и не без

удовольствия. Настоящая мужская дружба, закаленная в боях!

История третья. Чапаевцы и пустота

Руки я ломал, как истеричка, раз пять или шесть: поскользнувшись в новой обувке на паркете в страстном танго с прекрасной дамой, бухнувшись в полнейшей темноте в выгребную яму на своей же даче, не удержав домкрат под падающим на бок автомобилем и т. д., и т. п. А оставшуюся ногу я смертельно ранил в бою.

Мы культурно выпивали с единомышленниками в кооперативном подземном гараже своего дома, когда туда зачем-то спустился наш сосед с третьего этажа литовец Альфред. Он был не один, а с возбужденным винно-водочными парами абреком северокавказской наружности.

Повод для ссоры был крайне убедительным: мы под аккомпанемент барабанного боя на перевернутом ведре в исполнении первой скрипки филармонического оркестра маэстро Кузьмина (тогда еще не народного артиста, а простого «засраку» — заслуженного работника культуры) на два голоса с тогда еще не ректором консерватории, а рядовым профессором по классу фортепьяно маэстро Шугомом орали на весь двор чудесные русские куплеты из «Саратовских страданий»:

Из-за леса выезжает

конная милиция.

Задирайте, девки, юбки,

будет репетиция!

Литовец же с эльбрусцем за полбутылки в грубой и неприемлемой форме заказывали «Сулико» на четыре голоса. Сначала мы вежливо указали, что это частный, хотя и кооперативный гараж, а не ресторан «Арагви», потом намекнули на высокие концертные ставки исполнителей. Но все оказалось бессмысленным. Резкое различие в музыкальных вкусах привело сначала к недружественной перепалке, а потом и к драке. Музыканты отбивались ногами: берегли гонорарообразующие конечности.

Из солидарности я тоже провел носком ботинка прием бесконтактного каратэ по яйцам лица горской национальности.

Прием оказался бесконтактным не по определению, а потому, что я просто промазал. Силой инерции я проделал сальто-мортале и угодил ногой в сливную решетку посреди разворотной площадки гаража. Решетка выдержала, толчковая нога — нет.

Так как по правилам подворотнего кулачного боя схватка продолжалась до первого увечья, оскорбленные действием пришельцы практически целыми покинули ристалище. Но еще долго из окна третьего этажа доносились отчаянные вопли абрека:

— Наших обычаев хромой гяур не знает: эльбрусца по паху ударить, что папаху отнять! Завтра кунаки, как снег, с Алтын-горы сойдут, разберутся!

Профессионально гуманные музыканты, с риском для своих прав, на одном из личных «жигулей» доставили поврежденного друга все в ту же Первую Советскую. Памятуя о прошлом, я сразу начал орать, что хочу грязного гинеколога и ветерана ВОВ Львовскую. Но то ли я сильно выпил, то ли сильно вопил, а может, не приведи Господь, меня посчитали насильником-геронтофилом, гаражная песенка оказалась прогнозной — не конную, но пешую милицию в приемный покой медработяги таки вызвали. Пришлось огородами срочно ретироваться. А была бы милиция конной, мы на пяти ногах не ускакали бы.

Обложив распухшую конечность подушками, жена вызвала наутро домашнего травматолога доктора Арановича с походным саквояжем. Через полчаса я был в привычном гипсе, как в доме отдыха. Влажная повязка еще парила, когда раздался звонок в дверь и не предупрежденная жена запустила в квартиру двух наемных кунаков, в соответствии с наскальным сценарием пришедших мстить за бесконтактно поруганную честь земляка. Потея от испуга вместе с гипсом, я начал нагло лгать, утверждая, что мстители опоздали, что до них уже приходили более мобильные киллеры и переломали мне ноги. Солидный доктор Аранович поклялся Гиппократом-оглы и подтвердил навранное, после чего простодушные дети гор вежливо удалились задами к двери.

Закованный в гипс и прикованный костылями к круглосуточной любви и заботе, я пьянствовал, капризничал, скучал, ссорился с женой, не находил себе дела, своих романов еще не писал, а чужие уже вызывали стойкое отвращение. В общем, я понял, чем казематы Первой Советской превосходят домашний уют. Правы старые эльбрусцы: горные орлы в неволе не размножаются. И однажды, неумело растопырив костыли-крылья, я грохнулся спиной во весь рост и, к счастью домочадцев, угомонился.

Залег я капитально — водку и пиво депрессивно забросил, перешел на минеральную воду и пил, пил, пил ее ящиками. Речь моя затруднилась, глаза разбежались, а ученый сосед Боровский изменил родине и скрылся во всем известном направлении, не оставив своего американского адреса. Так что на привычное избавление от недуга вскрытием я ставку делать не мог. Поэтому призвали, конечно, хирурга, но с психическим уклоном — нейрохирурга!

Доктор Файн, не выйдя с мычащим инвалидом на языковой контакт, обстучал меня, где попало, молотком, погонял перед глазами блестящий стальной шарик, обещанный гонорар не взял, сказав, что это не его случай, и предположил, что я крепко нахожусь в диабетической коме.

Доктор Кредер и доктор Анищенко, историк и физик, настоящие друзья, а не какие-то там врачи, на носилках из костылей отволокли убогого в девятую горбольницу, где я после введения стократной дозы свиного инсулина быстро сменил тупое мычание на веселое хрюканье. Глазки тоже начали сходиться.

Нравы не менялись, но времена — да! Мои товарищи по бизнесу, в который я ушел окончательно, бесповоротно покончив с утопиями Песталоцци, просто купили мне у главврача на одного двухместный номер-палату с сортиром и разрешением курить и принимать гостей. Все они, тогда еще живые и дружные, навещали меня постоянно, таскали новую русскую экзотическую еду, подсовывали под подушку невиданные доселе водки, смеялись, дымили и галдели. Мне было хорошо, я шел на поправку.

Молодые, красивые, белые докторши Катя, Таня, Ира и их начальница доктор Солун, красавица из предыдущего поколения, убеждали меня вместе и по отдельности, что диабет — это не болезнь, а образ жизни. Так и называлась американская переводная книжка, ксерокопию которой мне подсунули красивые докторши. Книга была глупой и нудной и описывала в подробностях размеренную жизнь простого американского идиота-диабетика, образ которой заключался в ежесекундном подсчете сахара путем изучения своей мочи под микроскопом, подсчета калорий (от переизбытка которых он должен был отказываться путем сравнения взвешиванием принимаемой пищи и говна, ею образуемого). И колоть, и колоть инсулин, величайшее изобретение двадцатого века, спасшее человечество.

Я только было собрался выбросить глупую книжонку, как обратил внимание на отсутствие в ней нескольких страниц подряд. Книга была усечена в том самом месте, где как раз

рассказывалось о спасении человечества. Что если бы не нобелевские лауреаты-изобретатели, все диабетики уже давно бы умерли, но… В этом месте повествование разрывалось. От нечего делать я задумался. Диабетом неспасенное человечество болело со времен неандертальцев. Так почему оно не дало дуба с баобабом миллион лет назад? Чем оно лечилось до инсулиновых мессий? Ответа в книге не было, и он в книге был! И какой! Доктор Катя после настойчивого глазкостроительства с моей стороны принесла с риском для карьеры выдранные листы. Умирали добропорядочные люди, а выживали… алкоголики!!!

Водка — вот чем обрело спасение не просвещенное лауреатами человечество!

Но в советской медицине она числилась ядом и стоила существенно дешевле дефицитного инсулина. Факт этот скрывался от состоятельных пациентов, так как докторши уже были аффилированы с западными инсулинопроизводящими фирмами и дилерствовали напропалую.

Так я узнал, какой образ жизни у диабетика, и болезнь мне понравилась. С тех пор я колю инсулин только из глубокого уважения к Нобелевскому комитету, а лечусь от сахарного диабета старинным проверенным способом: пьянством.

Подвергшись за долгое время приятного безделья в дамском заповеднике необходимым стандартным обследованиям, я оказался носителем еще двух анатомических излишеств, требующих оперативного выковыривания. Без доктора Боровского пришлось проделать это в чужом городе Москве с расчетом на кошелек, а не на знакомства. Москва не верила слезам, но цветущим зеленью банкнотам доверяла.

Рекламная пауза: ни Первая Советская с мрачными проплесневелыми казематами, ни девятая горбольница с прекрасными гейшами, ни даже сауны г. Саратова с интимным массажем ни в какое сравнение со столичным платным медицинским обслуживанием не шли. За баксы в столице были готовы пересадить все твои органы в новую кожу, сменив пол, национальность и художественный вкус!

Несколько лет назад, в туманно-альбионный декабрьский день (на улице плюс девять, в доме вовсю шпарит отопление) мы сидели на кухне питерской квартиры и квасили с хозяином — другом с пятидесятилетним стажем, бородатым и смешливым художником Сенечкой Белым. Жена художника Заяц беззлобно заливала постным маслом очередную порцию овощного салата. Зимняя жара уже раздела обоих пьянчуг до пояса, и в ожидании закуски мы любовались потными и немолодыми телами друг друга. Похабных, в хорошем смысле этого слова, чувств они не

вызывали.

— Вовка, — задумчиво произнес ваятель, тыча перстом в мой некогда могучий торс, — тебя что, земляки-чапаевцы порубали?

Я аккуратно, чтобы напарника не начало тошнить вареной картошкой с помидорами, описал происхождение каждого из многочисленных шрамов, избороздивших натурщика. Бутылки на анамнез хватило.

Но тут совершенно случайно в дом ввалился Питер, сын художника и сам художник, только не местный, а лондонский. Английский верзила, сияя свежим питерским фонарем под глазом, забежал к фазер-мазер попрощаться после ночной попойки перед творческим путешествием из Лондона через Петербург в Москву и Тбилиси.

— Петя, — умиленный богемным видом веселого чилда, спросил фазер. — Ты узнаешь дядю Вову?

— Ноу, — на чистом языке своей новой родины сказал гуляка. — А что?

— Как же, как же, — запричитал Сенечка, — это же знаменитый дядя Вова Глейзер из Саратова!

Я начал, как индюк, раздувать сопли, рассчитывая на международную рекламу.

— А чем он знаменит, папа? — поинтересовался шестифутовый крошка-сын.

— Как чем? — обнимая мое потное зашрамленное тело, поразился отец Белому-эмигранту, окончательно потерявшему связь с родиной. — У дяди Вовы, Петя, внутри — НИЧЕГО НЕТ!

СКРИЖАЛЬ

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, вне всякого сомнения, кандидат в депутаты Книги рекордов Гиннесса. Он помнит наизусть тысячу пятьсот песен со словами, три тысячи анекдотов и пять тысяч случаев из собственной жизни. В этом я убедился на праздновании юбилея народного артиста РСФСР Льва Горелика (саратовского Райкина, согласно провинциальным рецензиям недалекого прошлого), старого друга Иосифа и нового — моего. Причем такого, что именинник счел нужным ввести меня в ближний круг.

Круг этот состоял из вездесущего во языцех саратовского губернатора Аяцкова и равного ему по влиянию думского певца-патриота. Политические тяжеловесы вполне демократично приняли в объятия неожиданного собутыльника и бодро распили с ним разного спиртного под десяток тостов в честь юбиляра. Кобзон был душкой и побеждал в тестировании. Когда отношения приблизились к теплым, я перешел в атаку.

— Иосиф Давидович! — обратился я к новому другу. — А как насчет автографа?

— О чем речь, Владимир Вениаминович, давайте ручку.

Я тотчас вынул из кармана огромный фломастер, носимый мной для подобающих случаев, и, расстегнув пиджак, выпятил живот.

— Вот здесь, на рубашке, пожалуйста!

Для Кобзона сие предложение выпадало из запрограммированных пяти тысяч случаев из собственной жизни, и он неожиданно для себя растерялся.

— Не буду! — решительно сказал он.

— Почему? На моей рубашке, не на вашей.

— Не буду! Рубашку жалко, — нашел он аргумент.

— Да не беспокойтесь, Иосиф Давидович, я специально самую говенную надел!

— Охрана! Ко мне! — вмиг закончил спор певец под довольное чмоканье губернатора и сердечный приступ юбиляра.

Но вы не знаете великого Кобзона! (См. нач. повествования.) Как не знал и я.

Прошла пара лет. Я как деревенский деятель культуры по линии городской еврейской автономии был кооптирован делегатом на Российский еврейский конгресс. Иначе его называли просто: Конгресс Гусинского. Как монопольные «Чай Высоцкого» и «Сахар Бродского» до революции. В честь основателей и содержателей этих влиятельных организаций.

Приехал туда я вдвоем со старым другом по другой линии — азартным картежником и прожигателем состояний Мишелем Эпштейном. Выдающимся человеком несколько иных орбит постоянного вращения. Он дико озирался по сторонам и охал:

— Смотри-ка! Хазанов! О! Юлий Гусман, кавээнщик! А Юрий Щекочихин тоже еврей?

— Даже дворник Еремей потихонечку еврей! Евреи, евреи, кругом одни евреи, — пропел я на ухо другу частушку.

Вдруг балетным шагом с профессионально застывшей улыбкой на лице к нам подходит Кобзон и неожиданно для нас обоих говорит:

— Здравствуйте, Владимир Вениаминович! Очень рад вас видеть. А ведь я был неправ тогда, у Горелика. Как-то растерялся. Спасибо за шутку и урок. Есть возможность исправиться. Послезавтра свадьба моей дочери Натальи. Приходите с вашим другом. Вот вам кипы.

Вручает две белоснежные ритуальные шапочки вместе с текстом приглашения, жмет нам руки, откланивается и семенит дальше.

— Володичка! Ты что, Кобзона знаешь?

— Конечно, Мишель, я с ним знаешь, сколько водки выпил? — поддерживаю неожиданно возникший авторитет, не уточняя количества выпитого. — Теперь я пять тыщ первый случай из его жизни!

Мишель только пожал плечами.

Открытие мероприятия затягивалось. На глазах переполненного зала из президиума конгресса по-английски исчез главевреи Гусинский — явно встречать некую сверхзначительную персону. Мы с ополоумевшим Мишелем вышли из зала в фойе покурить. А может быть, и выпить. Этого добра в московском «Президент-отеле» хватало. Стоим в размышлении. Вдруг появляется стайка джентльменообразных. В центре депутации похохатывает в обнимку с медиамагнатом сам Черномырдин Виктор Степанович — премьер-министр и, как выясняется, жидомасон. Ну, думаю, Эпштейн, настал мой час!

— Замри, Мишель! — сквозь зубы шепчу земеле. — Сейчас нам обоим будет хорошо!

И походкой пеликана отчаливаю навстречу VIPaM, приветственно растопырив руки.

— Виктор Степаныч, дорогой, сколько лет, сколько зим!

Должен заметить, что мы с премьером не только почти ровесники, одеты прилично, но и пузами схожи. Происходит то, чего не могло не произойти. В. С. зеркально растопыривает свои руки, отрывается от протокольной и добровольной охраны,

подходит ко мне с юношеским ускорением, прищуриваясь, быстро читает на моем бейдже ФИО и говорит замечательным баритоном (Помните — «Здравствуй, Басаев»?):

— Глейзер, Володька? А ты-то здесь какими судьбами?

— Укрепляю союз родного Оренбурга с родными эренбургами! — острю я.

— Да, где только не встретишь старого друга! — говорит счастливый премьер подошедшей свите. — Ладно, звони-заходи. У меня здесь всего полчаса. Договорились?

— Договорились, я тебе звякну! И расстаемся друзьями.

Сигарета вместе с фильтром тлела во рту остекленевшего Эпштейна.

— Володичка! Ты что, и Черномырдина знаешь?

— А кто его не знает, Мишель? Это он меня впервые видит!

Праздник нерушимой советско-еврейской дружбы продолжился на Поклонной горе, куда на автобусах-«мерседесах» с затемненными стеклами нас доставили от «Президент-отеля». Там торжественно открыли мемориальную синагогу в память жертвам Катастрофы. Событие — из ряда и вон выходящее.

Рассадили нас на свежем воздухе на разноцветные пластмассовые стульчики из-под Батуриной перед столом президиума под голубыми полотнищами с Давидовым шестиконечником за спинами сидящих и выступающих. Они состояли из всех наших: магната Гусинского, сидельца Щаранского, Кобзона в парике, Лужкова в кепке, Ельцина пока еще в форме, американского посла, взвода раввинов и роты богатырей из президентской охраны. За минусом последних, каждый толкнул подобающую речь, и все строем последовали в новостройку. Сначала мне все понравилось, а потом понравилось еще больше.

По обе стороны молельного зала были возведены стелы, на которых золотыми буквами величиной в аршин (слева — слева направо по-русски, а справа — справа налево на иврите) были написаны до боли знакомые слова. Я подошел к близстоящему раввину и подергал его за пуговицу.

— Учитель, — вежливо спросил я, — а кто автор этих щемящих слов?

— Об этом знают только двое, — национально затемнил ответ ребе.

— Кто же это, учитель?

— Автор и Господь! — опять же национально вывернулся раввин и достал серебряный портсигар в каменьях, намекая собеседнику на окончание разговора, и удалился в курилку.

Тут я увидел бывшего офицера конвойных войск МВД М. А.

Эпштейна, громко спорящего в нецензурных выражениях со знаменитым адвокатом Генри Резником о прозрачности границы добра и зла. Я пожалел либерального присяжного поверенного, а когда-то моего пионервожатого, которого на его седую голову еще в буфете отеля познакомил с новым русским Эпштейном, ярым приверженцем ночных допросов с пристрастием типа конкурентов по бизнесу, и поманил экс-конвоира к себе.

— Мишель, хочешь быть третьим? — задушевно спросил я старого собутыльника и преферансиста.

— Это смотря какая компания, — обнаглев от близкого соседства с высокоуважаемыми членами президиума, проворчал спорщик.

— Не дай дуба, дружище! — задрал я нос. — Ты, я… и Господь Бог!

— Не понял? — сказал Мишка.

— А я тебя «на понял» и не беру. Ты без темных очков золотые буквы прочитать можешь?

— Ну и что, — прочитал по слогам короткий текст Эпштейн, — что особенного-то?

— Да это мой собственноручный шедевр, сравнимый только с аналогичной надписью на кремлевской стене. Между прочим, тоже авторский — Ольга Берггольц сочинила. Помнишь, коротко и ясно: «Никто не забыт, ничто не забыто»? А здесь то же самое, только вид сбоку и про евреев.

— Володичка, не парь мозги! А где подпись под ксивой?

— Ты что, кент-мент, мне не веришь?

— Докажи, поверю! Я тебе не премьер-шлимазл из Керогаза.

— Звони нашей секретарше в Саратов!

— Зачем?

— И спроси ее, что коллега Глейзер отправлял полгода назад факсом Гусинскому!

Вышел неверующий Фома на улицу, достал дефицитный в ту пору сотовый телефон величиной с транзисторный приемник «Спидола», позвонил в родную фирму «Рим», а секретарша ему факс и зачитала — слово в слово с золотой надписью!

— Ну, ты, Володичка, даешь! В один день — Кобзонова свадьба, пьяный пионервожатый Резник, Черномырдин в дружеских объятиях, Ельцин в синагоге. Мне хватит глюков со вчерашнего бодуна. Идем в кабак за мой счет, похмелимся. Нет базара — заслужил!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. ФАМИЛИЯ И ОТЧЕСТВО

Мой дедушка Мирон умер, когда мне было пять лет, но мне кажется, что я помню его огромные усы с торчащими концами, которыми он щекотал меня, держа на сильных руках. То, что дед был человек с биографией, я узнал значительно позже и порциями. Дурное общество, в котором дедушка прожил последние тридцать лет жизни, не позволяло гулять по его анкете из соображений безопасности движения по многократно пересеченной местности. А житие полусвятого Мирона было весьма поучительным.

Начнем с того, что среднестатистический киевский мещанин Меер Давидович Глейзер был русским патриотом, добровольно, без отеческого благословения, пошедшим на русско-японскую войну и в рядах 19-го Сибирского стрелкового полка в звании старшего унтер-офицера «участвовалъ въ сраженіях противъ непріятеля и былъ награжденъ знакомъ отличія Военнаго Ордена 4-й степени за № 3960». С 1913 года эта награда стала называться Георгиевским крестом.

Странные они все-таки типы — царские жиды города Киева! Отец семейства в соответствии с фамилией («глейзер» на идише — стекольщик) торговал стеклом и фаянсом. Старший сын окончил консерваторию в Вене по классу скрипки. Младший, выпускник коммерческого училища, почему-то основал вместе с поляком Мицкявичюсом-Капсукасом компартию Литвы, за что и стал председателем Центробанка Украины. Дочь — выпускница Женевского университета. А средний, Меер-Мирон, продолжал оставаться великодержавным патриотом и опять же добровольцем участвовал в войне русско-германской, получил там первый обер-офицерский чин и второй крест, после чего угодил в плен.

Но офицерский плен времен Первой мировой войны кое в чем отличался от плена в следующую войну: прапорщик Глейзер, будучи в заточении, получил очное высшее агротехническое образование и вернулся на сильно изменившуюся родину дипломированным агрономом. Со своим другом и однокашником по германскому политехникуму поручиком Арамом Варжапетовым он купил в крымском поселке Саки землю и организовал сельхозколонию, которая к Году Великого Перелома через сталинское колено снабжала своей продукцией десяток городов.

Кто был умней, еврей или армянин, история умалчивает, но

после «головокружения от успехов» оба с полуострова бежали, да так, что органы их даже не покарали за преступное тайное явное самораскулачивание.

В Москве благодаря протекции сестрички, доктора медицины и главного акушера Кремлевской больницы Мириам Давыдовны (в семье все называли ее Мирамидочкой), беглый агроном устроился незаметным экспедитором в Минздрав. И через год в Заветах Ильича (подмосковном поселке с явно недопонятым далеким от ленинизма дедушкой названием) на выкопанные из скудной крымской земли золотые червонцы построил дачу, на которой до финской кампании с ранней весны до глубокой осени проживали многочисленные дедовы родственники.

В роковом сороковом он, приехав на электричке в заснеженный дачный поселок, обнаружил вокруг своего детища огромный зеленый забор, на котором сияла свежей белой краской надпись: «Военный объект. Вход строго запрещен!» Мирный Мирон, герой двух войн, в сражениях с невидимым неприятелем не участвовал и с очевидными бандитами в аннексии и контрибуции не играл, поэтому, смахнув прощальную мужскую слезу, покорно ретировался в глубокий тыл своего же врага. Да разве докажешь красным, что черное — это не белое!

Так двухэтажная дедушкина избушка на крымских ножках с пятьюдесятью сотками волшебного леса стала госдачей наркома Клима Ворошилова, почти беззаветного борца с антисоветской линией Маннергейма. Почти — потому, что главный завет Ильича: грабь награбленное, чтобы «кто был с ничем, тот станет со всем», — был припевом известной партийной песни, из которой не только слова, но и полслова не выкинешь!

В качестве достойной своего времени и строя компенсации за неполную конфискацию, бывшего царского прапорщика и советского нэпмана, дважды георгиевского кавалера и дипломированного австро-германского агронома дедушку Меера-Мирона Давидовича Глейзера опять не арестовали.

Так он и жил еще десять лет счастливым и нерепрессированным со всепонимающей бабушкой-кулинаркой Цилей в их крошечной коммунальной минздравовской квартирке на улице Неглинной, дверь в дверь напротив Сандуновских бань. Бывало, съездит на электричке к зеленому заборчику, нарубит свежих березовых веточек, свяжет веничек, купит по пути шкалик — ив баньку, усы парить! Что еще незаметному старичку нужно?

А вот мужа сестрички Мирамидочки Александра Григорьевича Будневича репрессировали дважды. Когда его непосредственного начальника Серго Орджоникидзе, на которого дядя Саша работал замнаркомом по черной металлургии,

застрелили товарищи по партии и борьбе прямо в служебном кабинете, старый большевик и подпольщик Будневич, не дожидаясь очевидной мясорубки, по беспартийной дедушкиной наводке смылся в отдаленный от краткого курса истории ВКП(б) город Саки, где и устроился на зятевой явке сборщиком черного вторсырья.

Его нашли через два года и дали десятку по нетяжелому обвинению: за дискредитацию звания бывшего замнаркома, — которую он честно отработал в Озерлаге от звонка до звонка.

Как настоящий верующий коммунист он поверил в свое освобождение. И был взят тепленьким на Ленинградском вокзале столицы непосредственно в момент объятий с женой и детьми. Тут же, чуть ли не на перроне, мнимый освобожденец получил повторную десятку по более тяжелому обвинению: за недачу показаний по бесконечному делу все того же укокошенного сталинского пса и стального наркома тов. Г. К. Орджоникидзе.

Вернули из Магадана бывшего замнаркома в первую же кампанию по показательной реабилитации самых глупых врагов народа в 1954-м, еще почти культоличностном году. И я долго слушал от несгибаемого орджоникидзевца занимательные истории о его собственном «чудесном грузине»:

— Однажды на личном поезде наркома мы ехали с инспекцией в Ростов-на-Дону. И поссорились всерьез по одному сугубо производственному вопросу. Горячий Серго стоп-краном остановил поезд, выбросил меня за шкирку из вагона и помчался на юг. Вокруг была заснеженная и безлюдная Сальская степь, и единственным путем, который куда-нибудь вел, был железнодорожный. По нему-то я и шагал часа два в пиджаке, пока не послышался паровозный гудок и поезд наркома задним ходом не поравнялся со мной. Григорий Константинович спрыгнул с площадки с буркой в руках, смеясь, завернул меня в теплую овчину и сказал: «Ну, остыл, спорщик? Пойдем ко мне в купе, чайку горячего выпьем, коньячком закусим!» А был бы на его месте паскуда Гришка Зиновьев — не вернулся бы, сволочь!

Писателю Рыбакову дядя Саша, наверное, нарассказывал значительно больше, поэтому в знаменитых «Детях Арбата» я признал в замнаркоме Будягине не по эпохе наивного прототипа.

Мой папаша Веничка правила азартной игры не на жизнь, а на смерть с партией и правительством усвоил со счастливого детства. И честная запись в трудовой книжке, что с четырнадцати лет он работал трактористом в сельхозкоммуне «Арамир» (Арам + Мирон), позволила ему поступить сначала на рабфак, а потом закончить Высшее техническое училище им. Баумана.

Когда в 1937 году большевики громили Первый московский

подшипниковый завод, где папенька в двадцать пять лет уже был начальником производства, его вовсе не расстреляли заодно с директором Юсимом и двумя десятками других врагов народа. А как человека с безупречной трудовой биографией и племянника мирно умиравшего в Доме ветеранов революции основателя компартии Литвы только разок (и на всю оставшуюся жизнь) загорбоносили об рабочий стол следователя и поставили в таком виде на вид за связь с врагами народа. Беспартийный и более родственный агроном в аккуратной папашиной биографии не очень проглядывался.

Эвакуировав в первые месяцы войны родной завод в тыл для фронта, в город Саратов, папенька дважды уходил воевать лицом к лицу с настоящими врагами народа — фашистами и столько же раз возвращался укреплять оборону, что придавало ему жизненных сил. И окончилось моим внеплановым зачатием под грохот канонады: в ночь любви немцы бомбили местоположение брачного ложа безбожно.

Аборты были уголовно запрещены, и мама тайно травила меня хиной и выпаривала в горячей ванной. Бесполезно — еще в утробе я бился не на смерть, а на жизнь, и первую победу одержал в родовой схватке. Мамуля горько раскаивалась в несовершенном преступлении и платила сыну десятикратной любовью до самой кончины у меня на руках.

Первое поражение у папеньки также имело медицинский характер: его вместе с остальными руководящими евреями выкинули с работы по «Делу врачей», которые зачем-то умертвили членов политбюро тт. Жданова и Щербакова по заданию американской разведки «Джойнт». То, что руководящие евреи из папашиного окружения были пациентами, а не врачами, рассматривалось как отягчающее обстоятельство.

И хотя меньше чем через полгода лучший друг всех оставшихся врачей и подшипниковцев, главный сценарист этого и других политических детективов сдох, как паршивая собака, запертый в бронированном чулане своего госпоместья, а дело уцелевших медработников-вредителей закрыли, папашу не восстановили на прежней должности главного инженера, а отправили искупать вину малой кровью — тоже главным инженером, но уже машинно-тракторной станции в село Галахово Екатериновского района Саратовской области.

Остроумный папаша, что-то помнящий с допетлюровского детства об основах иудаизма, говорил, что теперь он Дважды Еврей Советского Союза — по паспорту и по Галахе («Галаха» — это жесточайшие законы, расписывающие всю жизнь религиозных евреев от рождения до смерти).

Но по жизни отец был атеистом и пьяницей-застольщиком, компании с которым не чурался никто. Иудей-дедушка пил, потому что был русским солдатом, а папаня имел на это другие и веские основания: во время очередного петлюровского погрома добросердечные хохлы-соседи окрестили голубоглазого отпрыска героя империалистической войны аж в самом Софийском соборе! Когда в Крыму дедушка узнал о папашином прозелитстве, то он еще раз перекрестил его — ремнем по заду. Но назад хода не было! Так что пьяницей крымский папа был нашим, коренным, православным!

Пчеловод Арсентий, который почти бескорыстно пользовал папашу медовухой (самогоном убойной силы, пить который можно с удовольствием до самого упаду), приговаривал:

— Что за имечко — Винамин? Наверно, правильно — Витамин, Витя по-нашему! А с Витем — все путем: выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!

Пьянство у Лжевитька находилось в непримиримом противоречии с чадолюбием, поэтому мама приняла единственно правильное решение — чтобы не прерывать свой рабочий стаж, она отправила на деревню к Веничке двух детей с няней, оставив за муженьком право свободного выбора: или позорить своей пьяной рожей ухоженных няней сынков-отличников, или умерить свой порочный пыл!

Щуряток бросили в реку!

Завидуйте, Тема и Никита! Мое детство было лучше вашего! Может, и у вас был свой конь, но мой, с не случайной для недоделанного колхозного кастрата кличкой Однококий, был моим другом утром и вечером. А днем у меня, десятилетнего шалопая, был еще один друг — железный конь, ржавый эмтээсовский американский мотоцикл с коляской «Харлей-Дэвидсон». Пятьдесят миль в час по спидометру по галаховскому бездорожью и распиздяйству на залатанном резиновом ходу! Пыльный и одинокий участковый приветствовал бесправного малолетку под козырек напутственными словами «Физкульт-кювет!», чего в результате и дождался без серьезных последствий для юного мотогонщика.

Однококого коня я поил и мыл мочалкой на собственном озере, которое пряталось в камышах в ста шагах от нашего просторного бревенчатого дома, а мой старший брат Юра там же обе зорьки промышленно отстреливал дикую водоплавающую курицу лысуху, повышенная яйценоскость которой предотвращала занесение в Красную книгу. И как-то в утреннем тумане этот Соколиный Глаз, стреляя на шум, засандалил заряд мелкой дроби в мокрые крупы Однококому и мне.

Наше дикое совместное ржанье эхом растеклось по оврагу, когда разузданный Сивка-бурка (он же Конь — В Жопе Огонь) вынес на мелко дрожавшем крупе непривязанного седока на равнину, взбрыкнув, сбросил его через голову оземь и встал передо мною, как лист перед травою, сохранив мне жизнь.

Няня Саня обожженной иголкой выковыряла из моих пыльных ягодиц восемнадцать дробинок. К лоснящейся здоровьем, несмотря на шрапнельное ранение, подхвостовой части Однококого никто подойти не осмелился. Большой Белый Брат лишился после мокрого дела главного атрибута вольной жизни — тульской двустволки и был сослан в Москву, учиться на академика. Но страсть к лишению жизни диких рыб и животных осталась у него на всю жизнь. И сейчас, в далеких Северо-Американских Соединенных Штатах, Ричмонд, штат Вирджиния, он тратит все свои пенсионные капиталы на лицензированный отстрел живности и рыбную ловлю, с умилением вспоминая бесплатную Родину, где безнаказанно можно было палить в лысух и жопу родного брата!

Вечера на хуторе близ Диканьки я проводил в сельском клубе, куда меня пропускали по блату как сына Мироныча (не путать с убиенным питерским вождем!), за что был галаховским Миронычем неоднократно бит — папаша не любил халяву и давал детям хорошее воспитание. Кинопередвижка потчевала невзыскательную деревенскую публику трофейными шедеврами кино, и я по десять раз смотрел и «Мост Ватерлоо», и «Королевских пиратов», и «Рюи Блаз», и «Путешествие будет опасным»! К счастью, папаня с ремнем в трясущейся от жалости руке заставлял меня читать хорошие книжки все не занятое столь приятным досугом время. Книжки папаня, поступаясь принципами, доставал по блату.

Но это личное, а с общественной стороны папаня был в авторитете. Конечно, в железках он разбирался знатно, конечно, руководить он мог и значительно большим коллективом бездельников и пьяниц, чем десяток механизаторов. Но главное, он везде был — своим! Не мешали ни фамилия, ни шнобель, торчавший нерусской возвышенностью над среднекурносой равниной. Быть может, именно этими особенностями он и запомнился окружающим?

Как известно, земля круглая. Женится мой сын Илюша на красавице-однокурснице Тане Шалышкиной. И справляют они свадьбу в кафе «Чебуречная». Со стороны жениха — пара дружков да я с женой. Со стороны невесты — бабы и мужики в неимоверном количестве, отличающиеся друг от друга только челюстями: у зажиточных — золотые, у остальных — железные.

Народ простой, веселый, пьющий. С традициями: надо под занавес кого-нибудь отпиздить. Не со зла, а на память. Нутром чую — меня отобрали! Вступаю с шафером в переговоры. Мол, откуда понаехали? А он мне и говорит:

— Тебе-то не все равно, галаховские мы!

— Галаховские? — переспросил я в надежде на уникальность топонимики. — Которая на речке Белгазе в Екатериновском районе, напротив Свищевки, Поповки и Кинь-Николаевки?

— А ты откуда нашу географию знаешь? — напрягся шафер.

— Да это — родина моя! — приврал я во спасение. — Жил там с отцом в пятидесятые, он главным инженером МТС был. Глейзер его фамилия.

— Мужики! — заорал шафер. — Да сват — земляк наш, он самого Мироныча сын родной, а жених — внук! Ура!

Так что все хорошо, что хорошо кончается.

В случае с моим детством было наоборот. Убедившись в устойчивости симбиоза пьющего папаши и непьющего пока еще сынка, мамка настучала маме, и та под угрозой неминуемого развода отозвала главного инженера МТС с вверенного ему партией и правительством поста. Но партия не могла не бороться с нарушителями своего устава и исключила в первый раз верного ленинца Глейзера В. М. из своих рядов «за развал Галаховской МТС», которая уже два года занимала первое место в социалистическом соревновании этих колхозных уебищ.

Обрадованный неправедной формулировкой лишенец нагло поехал в ЦК, как-то пробился в комитет партийного контроля, и сам тов. Шверник Н. М. заменил ему на первый раз изгнание из рядов на строгий выговор с предупреждением. О чем предупреждение, в копии протокола не было, и обнадеженный сын конфискованного агронома расслабился!

Оттепель-то прошла, да озимые еще не взопрели! Чудом протоптав дорожку к тов. Швернику, он не замел ее, как и положено неуловимому ковбою Джо, а через неделю приперся в Комитет партийного контроля с наглым заявлением о «возвращении ему на законных основаниях отцовой дачи, реквизированной с нарушениями в военное время финской войны».

Вот тут скверного ленинца выкинули из ордена меченосцев второй раз и окончательно с бесповоротной формулировкой «за аморальность в быту и попытку хозяйственного обрастания»!

Несостоявшийся наследник всех своих родных крепко запил и получил первый инфаркт.

Лежа недвижно в постели, неунывающий остроумец шутил:

— Коммунизм — это советская власть плюс конфискация

всей страны!

Инфаркт номер два имел производственную подоплеку. Работая беспартийным главным конструктором в оборонном подмосковном НИИ, отец состоял членом закупочной комиссии своего министерства. И использовал служебное положение в корыстных целях: обеспечивал валютные поставки современного оборудования на родное предприятие.

Доллар стоил шестьдесят копеек, денег оборонщики не считали вовсе, за небольшие взятки в виде западного ширпотреба отечественные чиновники не покупались только что за дерьмо. Без упаковки. Поэтому привоз из заграницы японского обрабатывающего центра (а именно его выбил для НИИ беспартийный коммунист) стоимостью в пять миллионов долларов был для отца событием эпохальным. Чем он и гордился в кабинете директора в то время, когда в заводском дворе, прямо под окнами шла разгрузка. Как только он закончил восторженный автопанегирик и выглянул в окно, его и хватил удар.

В огромном станке была единственная выступающая крюком часть — мозг всего устройства, девять десятых его стоимости, на котором огромными буквами на всех языках, включая русский и суахили, было написано «Не трогать руками без инструктора!».

Так вот, именно за этот крюк пьяные такелажники и зацепили многотонный станок, сгружая его с платформы подъемным краном!

Папашу отправили в больницу, а японское чудо — на свалку. Отца модернизации, хорошо или плохо, через два месяца восстановили, а его детище разобрали до основания на блестящие безделушки местные умельцы.

Отец с тех пор пил водку вместе с нитроглицерином. Точнее не водку, а слегка разбавленный заводской спирт повышенной очистки, о котором у меня самые лучшие воспоминания. Вообще, на оборонных предприятиях много что повышенно очищали.

Однажды я явился в гости к родителям издалека и за полночь, маму мы не стали беспокоить, нарезали колбаски, достали разнообразные банки с солениями из овощей, которые отец как потомственный агроном любовно растил на своем огороде, и извлекли с верхней полки бутылку. Сомнений, что это оборонный спирт, ни у хозяина, ни у гостя не было, и мы вмазали по первой по граненому стакану. Жидкость оказалась крепкой, но какой-то безвкусной.

— Что это, папа? — в волнении спросил я.

— Чур, я первый! — заорал папаня и пулей бросился в сортир.

Мне осталась для опорожнения ванна, и ее почти хватило.

Мы выпили, не успев закусить, чистого оборонного керосина, который маменька обменяла на спирт на том же заводе для своих хозяйственных целей, не меняя тару. Это чудодейственное средство очищает организм вплоть до пробок в ушах без всякого последующего вреда для здоровья. Перед употреблением можно не взбалтывать!

Последний раз мы выпивали с отцом, когда мамы уже не было, а папаня, переживший ее на пять лет, тяжело умирал от рака. Я приехал к нему под предлогом своего дня рождения, зная, что вижусь с ним в последний раз. Он лежал в постели, не вставая уже несколько дней. Но когда я вошел, с трудом поднялся для объятий и больше не лег, а прошел по стеночке на кухню и, улыбаясь в белые усы, встряхнул седой гривой:

— Спасибо, сынок, что приехал, а то выпить не с кем, боятся, что я за столом окочурюсь, трезвенники!

Я понял, что разговор идет о принципах, и я эти принципы уважал. Без всяких лишних слов мы достали спирт, разбавили его один к одному, достали традиционные соленья и выпили по рюмке.

— С днем рожденья, сынок!

— И тебя со мной, папа! Мы налили по второй.

— Неохота умирать — жить привык.

— Хорошая привычка, папа. Налили по третьей.

— А помнишь Арсентия, пасечника галаховского?

— Помню, а что?

— А то, мерзавец, что, когда я в омшаник на минуту с ним зашел, ты, пионер — всем ребятам пример, из моего стакана медовуху пробовал! Я заметил, да тебя пожалел и не выпорол.

— Еще не поздно, папа, было дело — виноват. Есть под рукой и ремень, и жопа!

— Да нет, не об этом я.

— А о чем? Что с Витем — все путем?

— Любил я вас всех, сына, вот о чем!

Через неделю его похоронили.

Давно уж мне пора о душе подумать, а я все пьянствую и балагурю.

Спасибо тебе, папуля, царство тебе небесное, за эстафетную палочку!